1 р. 50 к.

23 1-14

ИНДЕКС 73274

Федор НЕСТЕРОВ. Наиболее интересные фрагменты из только что законченной книги **"Очерки по истории зарубежной русофобии"**;
Нам готовят 41-й год... (Ядерный щит и национальная идея: "круглый стол" в Сараве и Москве);
Владимир ОВЧИНСКИЙ. **"Бархатная" революция, или Контрперестройка;**

Игорь ШАФАРЕВИЧ. **"Русофобия": десять лет спустя;**

Николай ФЕДОРЕНКО. **Китай: открывая будущее.**

Свои новые работы в "Наш современник" передает Михаил АНТОНОВ, Юрий ВОРОБЬЕВСКИЙ, Александр ДУГИН, Игорь ДЬЯКОВ, Станислав ЗОЛОТЦЕВ, Вадим КОЖИНОВ, Аполлон КУЗЬМИН, Сергей КУРГИНЯН, Александр МИХАЙЛОВ, Карем РАШ, другие авторы.

- *В рубрике* ***"Летопись России: история в лицах"***

Отец Дмитрий ДУДКО. **Святые князья-страстотерпцы Борис и Глеб;**
Николай ЛИСОВОЙ. **Святой равноапостольный князь Владимир; Митрополит Иларион;**
Вадим КОЖИНОВ. **Ярослав Мудрый;**
Юрий ЛОЩИЦ. **Феодосий Печерский;**
другие материалы.

- *В рубрике* ***"Отечественный архив"***

Николай КЛЮЕВ. **Неизвестные письма;**
М.О. МЕНЬШИКОВ. **Неопубликованные работы.**

- *В рубрике* ***"Зарубежная мысль"***

Мартин ХАЙДЕГГЕР. Философские эссе;
Дуглас РИД. **Спор о Сионе.** 2500 лет еврейского вопроса.

В разделе ***"КРИТИКА" выступают:***

Глеб ГОРЫШИН, Валентин КУРБАТОВ, Михаил ЛОБАНОВ, Олег МИХАЙЛОВ, Петр ПАЛИЕВСКИЙ, Николай СКАТОВ, Дмитрий УРНОВ и другие критики.

Подписная цена на год – 24 руб.
Розничная цена одного номера – 2 руб. 50 коп.

Наш современник, 1991, № 8, 1–192.

НАШ СОВРЕМЕННИК №8 1991

ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России



№8 1991

Обращение к подписчикам

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Мы живем в тревожное время. У людей отняли уверенность в завтрашнем дне, пытаются смешать с грязью день вчерашний, всячески черня историю Отечества. Ныне Россия в упадке, страшном разоре. У народа осталось только слово правды, слово любви и борьбы за нашу многострадальную Родину, слово, которое несет патриотическая пресса, и наш журнал в том числе.

Но и это последнее достояние можно утратить.

Сегодня, в условиях рынка, когда все продается и покупается, "Нашему современнику" неоткуда ждать помощи, кроме как от вас, от читателей. Само существование журнала целиком зависит от подписчиков.

И мы обращаемся за помощью к вам. Пусть каждый из вас привлечет к подписке на "Наш современник" еще трех друзей. Пусть подписная кампания объединит вас и ваших друзей практическим лозунгом:

Я + ТРИ

Выход из кризиса мы можем найти только вместе. Сегодня все зависит от нашей с вами активности, сплоченности, единства.

Подписываясь на журнал, вы поможете себе, а значит, и России.

Редакция.

"НАШ СОВРЕМЕННИК" – О КАЗАЧЕСТВЕ

Что такое казачество? Какова степень его разрушения, в чем состоит казачий вопрос сегодня? – на эти и другие вопросы отвечают ***Петр ТКАЧЕНКО и Гарий НЕМЧЕНКО.***

В первый блок материалов о казачестве включены работа донского казака Василия Вареника "В "поход" без Корнилова" и статья Георгия Кокунько, посвященная проблемам Московского землячества казаков. Редакцией планируется проведение "круглого стола", посвященного проблемам казачьей идеологии сегодня. Атаман Громов расскажет на страницах нашего журнала о положении на Кубани. Приглашаем к широкому и обстоятельному разговору казаков Дона и Кубани, Терека и Семиречья, Сибири – всех, кого проблема казачества интересует.

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

№8 1991

ИПО
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР
МОСКВА

Содержание

За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Технический редактор **Л. Л. Ежова.** Корректоры **М. В. Масленникова, Л. Н. Тихонова.**

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 928-32-16 (заместители главного редактора), 200-24-94 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-28 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 200-24-76 (отдел писем, корректоры), 921-43-59, 200-24-32 (бюро проверки, технический редактор), 200-24-12 (зав. редакцией).

Сдано в набор 12.05.91 г. Подписано к печати 01.08.91 г.
Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2. Высокая печать.
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 20,45. Тираж 315 000 экз. Заказ 1254.

ИПО Союза писателей СССР. 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография «Красная звезда».
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.



ПОЭЗИЯ

БОРИС СИРОТИН



СРЕДИ ОТЕЧЕСКИХ МОГИЛ

* * *

В России прилавки пустуют,
Заводы небес не коптят,
В России шахтеры бастуют,
Под землю идти не хотят.

Мы слушаем гул подземелья —
Пророчество давней строки —
Свободы пьянящее зелье
Подкинуло вверх кулаки.

Бастуют, бастуют шахтеры,
И, словно рыбешки в воде,
Наставники и бузотеры
Мелькают в их грозной среде...

У масс ультиматум короткий,
Их голос серьезный и злой:
Зарплаты, товаров и водки,
А всех партократов — долой!

И гиблое слово из нетей
Грядет, словно траурный звон,
При вешнем качается свете,
Закрыв небеса: «ГЕГЕМОН».

Сверкают тяжелые очи
И темные лица грозны
Бастующей, чернорабочей,
Сегодняшней нищей весны,

Когда и прилавки пустуют,
И трубы небес не коптят...
В России шахтеры бастуют,
Под землю идти не хотят.

СИРОТИН Борис Зиновьевич родился в 1934 году в оренбургской деревне. Работал техником-термистом и конструктором на заводах, корреспондентом в районной и областной газетах. Автор многих поэтических сборников. Член Союза писателей СССР. Живет в Самаре.

* * *

Писалось Фету в феврале —
О сколько дивных строк
Произросло в метельной мгле,
В них радость, страсть, упрек!

Февраль — мой месяц, любит всласть
Он вьюгой белой бить.
Ах, только бы не порвалась
В руках у Парки нить!

Ведь нитью снежною Швея
Скрепляет жизнь мою,
Не потому ли крепко я
Над пропастью стою!..

Ах, мне бы долго по земле
Бродить и вспоминать,
Что снисходила в феврале
На Фета благодать.

Что не напрасно сам тружусь,
Что снова мой — рассвет,
Что я за ту же нить держусь,
Которой верил Фет.

Средь взрывов бомб, в той духоте,
Сумел он сохранить
Уверенность, что к Красоте
Выводит эта нить.

Вот потому и не снискал
Похвал, которых ждал,
Бомбометателей оскал
Его сопровождал.

И смутной нынешней порой,
В лихие наши дни,
Мы видим, кто же был герой:
Он — Фет, или — они.

* * *

Вышел я в куртке — без шарфа и кепки,
Принял я в легкие голубизну.
Пухлый снежок и морозец некрепкий
Только украсили нынче весну.

Господи! — начал я с буквы заглавной,
В дом возвратясь и раскрывши тетрадь, —
Господи, Господи, жить-то как славно,
Век бы не стариться, не помирать!

Ибо и в эти несчастные годы
Теплится жизни невыспренний слог,
И в покачнувшемся храме Природы
Духу мятежному есть уголок.

Всякое примнится...

Серо, дождик мелкий,
Вся в лохмотьях высь.
Стеньки и емельки
Не перевелись.

Каплет дождик редкий,
Солнцу не бывать.
Что в Москву их в клетке
Повезут, — плевать.

Средь ненастных капель,
В забытьи подчас, —
Посвист пуль и сабель,

Выпученный глаз.
Черные моменты,
Траурная высь...

— Кто — интеллигенты?
К стенке становись!
Это вы учили
Нас галиматье,
Про рабов строчили
В кажинной статье!
Это вы, почуяв
Длинные рубли,
На Руси буржуев
Новых развели!

Подлое зачатье,
Ходовой товар,
Вот вам — получайте
Крупный гонорар!

...Среди мокрых пашен
Голос издали:

— Мы свободе вашей
Волю предпочли-и!..

Волга темнолица,
Туч угрюмый строй...
Всякое примнится
Осенью сырой.

* * *

Горел химический завод;
Над городом, космато-жуток,
Марая синий небосвод,
Дым простирался трое суток.

Все было так же, как всегда,
Играли в волейбол на пляже,
Но отражала дым вода,
И на прохожих иногда,
Кружась, садились хлопья сажи.

Был в городе все тот же ритм...
Когда знакомые встречались,
То — вверх глаза:
— Горит?
— Горит! —

И по делам, не опечалясь.

У каждого полно забот,
Да и крепка в народе жила.
Горел химический завод,
Как будто так и нужно было.

И я со всеми вверх смотрел
На жирный дым по поднебесью —
Похоже, грунт уже горел,
Пропитанный гремучей смесью.

Однако тек спокойно быт,
Лишь прихожане кротко ждали,
Когда Архангел вострубит
Конец всему из синей дали.

* * *

В темный вечер зимой — вспоминается мать,
Боже мой, Боже мой, тяжело вспоминать.

Тяжело мне брести через этот сугроб
С вечным в сердце «Прости!», с думой, сморщившей лоб.

Тяжело серый свет, что сочится в окно,
Принимать как привет жизни, бывшей давно...

Выйду в сад без пальто, головы не покрыв:
— Чем платить мне за то, что покуда я жив?

И услышу в ответ, на пределе почти:
— Коли сил твоих нет, ничего не плати.

Просто так — на тоске, просто так — на любви
У себя в уголке потихоньку живи.

* * *

Стояние утреннее за молоком,
Ощущение внутреннее себя дураком
Обманутым, старым, глупым, кажись,
Почти задаром прожившим жизнь.

Топтанье морозное, ропот, гам,
Скрипенье грозное по снегам —
По всей России скрипят снега,
Громадной силе узки берега.

Россия топчется, ждет с сумой,
А вдруг ей захочется взять самой?
А вдруг раззудится ее плечо?..
И загранице станет горячо...

Снегов скрипение, пар до небес,
Велико терпение — да не дремлет бес.

Народ мой милый, хоть близок край,
Своею силой вдруг не взыграй!

С тобою знаем давным-давно:
Священно знамя — да жизнь г....
От революций с их калачом
Лишь слезы льются, да кровь —
ключом.

Народ-провидец хранит завет:
Добрых правительств на свете нет.
А у мессии под шапкой — рога.
...По всей России скрипят снега.

+++

* * *

Воистину цитата молода,
Коль это нам, свободу вдруг обретшим,
Шекспир твердит, что в смутные года
Идет всегда слепец за сумасшедшим.

И низко над землею виснет чад,
Бензиновая сладкая отрава.
«Налево!» — сумасшедшие кричат,
Едва слепцы шарахаются вправо.

* * *

Пускай в стране тоталитарной —
Да средь отеческих могил!
И воздуха элементарный
Глоток всегда для песни был.

Пусть косная держала сила —
То все-таки не цепь была,
И степь под небо возносила,
Давая вольные крыла.

...В провинции так много снега,
Так много грусти в тишине,
Что прелестям иного брега
И места не было во сне.

И лист срывался календарный
И долго в воздухе кружил
В моей стране тоталитарной
Среди отеческих могил...

Русский бульвар в Софии

О Господи, грехи нам тяжки,
И Ты прости, а не удары!

...Усталый, в полевой фуражке,
Стоит в Софии Русский Царь.

В седле и при блестящей свите
Он встал на мощный пьедестал;
Сто лет он был Освободитель,
И вдруг... поработитель стал.

И укоризною зависла
Над ним ущербная луна:
Мол, просто жертвой панславизма
Явилась бедная страна.

Мол, не хотели, не просили...
И Воин сжал суровый рот:
Ему бы повернуть в Россию,
Да ведь и там никто не ждет.

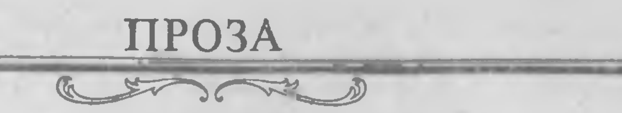
И там воинственные крики,
Сердца под действием минут,
И вновь витии весь великий
Народ к раскаянью зовут.

А он растоптан и унижен,
И согнан с собственной земли,
И старики у скорбных хижин,
Как те коряги на мели...

Но, Господи, грехи нам тяжки,
И Ты прости, а не удары!..

В Софии, в полевой фуражке,
Застыл в раздумье Русский Царь.

Он слушает сплоченный ропот
И видит сквозь цветной туман,
Как манит сытая Европа
В свои объятия славян.



ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ

БАРБАРОССА

РОМАН-РАЗМЫШЛЕНИЕ

12. ВОЛГА-ВОЛГА

Волга-Волга, мать-река, широка и глубока...

Вот когда выпали ей трудные дни! Возле пристаней (заодно с ними) сгорали белые пассажирские пароходы. Чтобы сорвать перекачку горючего из Астрахани, Рихтгофен регулярно бомбил флот «Волготанкера», и не только бомбил, но и забросал фарватеры минами — как раз на путях нефтяных караванов. Бакенщики, их жены и детишки сутками сидели на берегах, не сводя глаз с реки. Ночь, луна, тихо, стрекот кузнечиков, гул мотора, черная тень, вой, всплеск воды... Мина поставлена! Теперь, дай бог, точнее запомнить место, куда она упала, и сразу звонить морякам Волжской флотилии — это уж их дело, моряцкое.

Но мин было так много, что тральщики не успевали их выуживать. Возле Черного Яра возникла «пробка»: караваны нефтеналивных судов и плавучие госпитали не могли пробиться к волжским верховьям. А время подстегивало, а в Кремле нервничали, а моторы простаивали: страна позарез нуждалась в горючем! Что делать? Контр-адмирал Борис Хорошхин взялся проверить фарватер «на себе»: пан или пропал! Он вывел свой бронекатер на минное поле и... все погибли (вместе с адмиралом), но ценой жизни они открыли водный путь к Сталинграду. Каверзны были мины (особые — магнитные): три корабля пропустят над собой, а четвертый — вдрызг! Обнаружить такие мины почти невозможно: тихо, гадюки, дремлют на грунте, а тралами их никак не зацепить. Что делали наши матросы? Скажу, так не поверите. Они ныряли на глубину, на ощупь отыскивая эти мины в иловой слякоти, а иногда шли, нащупывая мины... босыми ногами.

— Кому повезет, а кому и хана! — говорили матросы...

Алексею Семеновичу как раз в эти дни предстояло повидаться с Гордовым, благо тот теперь не просто генерал, каких много, а командующий фронтом, от которого зависело — быть или не быть Сталинграду. Правда, Герасименко накануне удивил Чуянова словами сожаления о том, что Тимошенко убрали:

— Кто не без греха? Маршал иногда заливал нам сказки про белого бычка. Но с ним хоть поговорить было можно, а Гордов... Так и напрашивается каламбур: Гордов — человек гордый!

Василий Николаевич Гордов расположил свой командный пункт в обычной городской квартире, из которой еще не выветрился дух прежних хозяев, даже из кухни щами припахивало. При появлении

Окончание. Начало в №№ 2—7 за 1991 год.

Чуянова тот даже не оторвался от карты (или, точнее сказать, делал вид, что занят ее изучением). На вопрос Чуянова, чем он может помочь армии как представитель местной власти, главком даже не поднял глаз. Постояв для приличия и вежливо покашляв, секретарь обкома как оплеванный на цыпочках удалился, дабы не мешать созерцанию карты. «Должен сказать,— вспоминал позже Чуянов,— все мои попытки установить хоть какой-либо деловой контакт с Гордовым успеха не имели». Наверное, главком еще не забыл, как танки Виттерсгейма давили его позиции, и, сознательно отмалчиваясь, он молчанием скрывал растерянность перед грозными событиями. Не только Чуянову — многим тогда казалось, что Гордов, надломленный поражениями, где-то уже, наверное, смирился с той роковой мыслью, что Сталинград все равно придется оставить.

Алексей Семенович созвонился с Москвой, желая информировать ЦК партии о ненормальном поведении главкома; к аппарату подошел Маленков, сразу и грубо осадив его:

— А что вам не нравится в генерале Гордове?

— Ведет себя странно. Слова ответного не выжать. С таким видом, будто он здесь и царь и бог... Ладно уж я, черт со мною, но представляю, каково его подчиненным!

— Мало ли что вам не нравится,— был ответ.— Менять главкома, только что назначенного с личного одобрения товарища Сталина, мы по вашим капризам не станем. Умейте работать с людьми, как учит нас товарищ Сталин, а не занимайтесь собиранием всяких сплетен...

«Сплетни,— думал потом Чуянов.— Кому война, а кому так одна хреновина... Живем на военном положении, но чует сердце — грядет положение осадное, вот тогда навоемся...»

. . . .

От станицы Боковской противник быстрым маневром не только отбросил, но и разгромил закаленную 62-ю армию. Две стрелковые дивизии и одна бронетанковая оказались в окружении. «Я видел, как танки противника под прикрытием авиации врезались в наши боевые порядки... Наши тяжелые танки (КВ) выдержали атаку, зато легкие Т-60 расползлись по оврагам, не принимая боя». От мостов авиация оставила обломки и головешки. На переправах громоздились обозы со скарбом беженцев, переполненные ранеными медсанбаты. Ни одного нашего самолета в чистом и солнечном небе никто не видел...

Чуйков сам и допрашивал пленного немецкого летчика.

— Мы ваших истребителей не боимся,— честно доложил тот.— Во-первых, потому, что их у вас просто нету. Во-вторых, по своим боевым параметрам они отстали от наших «мессершмиттов». Если у меня мотор тянет машину в три раза сильнее вашего, так я всегда могу бить вас с любых виражей.

— Возможно,— не стал возражать Чуйков.— Мы хорошо знаем, что из преимуществ в своей авиации Германия извлекла немало побед... Кстати, что вы думаете о конце войны?

— Я ничего не думаю. Но где-то наш фюрер просчитался. Он мог бы ограничить себя Европой, а в Россию полез напрасно. Так что, простите, я не знаю, каков будет конец...

В чирской станице Чуйкова обступили женщины-казачки, навзрыд плакали, спрашивали — что же будет дальше? Но одна из бабенок демонстративно отошла, усевшись на бревнах.

— А что с ним гутарить? — издали покрикивала она.— Сколь веков казаки на Дону жили, а такого сраму не видывали, чтобы чужаков сюды допущать... Теперь нарыли нор, будто кроты худые, хотят в земле отсидеться. Им-то што? А у меня пятеро на руках виснут. Муж без вести пропал. Скотины — двор полный. Всю жизнь трудились, себя не жалели. Куда ж ныне деваться?

— Уходи с детьми,— мрачно отозвался Чуйков.

— Куда? И все нажитое бросить?..

Наши войска немцы теснили за речку Чир (правый приток Дона), оборона трещала, как худой забор. Трудно было артиллеристам: лошади давно пали, а колхозные тракторы «ЧТЗ» развалились: пушки перекатывали вручную, на переправах тащили их по дну реки на веревках, орудия вылезали из воды все в тине и водорослях. Бойцы, переплыв реку под пулями, потом выливали из сапог воду, выжимали гимнастерки:

— Ведь скажи кому — не поверят. Раньше мы такое только в кино смотрели... да и то про Чапаева!

— А вон и Чапаев,— показывали на Чуйкова,— тоже Василий Иванович, только нам от того не легше... Вояки!

Генерал-майор Михаил Степанович Шумилов в эти тяжелые дни известил Чуйкова, что его желает видеть Гордов.

— Я тут справлюсь,— сказал он Чуйкову,— а ты езжай в Сталинград да с Гордовым лучше не собачься: сам, наверное, знаешь, что на Руси святой поверх воды плавает...

Гордов два дня мурыжил Чуйкова, отказывая ему в приеме. Наверное, сказать было нечего. Случайно он занял высокий пост, явно неподготовленный — ни как полководец, ни даже как человек. Кажется, он еще не выбрался из того транса, в который его погрузили прошлые неудачи... Наконец встреча состоялась. Чуйков вспоминал: «Возражений со стороны подчиненных Гордов не терпел... моего доклада слушать не стал».

— Противник,— свысока декларировал он,— уже прочно увяз в наших оборонительных рубежах. Пора его уничтожить.

Это была отрыжка былого: мол, пилотками закидаем. Василий Иванович пытался убедить Гордова в обратном.

— Я не хуже вас знаю положение на своем фронте,— резко перебил его Гордов.— Вы мне лучше отчитайтесь: почему осмелились отвести правое крыло армии за реку Чир?

— Удар противника оказался намного сильнее нашей обороны. Войска давно измотаны. А противник наращивает удары.

— Это слова,— сказал Гордов.— Но словам требуется письменное подтверждение. С меня тоже наверху спрашивают. И не как вас — покруче. Вот и составьте доклад по всей форме...

Уходящему Чуйкову хотелось хлопнуть дверью так, чтобы из нее все филенки вылетели к чертовой матери.

— Бюрократы несчастные! — сказал он в сердцах.— Страшны они в мирные дни, но еще страшнее на войне...

Вышел на улицу, огляделся, стал думать — где бы перекусить? Кто-то вдруг пожал его руку выше локтя — дружески. Стоял перед ним гражданский — вроде бы знакомый.

— Извините,— сказал Чуйков,— у меня с памятью стало паршиво. Где-то вас видел, а где — не припомню.

— Чуянов Алексей Семеныч, секретарь обкома, виделись еще у маршала Тимошенко... А вы чего тут дежурите?

Чуйков в двух словах поведал о визите к Гордову, а Чуянов изложил о нем свои впечатления.

— Глупость пришла в голову,— вдруг стал смеяться Чуйков.— Случись ведь такое, что попадем мы с вами в историю, так в энциклопедии стоять нам на одной странице.

— Как так?

— А так: Чуйков, а потом Чуянов — рядышком. По законам алфавита... Алексей Семеныч, есть давно охота, на обед к Гордову не напрашивался, а у вас в обкоме можно перекусить?

— Пошли. Не в обком, а ко мне домой...

Дорогой разговорились. Раздражение от встречи с Гордовым еще не унялось в душе, и, не называя его имени, Чуйков стал ругаться, говорил, что навешали тут орденов, а сами...

— Не все продумано в этом вопросе,— сказал он.— Я не понимаю, зачем генералов награждать во время войны?

— А когда же их еще награждать?

— Было бы вернее,— сказал Чуйков,— если бы каждый генерал получил все ордена в первый же день войны.

— Шутите, Василий Иванович?

— Не до шуток... Пусть бы все генералы начинали войну с полной гирляндой орденов на груди. А потом, во время боев, у них отбирать орден за орденом — по мере того, как они терпят поражения, совершают глупости. В результате, когда наступит желанный день победы, у нас не останется ни одного генерала с орденом... чтобы не задавались напрасно!

...Даже не энциклопедия, а Мамаев курган в Сталинграде навеки объединил их добрые имена — именно там, на высоком кургане, Чуйков и Чуянов нашли место для могил своих, как заслуженные герои Сталинградской битвы.

. . . .

Сталинград превратился в тупиковую станцию: с севера, от Камышина и Саратова, поезда еще шли, но дальше им пути не было; на вокзалах и сортировочных горках в Сарепте, в Сталинграде-1 и Сталинграде-2 образовалось скопище вагонов, теплушек и паровозов — возникла «пробка», глухая и безнадежная. Железнодорожники не щадили себя, чтобы рассосать эту «пробку», но... тупик! Среди воинских эшелонов безнадежно застряли вагоны с имуществом беженцев и учреждений, в запломбированных теплушках можно было обнаружить самые неслыханные грузы... Сталинград как раз навестил генерал артиллерии Н. Н. Воронов, и Чуянов, беседуя с ним, жаловался:

— Наверняка немецкая агентура шныряет на путях, будет плохо, если пронюхает, что среди эшелонов намертво заклинило вагоны с боеприпасами, а под берегом — баржи со снарядами! Много ли надо, чтобы рвануть их с воздуха?

Воронов возлагал немалые надежды на артиллерию ПВО:

— Правда, в зенитных расчетах у вас немало девчат. Вчерашние студенточки. Прически фик-фок на один бок, а под мышкой — учебник. Не уверен, как-то они стрелять будут?

Во время ближайшего же налета девушки сбили сразу три «хейнкеля-III», а мужские расчеты «мазали». Воронов в бешенстве вызвал начальника ПВО округа.

— В чем дело? — возмущенно спросил он.— Наверное, в мужских расчетах цигарки крутят. Слышал, и «козла» забивают. Наведите порядок, товарищ генерал-майор. Иначе «генерала» мы вычеркнем, от вас один лишь «майор» останется...

Воронов потом спросил Чуянова: чем бы наградить зенитчиц?

— Парашют бы им... о д и н н а в с е х.

— Зачем это?

— Дело такое,— смутился Чуянов.— Надо бы... Одного парашюта на всех, думаю, хватит... поделят... Шелк-то ведь — первый сорт, выносливый. А им, бедняжкам, по вещевому аттестату титишников-то не положено. Вот и нашьют себе лифчиков... А?

— Будет парашют... завтра же! — обещал генерал.

На совещании партактива Чуянов заговорил о бесплатном кормлении детей (а их немало навезли в Сталинград отовсюду):

— Многие уже здесь, в Сталинграде, стали сиротами, где они что возьмут? Не воровать же! Это наша забота...

По Волге плыла горящая нефть. Прямо через пламя шел портовой «Гаситель», забивая огонь из широких камеронов, похожих на пушки. В зоопарке горестно стонала слониха Нелли.

Какой уж день идет война. Какой же день?

Чуянов натянул кепку, бросил на ходу секретарше:

— Если спросят, так я — на переправах. Пока...

Мучало его, как рассказывали, что дети малые не покидали убитых матерей, плакали — теребили мертвых: «Мама, не пугай, открой глазки...» На переправах и в самом деле — ад кромешный, паромов и буксиров не хватало. В ожидании очереди на посадку женщины и старики руками отрывали в прибрежных откосах глубокие норы, в которых и прятались — от бомбежек. Матери здесь теряли своих детей (и навсегда), дети звали матерей (но мамы своей они больше никогда не увидят). Волга-Волга, много ты видела в те дни... А к пристаням все тянулись вереницы подвод с новыми беженцами. Уже не лошади, а даже коровы шли навьюченные скарбом, надменно выступали с грузом калмыцкие верблюды. Усталые, босые, запыленные, измученные, люди шли и шли не бог весть откуда — иные-то даже с Донбасса, шли, чтобы не оставаться «под немцем», и безвестные старухи вели за руки уже безвестных детей, которые потом в приютах станут получать страшные в юдоли фамилии — Бесфамильный...

Подходил воинский паром. Местные женщины не пускали на паром танк с надписью на броне «Вперед — на запад!»

— Ишь какой шустрый, уже и за Волгу его потянуло. Ты почитай, что у тебя написано, да назад поворачивай.

Одна из бабок держала на руке лупоглазую кошку, а в другой — мясорубку (наверное, самое ценное в ее жизни), и вот она больше всех наседала на танкиста, аж зашлась в крике:

— Иде совесть-то у тебя? У-у, глазищи бесстыжие... И какая ведьма родила тебя под косым забором?!

Танкист пытался отшутиться. Не тут-то было:

— Сказано тебе — не пустим за Волгу! Вот хоть дави ты нас здесь своей тарахтелкой, а мы с места не сойдем...

Вмешался пожилой солдат с медалью «За отвагу»:

— Бабы-то верно балакают. Ты их послухай.

— А ты что здесь за маршал такой, чтобы указывать?

— Будь я маршалом, так я бы тебя, говнюка такого, сразу б под трибунал подвел... Много вас развелось, охотников драпать. Ты совесть-то заимей. Да постыдись. Молод еще.

— Кого мне стыдиться? Я, может, от самого Барвенково с боями... тоже с медалью! Кого мне стыдиться?

— Да хотя бы женщин,— ответил солдат.— Они же от тебя, балбеса, защиты ждут. А ты навонял тут керосином своим и смылся. На таких, как ты, мать-Россия недолго удержится.

Паромщик отмалчивался. Потом мрачно сплюнул.

— Поворачивай. Для таких пути за Волгу нетути. Это пусть наши бабы да ранетые катаются. Вот их и буду переправлять. Жми вперед — на запад, как и написано...

Тут Чуянов подошел, треснул ногой по гусеничному траку:

— Н а ш! — сказал.— Сталинградский. Тракторного. Не для того на СТЗ делали, чтобы ты за Волгой торчал... Пошли!

— Куда? — оторопел танкист.

— Недалеко. До коменданта. Там и поговорим.

— О чем мне говорить-то с ним?

— Найдете тему. О героизме. О трусости. О совести...

Вечером он вернулся в обком, чтобы покормить Астру, заодно позвонил в Ростов своему партийному коллеге — товарищу Двинскому, но ему ответил срывающийся голос женщины:

— У нас тут немцы... Товарищ Двинский уехал... на велосипеде... Город горит... Внизу ломают двери... Я боюсь...

— Круши все подряд, что можешь, и — удирай...

. . . .

Маленькая деталь тогдашнего быта, о которой долго помнили сталинградцы: город бомбили — то жилые кварталы, то заводские, а в домах обывателей постоянно останавливались часы, чего ранее не

бывало... Отчего? Неужели от сотрясения почвы? В квартирах сами собой с противным скрипом затворялись двери, а двери закрытые — сами собой неслышно вдруг отворялись. Почему?

В один из дней Чуянову позвонил Воронин:

— Беда! — сообщил он. — Утром один гад из облаков вывернулся и свалил фугаску в полтонны прямо... прямо в тюрьму, где, сам знаешь, сколько народу собралось.

Убитых похоронили, раненых развезли по больницам, но в мертвом здании тюрьмы осталась девушка — Нина Петрунина.

— Жива! Но вытащить ее нет сил, — сказал Воронин. — Ей ноги стеной придавило, а стена едва держится. Кажись, чуть дохни на нее — и разом обрушится. Семнадцать лет. Жить хочется. Красивая... уж больно девка-то красивая!

— Спасти! — крикнул Чуянов. — Во что бы то ни стало. Я сам приеду. Сейчас. Сразу же.

Люди тогда уже привыкли к смерти, и казалось бы, что им еще одна? Но город взбурлил, имя Нины стало известно всем, а равнодушных не было, всюду — куда ни приди — слышалось:

— Ну, как там наша Нина? Спасут ли... вот горе!

Разве так не бывает, что судьба одного человека, доселе никому не известного, вдруг становится средоточием всеобщего сострадания, и множество людей озабоченно следят за чужой судьбой, в которой подчас выражена судьба многих.

Чуянов приехал. Воронин еще издали крикнул ему:

— Не подходи близко! Стена вот-вот рухнет...

Нина Петрунина лежала спокойно, и Чуянов до конца жизни не забыл ее прекрасного лица, веера ее золотистых волос, а ноги девушки, уже раздробленные, покоились под громадной и многотонной массой полуразрушенной тюремной стены, которая едва-едва держалась. Здесь же сидела и мать Нины.

Чуянов лишь пальцами коснулся ее плеча, сказал:

— Сейчас приедут... укол сделают, чтобы не мучалась.

Нину кормили, постоянно делали ей болеутоляющие уколы, и время от времени она спрашивала:

— Когда же? Ну, когда вы меня спасете?..

Явились добровольцы — солдаты из гарнизона.

— Ребята, — сказал им Чуянов, — как хотите, а деваху надо вытащить. Орденов вам не посулю, но обедать в столовой обкома будете, по сто граммов нальем... Выручайте!

Лучше мне не сказать, чем сказали очевидцы: «Шесть дней продолжалась смертельно опасная работа. Бойцы осторожно выбивали из стены кирпичик за кирпичиком и тут же (на место каждого выбитого кирпича) ставили подпорки». Кирпич за кирпичиком — укол за уколом. Наконец Нину извлекли из-под хаоса разрушенной стены, и она спросила:

— Господи, неужели я буду жить?..

В больнице ей ампутировали ноги, и она... умерла.

Сколько людей в Сталинграде в голос рыдали тогда!

Наверное, сказалось давнее и природное свойство русских людей — сопереживать и сострадать чужому горю; это прекрасное качество русского народа, ныне почти утерянное и разбазаренное в его массовом эгоизме, — тогда это качество было еще живо, и оно не раз согревало людские души... Подумайте: ведь эти солдаты-добровольцы из сталинградского гарнизона понимали, что, спасая Нину, каждую секунду могли быть погребенными вместе с нею под обвалом стены!

Ефим Иванович, дедушка Чуянова, тоже плакал:

— Лучше бы уж меня... старого!

Волгой я начал рассказ, Волгою и закончу его.

Сейчас в нашей стране так много сказано о загрязнении великой русской реки. А мне часто думается — когда же началось это экологическое бедствие, которое лучше именовать всенародным? И тут, годами перелистывая книги о героической обороне Сталинграда, я, кажется, нащупал первоначальные истоки нашей беды. Очевидцы тех дней — летних дней 1942 года — свидетельствуют нечто ужасное: весло в речной воде было тогда не провернуть, ибо вода в нашей кормилице-Волге была наполовину перемешана с загустевшей нефтью... Вот результаты бомбежек!

. . . .

23 июля — в тот самый день, когда Гитлер издал директиву № 45, — из Москвы вылетел в Сталинград начальник Генштаба А. М. Василевский — как полномочный представитель Ставки.

Следовало ожидать перемен... Каких?

13. КЛЕЩИ

Ростов... Он был теми воротами, через которые немцы вламывались на Кавказ, к его нефтепромыслам. У них все было готово к тому, чтобы лишить нашу страну горючего, а Германии заполнить свои бензобаки «выше пробки». Вот когда им пригодился засекреченный корпус «Ф», которого в Африке так и не дождался Роммель; этот корпус берегли от боев — специально для захвата нефтепромыслов, при нем (тоже секретно) состоял большой штат инженеров-нефтяников, готовых сразу же качать горючее для моторов вермахта. Н. К. Байбаков, министр нефтяной промышленности, писал в мемуарах, что Москва указала качать нефть из скважин до самого последнего момента, а потом взорвать промыслы, чтобы врагу ничего не досталось: «Мы получили предупреждение, что если врагу достанется нефть, нам грозит расстрел, а если поторопимся и выведем из строя промыслы, которые не будут оккупированы, то нам грозит та же участь — расстрел!»

Ростов... Все железные дороги от Ростова вплоть до Каспийского побережья были сплошь заставлены эшелонами с имуществом заводов, что эвакуировались, многотысячные толпы беженцев парились в теплушках, а пути были так забиты, что встречные воинские эшелоны не могли пробиться к тому же Ростову, чтобы вступить в битву с противником. Если в Сталинграде такая же «пробка» была оправдана тем, что Сталинград стал тупиковой станцией, то никак нельзя оправдать то, что творилось на путях от Ростова, а... кто виноват?

Виноват «главный сталинский стрелочник» Л. М. Каганович, что был наркомом путей сообщения. Сталин послал его и Берию — навести порядок, чтобы помогали один другому в трибуналах, расстреливая людей, никак не повинных в том бардаке, который они же и устроили перед линией фронта, разрываемой танками Клейста. Страшно читать, что там творили эти два кремлевских опричника, на которых управы никогда не было. Обстановка на фронте под Ростовом была такова, что требовались сиюминутные решения, а товарищ Каганович сутками выдерживал путейцев и генералов в приемной: «Товарищ Каганович устал... Лазарь Моисеевич принять не может» — и так далее. Наконец этот кремлевский «барин» допускал до своей персоны, перебирая в руках янтарные четки (зачем ему, еврею, четки католика — убей меня бог, не знаю), и, выслушав доклад, он орал:

— Исполнить через три часа, иначе...

— Товарищ Каганович, и тридцати часов не хватит.

— Через два часа! Доложить лично, иначе...

И люди понимали, что иначе — расстрел! Ничуть не лучше этого сатрапа был и наш знаменитый маршал С. М. Буденный, приказы которого военным людям звучали в такой форме:

— Ни шагу назад! Так и объявить всем. А кто отступит, того — камень на шею... и бултых в море!

Читатель, надеюсь, что с такими «полководцами», как Берия, Каганович и Буденный, мы не только Ростов, мы всю Сибирь могли бы отдать немцам. Когда задумываешься о любимцах Сталина, которым вверялась власть над миллионами наших солдат, то невольно возникает вопрос: как мы вообще эту войну с Германией выиграли?

Ростов... Не стало у нас Ростова: сдали.

. . . .

Генерал Эрих Фельгиббель, давний приятель Паулюса (и кандидат на виселицу), хорошо наладил для 6-й армии радиодиверсионную службу, но русские теперь сделались осторожны, провокационные вызовы их частей под удары немецких «панцеров» или шестиствольных минометов кончались провалом. Мы уже не верили дружеским голосам — как по проводам телефонной связи, так и звучавшим в эфире. А то ведь раньше бывало и так:

— Коля, привет. Это я, комбат Шишаков. Выходи на разъезд пятнадцатый, тут фриц меня жмет... Выручай, дружище!

Раньше шли, но теперь поумнели:

— Сначала ты скажи, на какой улице жил я в Гомеле, ты же бывал у меня, вместе водку жрали. Я тебя выручу, но прежде назови имя моей жены, а заодно вспомни, какого цвета у меня шкаф стоял в коридоре... Что? Молчишь, гад? Соображаешь, что ответить? Ну и отвались к едреней фене, не на такого напал...

А. М. Василевский вылетел из Москвы 23 июля, а через два дня — возле Калача-на-Дону — был предпринят контрудар. Конечно, за два дня невозможно подготовить наступление, многое было не согласовано, большинство частей еще находилось в степени первичного формирования, для иных танкистов первый выстрел в этом бою стал первым выстрелом в их жизни, а 4-й танковый корпус назывался (помните) «четырехтанковым», и этот анекдот-быль отражал всю слабость наших войск... Знал ли об этом Василевский? Да, знал. Но оправдывать его не стану, ибо Александр Михайлович после войны сам оправдал себя.

Бои у Калача разгорелись за день-два до снятия Тимошенко, а далее руководил Гордов. Я, автор, подозреваю, что если управление им войсками и не было совсем потеряно, то, думается, оно было *почти* потеряно. Будь это иначе, командиры полков и дивизий не получали бы от Гордова вот таких приказов: «Действовать самостоятельно в зависимости от обстановки». Иначе говоря, командующий фронтом, сам оставаясь как бы в стороне, всю ответственность за происходящее на фронте перекладывал на фронтовых командиров: с них и спрос...

Василевский выехал на фронт в район Калача-на-Дону, на окраине города велел адъютанту снять комнату в одном из домишек, из которого тот выскочил как ошпаренный:

— Не пускают! Там хозяйка полы красит.

— Нашла время. Или немца ждет?

— Да нет. Говорит, с трудом по блату краски достала. А теперь боится, как бы немцы не отняли. Вот и красит полы, чтобы добро даром не пропадало... Тоже дура хорошая. Тут земля трещит, страх да смерть ходят, а она с кисточкой ползает.

— Не вини бабу. Каждому свое,— отозвался Василевский...

Ему лишь накоротке довелось повидать Чуйкова — черного, как цыган, от загара, почти сожженного палящим солнцем. Возле него стоял худенький майор и блаженно улыбался.

— Контужен. Ни гугу не слышит,— пояснил Василий Иванович.— Четырнадцать танковых атак отбил и чудом жив остался. Тут и не веришь, да все равно взмолишься...

Обстановка под Калачом была тогда аховая! В полосе 62-й армии враг держал в кольце окружения наши дивизии, Паулюс вот-вот мог проломиться к Сталинграду. К. С. Москаленко командовал тогда 1-й танковой армией, которая только-только начинала формироваться, больше всего напоминая птенца, едва проклюнувшегося из яичной скорлупы. Вовсю квакали лягушки, тянуло сыростью — Дон-то рядышком... Ворчливо, словно выражая недовольство, начинали работать танковые моторы.

— Не имея полного комплекта, и принимать бой... неужели сразу с колес? — спрашивал Москаленко.

— Прямо с колес,— отвечал Василевский.— Положение сейчас таково, что требует от всех нас невозможного...

(К чести Москаленко, он позже полностью признал правоту Василевского, который и сам видел неготовность к контрудару.) Люди сознательно шли на смерть, от начальника Генштаба не укрылось, что в экипажах машин танкисты имели пистолеты.

— Чего это вы, ребята, так вооружились?

— Кончим себя, ежели понадобится.

— Так уж сразу?

— А живьем в этой банке жариться — лучше?

— Можно ведь и выскочить.

— Куда выскакивать? В лапы извергам? Нет уж...

Танкисты знали, что говорили. У немцев было такое правило: если схватят наших танкистов, выскочивших из горящего танка, они сразу обливали их бензином, и люди сгорали факелами — по этой причине возле подбитых танков всегда находили три-четыре обгорелых, как головешки, трупа. Танков Т-34 было прискорбно мало, больше устаревшие Т-70, у которых сразу два мотора: попади хоть в один, и танк полыхал костром. Немцы предпочитали бить даже не снарядами, а цельнометаллическими «болванками», которые — даже в танке Т-34! — насквозь прошивали лобовую броню.

Василевский следил за ходом сражения из деревни Камыши, что близ города Калача, который вернее бы называть поселком. Гордову он, представитель Ставки, сразу дал понять, что его решения будут иметь бо́льшую значимость, нежели доводы Гордова. Авторитет Василевского прочно покоился на оперативной грамотности, на высоком воинском интеллекте, какими Гордов при всем его желании никогда бы не мог похвастать...

— Кстати,— сказал ему Василевский,— кажется, что Чуйков после Китая сразу вошел в атмосферу фронта?

Гордов согласился, отвечая, что генерал Чуйков среди многих недостатков обладает еще одним, непростительным:

— Терпеть не может начальства. Говоришь ему что, так он делает такую гримасу, будто его лимонами кормят.

Председатель Ставки от сплетен держался подальше:

— Я тоже не всегда бываю доволен своим начальством. Но приходится терпеть, как терпят нас и наши подчиненные...

В самый разгар сражения прорвалось! Гордов, обычно молчаливый, в условиях боя вдруг обрел небывалое красноречие, дополняя его в приказах по телефону виртуозными оборотами.

Василевский долго терпел, но решил вмешаться.

— Прекратите! — гневно вспылил он.— Так разговаривать с людьми можно только в том случае, если вы уверены, что ваш оппонент способен ответить вам такими же матюгами. Не забывайте, что вы разговариваете со своими подчиненными...

С самого начала сражения было видно, что возможен лишь частичный успех, но никак не решающий. Накануне вылета из Москвы Василевский глянул в сводку разведки: 6-я армия Паулюса имела 18 дивизий, насчитывая 270 000 солдат, она громыхала из семи с половиной тысяч орудий, минометов и огнеметов, ее таранную мощь составляли 750 танков, а с небес она была прикрыта воздушным флотом Рихтгофена... И вся эта масса людей и техники, скопившаяся в боль-

шой излучине Дона, теперь рвалась из этой излучины на простор, как хищник из клетки...

Василевский сказал, что главное — задержать врага, чтобы затрещали все сроки гитлеровских планов, заодно он спросил Гордова — сколько человек в дивизиях Паулюса? Гордов пояснил: в пехотных до 12 тысяч, а в танковых еще больше. При этом Гордов заметил, что на его фронте, прикрывающем Сталинград, есть такие дивизии, где едва наберется *триста* штыков.

— На бумаге все выглядит гладко — дивизия на дивизию, баш на баш. Но триста наших бойцов не могут переломить мощь полнокровной немецкой дивизии... Это же факт!

— Факт, и весьма печальный,— согласился Василевский.

— Потому,— подхватил Гордов,— нам и нельзя вести себя так, будто мы уже находимся на подступах к Берлину.

Александр Михайлович понял, на что намекает Гордов: мол, чего ты, дурак, эту битву затеял, сидел бы тихо.

— Пока не закончим эту войну,— жестко ответил он Гордову,— на дивизии полного штата надеяться не стоит. Но мы находимся на подступах к Сталинграду, и, может быть, именно отсюда, от этого Калача-на-Дону, и начинается наш путь к Берлину...

Вечером, вернувшись в Калач и долго лавируя на своей «эмке» в кривых переулках, среди садов и заборов, Василевский слышал, как чей-то женский голос звал его адъютанта.

— Никак, тебя? Что, уже познакомился?..

Адъютант вернулся в машину, рассказывая со смехом:

— Да эта орет. Согласна комнату сдать. Говорит, что теперь полы просохли. А мужиков в хозяйстве не осталось. Вдова...

Василевский долго и мрачно молчал, потом сказал шоферу:

— Поехали, Саша... вдова! Как много у нас вдов...

Кривыми улицами Калача утром катился танковый батальон — к переправам, снаружи все обвевало речным донским ветерком, а из раскрытых люков машин било жаром, как из банной парилки.

— Левее! — покрикивали.— Забор не тронь... мужиков в хозяйстве не стало, одни бабы... Теперь правее бери. Прямо!

От железнодорожной насыпи отходил переулок с громким названием — Революционный, а возле убогой халупы без крылечка стоял однорукий мужик в измятой рубахе, босой и небритый.

— Эй, братцы! — кричал.— Я же ваш... или забыли?

Это был местный житель — майор Павел Бутников, израненный в боях под Барвенково и демобилизованный подчистую, как полностью негодный. Его узнали. Танки остановились. Бутников подошел, хромая. Гладил шершавую броню и... плакал:

— Вот, инвалидом стал. Вернулся в Калач, вон домишко-то мой... а тут и вы. Опять фриц нажимает. Братцы, куда ж мне теперь деваться? Жить не хочется... чует сердце, что долго вас не увижу. Так возьмите меня с собой. Все равно пропадать. Так лучше уж с музыкой... а?

. . . .

Мосты через Дон не выдерживали груза танков — рушились. Издалека нависала багровая туча пылищи, жарко и тревожно сгорали на корню хлеба, и шли — опять! — немецкие «панцеры». Между танками и бронетранспортерами энергично двигалась — перебежками между стогами — вражеская пехота, она была вроде эластичных ребер корсета, которым Паулюс, казалось, душил нашу оборону...

Чуйков — под пулями — спрыгнул в окоп.

— Умеют воевать, сволочи. Но бить-то их все-таки можно!

Василий Иванович еще не ведал своей легендарной судьбы, а судьба обламывала его жестоко. Немало наших людей в этих боях под Калачом попало в окружение, из которого потом выходили кто тишком (по ночам), а кто шел «на ура» средь бела дня, прорываясь. Но появились и пленные со стороны противника. Чуйков находил время, чтобы

присутствовать при допросе пленных, и они зачастую удивляли его своей откровенностью.

— Я парикмахер из Кельна,— сказал один из них.— Не скрою, что на фронт пошел добровольно.

— Что вам худого сделала Россия и русские?

— Ничего. Просто мне захотелось иметь «э-ка».

Его не поняли. Пленный объяснил, что «э-ка» — так в вермахте сокращенно называют железный крест (Eiserne Kreuz).

— У меня,— не скрывал пленный,— заведение в Кельне лишь на одно кресло, а имей я на груди хотя бы одно «э-ка», то мог бы открыть салон на десять клиентов сразу.

— Вот и вся правда,— невольно вздохнул Чуйков и велел увести пленного парикмахера, мечтавшего о железном кресте.

Среди пленных попадались итальянцы из 8-й армии Итало Гарибольди — из дивизии «Сфорческа», что служила Паулюсу заслонкой, дабы прикрывать свою армию с северных флангов. Эти ребята были чересчур говорливые, нехотя входившие в общую колонну с немцами. Однажды конвоир пригрозил немцу:

— Эй ты, фашист, давай шевели мослами!

— Я фашист? — оскорбился немец.— Я убежденный национал-социалист, а к этой сволочи,— он показал на итальянцев,— никакого отношения не имел и не желаю иметь.

Пленные итальянцы отказывались следовать в наш тыл в одной колонне с пленными немцами из армии Паулюса:

— Мы честные фашисты! — кричал один офицер.— И мы не желаем маршировать рядом с этой нацистской заразой...

— Не спорь с ними и уводи в тыл поскорее,— вмешался в этот идеологический спор Чуйков.— Кто там нацист, а кто фашист, кто лучше, а кто хуже — и без нас в лагере разберутся.

Именно в эти дни 6-я армия Паулюса несла очень большие потери, а генерал-профессор медицинской службы Отто Ренольди доложил, что похоронные команды иногда не справляются с приготовлением могил и тогда используют для захоронений глубокие воронки. Иногда даже обычных крестов не ставили над солдатскими могилами, а, зарыв убитого, клали над ним его каску и писали на ней белилами номер полевой почты. Но каждую неделю в 6-ю армию поступали свежие киножурналы «Вохеншау», и солдаты Паулюса видели себя бодрыми и веселыми, всегда наступающими, а русские представали обычно в рядах пленных.

Слухи о больших потерях вермахта в это время достигли Германии, вызвав среди немцев перешептывания, догадки, сомнения и прочее. Немецкая публика каждую неделю просматривала «Вохеншау» — самые свежие кинорепортажи о делах на Восточном фронте, и в темных залах кинотеатров иногда слышались почти истерические женские выкрики — мать узнавала сына, а жена узнавала своего мужа.

Геббельс, с чела которого никто не срывал лавры самого изобретательного пропагандиста, сказал Фриче:

— Приятель, не сыграть ли нам на этом? Объяви-ка по радио, что каждая немка, увидевшая в «Вохеншау» близкого ей человека, отныне имеет право бесплатно получить фотокопию с тех кинокадров, где появились ее муж, сын или братец...

В этом вопросе Геббельс явно поторопился: наплыв заказов на копии отдельных кадров из боевой кинохроники был настолько велик, что скоро Фриче пришлось внести поправку. Копии стали высылаться за счет государства только матерям или вдовам, чьи сыновья и мужья уже погибли на фронте, а все эти занюханные невесты, сестры и прочие право на копии не имели...

А московское радио, верное себе, каждый божий день повторяло стереотипную фразу: «Каждые семь секунд в России погибает один

немецкий солдат». Думаю, что в конце июля 1942 года немецкие солдаты гибли гораздо чаще...

. . . .

Я внимательно перечитал солидную работу «Великая победа на Волге» под редакцией маршала К. К. Рокоссовского, изучил «Сталинградскую эпопею» под редакцией маршала М. В. Захарова, у меня не сходили со стола авторитетные издания «Битва за Сталинград» и, конечно, «Сталинградская битва» нашего историка А. М. Самсонова, — и все эти материалы еще раз убедили меня только в одном: наше контрнаступление, наспех организованное А. М. Василевским, никаких результатов не принесло, а все перечисленные мною монографии лишь подчеркивали *неготовность* наших войск к наступлению, пусть даже самому малому, и — да простит мне Бог! — я почувствовал, что мы в ту пору гораздо активнее были в обороне, нежели в наступательных сражениях. А что немцы? Пожалуй, только одна фраза из мемуаров Вильгельма Адама, адъютанта Паулюса, убедила меня в том, что Василевский был все-таки прав, начиная это контрнаступление, плохо подготовленное. Вот *она*, эта фраза:

«НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 6-я АРМИЯ БЫЛА В ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ...»

После войны наши историки и полководцы не раз попрекали в печати А. М. Василевского за то, что именно он организовал контрудар возле Калача, хотя и сам понимал, что наша армия к наступлению не была готова. Через 20 лет после окончания войны Василевский в своем интервью для «Военно-исторического журнала» сказал, что в тех условиях, какие сложились тогда под Сталинградом, любое наступление — пусть даже слабое! — было единственным выходом для разрешения трагической альтернативы. Мало того! Александр Михайлович честно признал, что наши контрудары у Калача «не привели к разгрому ударной группировки противника, прорвавшейся к Дону, но они, как видно из последующих событий, сорвали замысел врага окружить и уничтожить войска 62-й и частично 64-й армий, сыгравших в дальнейшем *основную роль* в защите города Сталинграда!»

Немецкий историк Ганс Дёрр тоже признал после войны, что наш контрудар возле Калача «дал (нам) выигрыш во времени примерно в две недели». А это — много! «Затем,— писал Г. Дёрр, — из двух недель стало три, и потому лишь 21 августа 6-я армия Паулюса смогла начать свое наступление через Дон...»

Но теперь — именно теперь! — когда Паулюс с трудом выбрался из гущи боев, для него невыгодных, и его армия несла невосполнимые потери,— Гитлер уважил мнение Йодля:

— Йодль, пожалуй, вы были недавно правы, сказав, что судьба Кавказа зависит целиком от Сталинграда... Прошу, распорядитесь, чтобы четвертая танковая армия Германа Гота срочно развернулась в сторону Сталинграда, который и будет взят нами в клещи — с запада от Паулюса, а с юга от Гота!

...Клещи! В ночной степи, выбрасывая из выхлопных труб свирепые факелы гудящего пламени, загромыхали железные чудовища — «панцеры». Это двинулась в долгий путь танковая армада Германа Гота, и его машины шли напролом, не признавая дорог — перед ними лежала гладкая калмыцкая степь, и «панцеры» мчались с включенными фарами, а все живое, все пугливое быстро пряталось в норы... Клещи!

14. «НИ ШАГУ НАЗАД!»

Был в Сталинграде такой скромный рабочий по фамилии Гончаров, а имени и отчества его я не знаю. Когда стали записывать добровольцев в истребительный батальон народного ополчения, этому Гончарову в записи отказали:

— Иди, иди! Тут и без тебя добровольцев хватает, а у тебя жена и четверо детей... мал мала меньше.

Вернулся Гончаров в свой домишко на окраине города, в садике его давно перезрели вишни, пришло время расцветать георгинам. Жена его гладила белье еще бабушкиным утюгом, доставшимся ей в приданое.

— Не берут меня,— сказал Гончаров.

— Почему? — спросила жена и плюнула на утюг, чтобы по шипению его точно определить — не надо ли в него жарких угольков подбросить?

— Да вот из-за этих...— показал работяга на своих детишек, гомонивших на кухне.— Четверо у нас. Вот и пожалели!

. . . .

Бедный Климент Ефремович! Вот уж, наверное, икалось ему в это время: наши войска оставили Ворошиловград (бывший Луганск), а теперь немцы угрожали и Ворошиловску (бывшему Алчевску). Надарили своих имен городам и весям, а теперь эти имена казались жалкими этикетками, наспех приклеенными — ради украшения. Невольно вспоминается Екатерина Великая: когда узнала, что турки потопили корабль, носивший ее же имя, она указала — впредь давать кораблям только нейтральные названия, дабы личные имена, особенно исторические, ни капитуляциями, ни поражениями никогда не были опозорены...

Сталин своего приятеля не обижал, ибо они оба из числа «героев Царицына»; не забывал Сталин и царицынскую оборону, которую подхалимы-историки возвели в степень величайшего сражения века, сколько о ней было книг и фильмов!

— А что? — говорил Сталин.— Помню, тогда нам здорово помогли бронепоезда. Хорошо бы и Сталинград защищать бронепоездами, чтобы они ездили по окружной ветке железной дороги и стреляли из пушек, ограждая город с западных рубежей...

Никто, конечно, не возражал, но что-то я не слышал, чтобы бронепоезда сыграли решающую роль в битве у Сталинграда. Жесткая директива № 45, сочиненная Гитлером, еще не была известна в Кремле, но, даже не ведая ее содержания, Иосиф Виссарионович интуитивно предчувствовал, что Сталинграду не миновать жестокой и легендарной судьбы — под стать царицынской.

Из-под Калача-на-Дону возвратился Александр Михайлович Василевский, и Сталин как бы невзначай спросил его:

— А что там товарищ Гордов? Как справляется? Тут нам в ЦК звонил товарищ Чуянов, жаловался товарищу Маленкову, что с товарищем Гордовым трудно работать.

Гордов «царицынской» славы не имел, но, казалось, мало чем отличался от маршала Тимошенко, как бывает и копию трудно отличить от оригинала, и Василевский отвечал уклончиво:

— Гордов справляется не хуже маршала Тимошенко, но еще не всегда может найти общий язык с подчиненными и потому не стесняется — даже при женщинах — заменять его матерным.

Сталин долго ковырялся спичкою в своей трубке, воспетой сонмом поэтов и отраженной в живописном соцреализме.

— К сожалению,— вдруг сказал он,— генерал Еременко еще на костылях, он врачей своих за нос водит, фокусы всякие показывает, будто и без них обойтись может, чтобы его на фронт отпустили...

После постыдной сдачи Ростова (уже вторичной за время войны), после того, как немцы взяли Новочеркасск, славную столицу донского казачества, и перед ними, наглевшими от успехов, уже явственно замаячили нефтяные вышки Северного Кавказа, а боевые действия угрожали даже тем забвенным краям, где издревле кочевал пушкинский «друг степей калмык»,— после всех этих трагических неудач... не поискать ли виноватых? Падение Ростова явилось для Сталина как бы

отправной точкой, от которой и вычерчивалась сложная схема его умозаключений. Ростов не просто оставили — это было, пожалуй, стихийное бегство массы людей, облаченных в воинскую форму, и вся эта орава (иначе не скажешь) драпала на Кавказ, а в Ессентуках заградотрядам пришлось даже отбивать «атаки» на винные склады, на элеватор и консервный завод...

Понятно ли тебе, читатель, почему именно в эти дни появился знаменитый приказ Сталина под № 227, который в простонародье называли конкретнее: «Ни шагу назад!»?

Сколько у нас писали об этом приказе, погребенном потом в тайниках сверхсекретных архивов, сколько было сказано слов о его насущной *необходимости* и его почти лютейшей *жестокости,* ибо теперь отступивший на шаг назад подлежал немедленной расправе.

Приказ гласил: «...надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать... Паникеры и трусы должны истребляться на месте... Ни шагу назад без приказа высшего командования!»

Нового я ничего не сказал — всем давно это известно.

Но повторю свое личное мнение: я считаю приказ № 227 самой яркой и выразительной страницей изо всех страниц, когда-либо вышедших из-под пера Сталина, ибо в этом документе, датированном 28 июля, он эмоционально поднялся до высот настоящего гражданского пафоса. Все-таки, положа руку на сердце, стоит признать (как это признали очень многие), что такой приказ (я согласен) был тогда нужен!

Но... и тут у меня есть свои — авторские — «но»!

Призывая людей стоять на месте под страхом расстрела — неизбежной расправы, чтобы наши бойцы и командиры не смели помыслить об отходе, приказ № 227, по сути дела, лишал нашу армию главного преимущества в тактике — маневра, сковывая армию роковой неподвижностью, и боец, боясь покинуть свою траншею, как бы заранее был обречен — или смерть, или... плен?

«Ни шагу назад!» — гласил приказ. Но в этом случае разрушалась сама логика испытанной веками тактики и стратегии, а старинное искусство побеждать заменялось примитивною формулой: стой там, где стоишь. Не спорю, что на фронте бывают именно такие моменты, когда отступать нельзя, когда надо отстреливаться до последнего патрона, но эти моменты — никак не система, а лишь исключение из правил военного искусства. Теперь же искусство воинского маневра с отходом назад Сталин заменил командным требованием: «Ни шагу назад!»

Думая так, может, я, автор, в чем-то и ошибаюсь...

Иногда, чтобы победить, надобно прежде отступить. Сталинградский фронт был давно уже весь в прорехах, и там говорили:

— Где ты видишь линию обороны? Смотри сам, если глаза имеешь. Десять и даже больше километров фронт удерживают лишь три наших батальона. Чувства локтя давно уж нет и в помине. Сидим, словно смертники! А разрыв между частями — два-три километра, тут аукаться не станешь, и через наш фронт не только фриц, а целая свадьба проедет — и даже не заметишь!

Верно. Бойцы меж собой иногда устраивали перекличку:

— Ну, как ты, Сеня? Живой?

— Держусь,— слышалось издалека.— А ты, Петь?

— Я тоже. Копошусь. Три гранаты осталось.

— Махра кончилась. Вот беда! Перебрось.

— Лови кисет. Потом вернешь... кидаю...

Стояли насмерть и без этого приказа № 227.

Но бывало и так, что боец поникал в одиночестве. И тогда страшен был его одинокий зов, обращенный в пустоту неба:

— Эй, братцы! Есть ли кто тут живой?..

А в ответ ему — мертвое молчание. Только пиликал над ним свою песню степной жаворонок да звенели большие зеленые мухи, перелетавшие меж трупов, по лицам которых они и ползали. И тогда солдату казалось, что он последний солдат России...

Со стороны излучины Дона надвигалась армия Паулюса, а с юга катилась на Сталинград танковая армия Германа Гота. Была уже полночь 1 августа, когда в московском госпитале раздался звонок кремлевского телефона. Еременко дохромал до аппарата.

— Андрей Иваныч? Ваш рапорт рассмотрен товарищем Сталиным, и за вами сейчас приедет машина... приготовьтесь.

Андрей Иванович Еременко отложил костыли, взял в руки палку. Но и палку он оставил в приемной Верховного, чтобы выглядеть молодцом... «Сталин подошел ко мне, поздоровался и, пристально посмотрев мне в лицо, спросил:

— Значит, считаете, что поправились?..»

Василевский после войны писал: «Ставка и Генеральный штаб с каждым днем все более и более убеждались в том, что командование этим (Сталинградским) фронтом явно не справляется с руководством и организацией боевых действий такого количества войск, вынужденных к тому же вести ожесточенные бои на двух разобщенных направлениях...»

Сталин готовил новую рокировку среди командующих!

. . . .

Как раз тогда нашумела пьеса А. Е. Корнейчука «Фронт», в которой автор (наверное, с одобрения Сталина) нанес справедливый удар по тем генералам, что жили прежними заслугами, воюя по старинке. В главном персонаже пьесы Корнейчук вывел туповатого и самонадеянного упрямца Горлова, который даже хвастался, что академий не кончал, радиосвязь — от нее одна лишь морока, а он побьет врага «нутром» и геройством рядового солдата. Впервые столь открыто ставился вопрос о непригодности военачальников, не желавших видеть глубоких перемен в искусстве ведения моторизованной войны, и недаром же такие вот «Горловы» слали проклятья автору, требуя от властей запрещения вредной — по их понятиям — пьесы...

Гордов тоже был достаточно возмущен:

— Где Горлов, там и я — Гордов... это как понимать?

— Да совпадение,— утешал его Хрущев.

— За такие совпадения морду бить надо...

Вскоре они выехали на передовую, заодно навестили 64-ю армию, которой командовал «Василий Иванович», как называли солдаты Чуйкова, почему-то пренебрегая его фамилией. Вид у Хрущева, прямо скажем, был довольно-таки кислый, очевидно, под стать своему командующему, он не очень-то верил в то, что оборона Сталинграда надежна. Да и чем, спрашивается, они, Гордов и Хрущев, могли помочь фронту? Они и обстановки-то на фронте не ведали... На передовой же появились не в самый героический момент — армия Чуйкова откатывалась за Дон, кто плыл в кальсонах саженками или брассом, держа на голове котомку со шмотками, иные цеплялись за автомобильные покрышки или за пустые бочки, держались за бревна.

— А вас... что? — орал Гордов.— Война не касается? Ну что за народ пошел?! Только бы пожрать да драпать...

Зато в штабе 64-й армии дорожки песочком посыпаны, будто тут гулять собрались, сам же Чуйков — даже в условиях фронта умудрялся выглядеть элегантно. С вызывающим шиком он, как джентльмен, опирался на трость. Но что особенно поразило Хрущева, так это его белые перчатки.

— Армия-то драпает.. когда воевать научитесь?

— Учимся,— скромно отозвался Василий Иванович.

— Мало вас били,— упрекнул его Хрущев.

— Меня — да! — мало! — не возражал Чуйков, и Гордову стало явно не по себе, когда он со знанием дела стал нахваливать гибкую тактику противника.— Казалось бы,— доложил он,— оборона вдоль реки и должна бы повторять конфигурацию бреговой черты. Однако немцы умышленно оторвались от береговых контуров. Даже отступили от реки, нарочно создав «ничейное» пространство, чтобы мы в нем завязли...

— Его армия драпает, а он, такой-сякой, врага же и расхваливает...

Тут Гордова и понесло: мать в перемать и в такую вас всех; выдал полный набор «душеспасительных» слов, а Никита Сергеевич тоже не скрывал, что Чуйков ему неприятен:

— И не стыдно ли фасонить перчатками? В такой исторический момент, когда вся страна напрягла свои силы на разгром зарвавшегося...

— Да у меня экзема... еще с Китая.

— Ладно — экзема. А дубина-то в руках для чего?

— Не дубина, а... стек! Мне так удобнее.

Тут Гордов и Хрущев в один голос:

— У него армия бежит, а он... Судить таких надо!

Ух, до чего же неприятен показался им этот Чуйков!

Возвращаясь в Сталинград, Гордов и Хрущев никак не могли успокоиться, дружно ругая «Василия Ивановича»:

— Нельзя таким пижонам доверять армию...

— Нельзя, нельзя,— соглашался Хрущев.— Ведь это на что похоже? Стек себе, перчатки, еще цилиндр не успел завести.

— Гнать его в три шеи,— решил Гордов,— чтобы такие пижоны мой Сталинградский фронт не позорили.

— Верно! В резерв его... пока не поумнеет!

Во время разговора со Сталиным Хрущев доложил, что Чуйкова они сняли — как *неспособного!* Не станешь же рассказывать о перчатках да трости, лучше сказать — неспособный.

— И правильно сделали,— послышался из Москвы ответ Сталина.— Чуйков такой пьяница, что весь там фронт пропьет...

Василий Иванович пьяницей не был. Но теперь, поди ж ты, доказывай «вождю народов», что ты трезвый, если «вождь» уже решил, что ты пьяный. Долго ли у нас на человека ярлык наклеить? А потом сам он не отлипнет и не отдерешь его...

4 августа Чуйков, отозванный в резерв фронта, возглавил оперативную группу Сталинградского фронта. Спросил:

— А где она, эта группа?

— Нет группы,— отвечал Гордов.— Собрать надо...

Чуйков не растерялся. Собирал в городе вышедших из окружения, отбившихся от своих частей, брал тех, кто из госпиталя выписался, если дезертира поймают — он и дезертира в строй ставил, внушал ему, чтобы дураком тот не был:

— Хорошо, что на меня напал. Другой бы, знаешь, куда тебя отвел? Не вчера война началась и не завтра закончится. Чем бегать-то, так лучше у меня послужи... Героем с войны вернешься, от баб отбою не станет, все девки перед тобой в штабеля сложатся...

Его оперативная группа скоро отличилась на фронте героизмом бойцов, и опять по фронту шла добрая молва:

— Вот Василь Иваныч... вот душа-человек!

А кто теперь знает генерала Гордова? — Никто.

А кто знает сейчас маршала Чуйкова? — Все.

Но тогда еще не пришло время славы Чуйкова — еще царили бездарные временщики типа гордовых-горловых.

. . . .

Сталин начинал новую рокировку фронтов и командующих.

— Значит, поправились? — заботливо переспросил он.

— Так точно,— по-солдатски отвечал Еременко.

— Будем считать, что товарищ Еременко вернулся в строй... Сразу приступим к делу. Сейчас,— сказал Верховный,— обстановка под Сталинградом настолько осложнилась, что мы решили Сталинградский фронт разделить на два фронта, и один из них намерены поручить вам.

Василевский, развернув карты, четко доложил о линии раздела Сталинградского фронта, причем эта линия рассекала на две части и сам город. Еременко сразу насторожился, и было отчего: город един, оборона его едина, а задачи фронтов вроде бы самостоятельны. Один фронт оставался с прежним Сталинградским наименованием — во главе с Гордовым, а Еременко предстояло командовать Юго-Восточным, ограждая Сталинград с южных направлений... Чушь какая-то!

— Вы желаете что-то добавить? — спросил Сталин, сразу приметив, что Еременко чувствует себя не в своей тарелке.

Андрей Иванович встал и сказал, что оборону города нельзя делить между двумя фронтами, паче того, линия раздела, идущая по реке Царица, тянется вплоть до Калача, а стык между фронтами — всегда останется уязвим в обороне:

— Если Сталинград един, то и одного фронта достаточно для его обороны — незачем делить его, как буханку хлеба...

Сталин, бывший до сей минуты душа-человек, любезно интересовавшийся у Еременко, как срослись у него кости, вдруг разом переменился, стал раздражительным, ибо он не терпел, если кто-то осмеливается думать иначе, нежели решил он, «великий Сталин». Погуляв по кабинету, он задержался возле Василевского и, давая урок Еременко, сказал:

— Оставить все так, как мы наметили...

Рано утром 4 августа Андрей Иванович вылетел в Сталинград, который он разглядел с высоты еще издалека — над городом нависала шапка дыма от сгоравших на Волге судов «Волготанкера» с их нефтяными трюмами. Хрущев выслал за Еременко свою машину, и прямо с аэродрома Еременко доставили на квартиру в центре города, в которой проживал и Гордов, сразу увидевший в Еременко не соратника своего, а скорее соперника. Раздвоение единого фронта уже сказывалось, да оно и понятно, ибо в народе давно примечено, что два паука в одной банке никогда не уживутся.

Никита Сергеевич вел себя как радушный хозяин, пригласил Еременко к самовару, но выглядел сам измотанным, усталым. Не лучшее впечатление сложилось и от Гордова, который после недавнего посещения передовой не был уверен в том, что армии Гота и Паулюса можно остановить. («Некоторая растерянность,— вспоминал Еременко,— и нервозность в его поведении насторожили меня. Его дальнейшее поведение удивило меня еще больше».) Гордов даже не спросил, как наладить стыковку двух фронтов в одном городе, и замкнулся в своей комнате.

— Поговорим,— тихо сказал Хрущев за чаем и вкратце поведал Еременко о том, что творится на фронте.— Не все у нас в порядке с командованием,— сказал Никита Сергеевич,— сам понимаешь, что я имею в виду этого... Гордова.

Хрущев, как и многие тогда в Сталинграде, не любил командующего и не доверял его способностям, о чем он и предупредил Еременко (но в своих мемуарах Хрущев отозвался о Гордове положительно, может быть, по той простой причине, что Гордов после войны был расстрелян за одну неосторожную фразу, произнесенную им по пьянке,— мол, «рыба у нас всегда с головы гниет», в чем Сталин и усмотрел намек на свою голову). Тогда же, за чашкой чая, Хрущев говорил о Гордове иное:

— Ты ему про Ивана, а он тебе про Кузьму. Совсем не умеет общаться с людьми. Кроме матюгов, слова путного не услышишь. Знаниями тоже не обладает... Сталинград нуждается в других людях. Вот

Чуйков, поначалу я видеть его не мог, а сейчас вижу, что это настоящий командир: таким, как он, довериться можно. Но товарищу Сталину кто-то там сболтнул, что, мол, Чуйков пьяница...

Итак, Сталинградский фронт товарищ Сталин мудрейше и гениально, как всегда, разделил на две половины, а мудрая теория о двух пауках в одной банке сразу же дала практические результаты. Между Еременко (Юго-Восточный фронт) и Гордовым (фронт Сталинградский) возникла обоюдная неприязнь, тем более что командный пункт у них был один — в подземных штольнях, отрытых на дне оврага, вдоль которого жалкая Царица спешила отдать свои мутные воды царственной Волге. Гордов всюду критиковал Еременко, но Андрей Иванович за словом в чужой карман не лез. Таким образом, хотел того или не хотел товарищ Сталин, но в Сталинграде образовался третий фронт — между командующими фронтами, и если им часто не хватало боеприпасов для фронта, то слов они припасли немало. Да и причин для вражды было достаточно: задачи у них одинаковые, зато штабы, снабжения фронтов и планы — все разное, что приводило к бестолковщине, о чем товарищ Сталин не подумал, а Василевский, понимая, что совершается глупость, не был настолько смел, чтобы возражать «отцу народов». (Впрочем, если мы вспомним Шапошникова, то он тоже не всегда отстаивал свое мнение, отличное от сталинского.) Так и воевали: с юга напирает Гот с танками, с запада прет армия Паулюса, а двери кабинета Еременко напротив дверей кабинета Гордова, а командный нужник у них один на двоих, хотя и Никите Сергеевичу забегать туда не возбранялось. Вот это война!

Но читатель не должен волноваться, ибо товарищ Сталин мудрее всех нас, и он скоро начнет другую рокировку.

...Совинформбюро пока что помалкивало, но, между нами говоря, наши войска кое-где уже отходили из большой излучины Дона — еще с 22 июля, а на другой день Паулюс выходил к речным переправам.

. . . .

Нет, я не забыл о слесаре Гончарове — помню.

Однажды он пришел на завод, молча и многозначительно выставил перед рабочими... утюг. Обыкновенный домашний утюг, которым совсем недавно жена его бельишко гладила.

— Вот! — сказал Гончаров.— Было у меня все, как у людей. А вчерась ото всего, что было, только утюг остался.

Не поняли его, и тогда Гончаров заплакал:

— Прямое попадание! Ни жены, ни четверых детишек... ничего больше! Один утюг уцелел... Дайте винтовку. Пишите меня добровольцем. В батальон истребительный. Я их, гадов энтих, что всю жизнь мою искалечили, не пожалею... и за себя теперь не ручаюсь. Не дадите оружия — руками душить стану!

Дали ему винтовку, и пошел Гончаров в цех СТЗ, а винтовку теперь прислонял к станку, чтобы оружие всегда было у него под рукою. Вы только подумайте: у этого человека отняли все разом, всю его жизнь, все будущее, и остался в руинах дома один лишь чугунный утюг... Озвереть можно!

Вот он и озверел, а потому 23 августа 1942 года Гончаров выключит станок и возьмет в руки винтовку.

О таких вот рабочих Паулюс никогда не думал...

15. ПРОТИВНИКИ

«Каждые семь секунд в России погибает один немецкий солдат!» Не совсем-то нравственно, на мой взгляд, подсчитывать, сколько убивают врагов в секунду, и при этом умалчивать, сколько русских за семь секунд убивают немцы.

Теперь обе группы армий «А» и «Б», разделенные меж собой полумертвым пространством, из которого бежали жители, но в которое оккупанты еще не вошли, — эти «А» и «Б» страшными сороконожками двигались самостоятельно: Лист и Клейст нажимали на Кавказ, а Паулюс из большой излучины Дона выбирался к берегам Волги. Начинался август, и мне, чтобы ощутимее был накал тогдашних боев, все-таки придется сказать, что в группах «А» и «Б» убыль за этот месяц составила 132 800 человек, а пополнение было совсем ничтожное — лишь 36 000 солдат.

Но потери мало заботили Гитлера, и, уверенный в том, что второго фронта еще долго не будет, он перекачивал свои дивизии из Франции и Германии на Восточный фронт, который подобно чудовищному Молоху губил миллионы жизней. Вечером 5 августа в столовом бараке «Вервольфа» под Винницей фюрер удачно прикончил комара на своем затылке:

— Моя стратегия оправдалась полностью. Русские поставлены на колени, и я понимаю причины, по которым Сталин не желает покидать город, носящий его имя. Наверное, назови я в Германии какой-либо городишко Гитлербургом, мне бы, наверное, тоже было жаль отдавать его этому Чингисхану...

1 августа танковая армия Германа Гота, прокатывая свои ролики вдоль железной дороги к Сталинграду, взяла станцию Ремонтная, через день она была уже в городе Котельниково, а теперь выходила к реке Аксай. Паулюс был доволен, что силы русских теперь раздвоены — против него и против Гота, когда квартирмейстер фон Кутновски доложил ему о нехватке «похоронных команд», не успевающих зарывать трупы:

— Хотя мы не отказываем им в голландском «Шокакола», они курят только сигареты «Аттика», каждый имеет в день по банке португальских сардин и фруктовых консервов.

Порыв ветра сдул со стола Паулюса штабные бумаги — синие, белые, красные и зеленые (по степени их секретности).

— Закройте окно, черт вас всех побери! — нервно крикнул Паулюс. — Накажите священникам, — велел он, — чтобы впредь не церемонились с индивидуальными захоронениями. Кажется, уже пришло время братских могил... как у русских.

— Думаю, — поддержал его Артур Шмидт, — что католиков и лютеран можно сваливать в общую яму, а на том свете все будут равны перед всевышним...

«Молниеносная девица» приняла свежую информацию: танки Клейста вступили в Сальск, одна колонна двинулась на Краснодар, другую Клейст развернул на Ставрополь (7 августа танки Клейста возьмут Армавир, а еще через два дня окажутся в Майкопе). Вильгельм Адам перебрал в пальцах хитроумные ключи от секретного сейфа с документами 6-й армии:

— Интересно, успеют ли русские взорвать нефтепромыслы?..

Вопрос таил общую тревогу. Начиная с июля вермахт испытывал острую нехватку горючего, отчего продвижение замедлилось. Рихтгофену не отказывали в бензине, но в 6-й армии застыли тягачи «Фамо» и мощные «Фр. Круппы», простаивали семитонные «Хономаки» и грузовики «Адлеры», теперь пушки таскали по степи могучие першероны, на крупах которых были выжжены особые тавро вермахта... Паулюс сказал Виттерсгейму:

— Вы гоняете свои ролики даже за водою к реке, тогда как русские не забыли об услугах крестьянской телеги.

Виттерсгейм огрызнулся — его танки, не признавая дорог (которых и не было), катились по целине:

— Потому за одну неделю моторы сожрали всю месячную норму, а двигатели у нас всегда рискованно перегревались.

— Не будем спорить... Как там служится моему Эрни?

— Ваш сын превосходный танкист, но слишком горяч!

— Вы следите за ним, Виттерсгейм, — просил Паулюс, чуть покраснев от стыда. — Поймите, я готов смирить страхи отцовских чувств, но моя жена... ее материнское сердце...

Вечером Паулюс, оставшись один, грустил:

Тихо скрипка играет,
А я молча танцую с тобой...

— Бедная Коко... бедная, — тосковал Паулюс.

И не знал самого страшного. Пройдет недолгий срок, его имя будет вычеркнуто из жизни, а в гестапо от Коко станут требовать, чтобы отказалась от мужа и чтобы даже переменила фамилию, дабы в Германии все немцы забыли это презренное имя — Паулюс. Но Елена-Констанция, эта милейшая и умная Коко, откажется предать мужа, и потому до конца войны ее будут держать за колючей проволокой Равенсбружа. Она умрет в 1949 году, и они, всю жизнь так любившие друг друга, больше никогда не увидятся... Никогда. Никогда! Никогда!!!

. . . .

В ставке Гитлера под Винницей, как отметил Франц Гальдер, «невыносимая ругань по поводу *чужих* ошибок»,— это и понятно, ибо фюрер подобно Сталину считал себя гением, а все ошибки он сваливал на головы других, которые — вот идиоты! — гениями себя не считали. Гальдер понимал, что дни его сочтены, и он позвонил в Цоссен, чтобы заранее подогнали в Винницу его личный поезд «Европа», дабы покинуть театр военных действий, где фюрер неустрашимо побеждал комаров.

— Я вас не держу, — сказал Гитлер, — можете забрать с собой и своего ученика Паулюса, который недавно распинался передо мною, что скоро сделает мне символический дар — бутылку с натуральной волжской водой... Где она? Теперь не Паулюс, а Герман Гот войдет в Сталинград!

С нашей стороны пропаганда сработала неряшливо, и Москва прежде времени оповестила по радио мир, что «на берегах Волги высится нерушимая крепость — Сталинград», о неприступные стены которой гитлеровцы обломают последние зубы. Для Геббельса этой обмолвки было достаточно, и он отреагировал быстро:

— Послушай, Фриче, — сказал он приятелю, — на этом можно удачно сыграть. Ведь не мы, а сами русские объявили Сталинград крепостью, вроде Вердена, а потому ты нарочно проболтайся по радио: мол, наша задержка под Сталинградом тем и объясняется, что Сталинград — крепость, которую предстоит брать штурмом.

— Пардон, — отвечал Ганс Фриче своему шефу. — Но... кого обманем? Крепости создаются на границах государств, а иметь их в глубоком тылу... какой смысл? Если бы, наконец, Сталинград был крепостью, так местные партайгеноссе не гоняли бы своих баб с лопатами и тачками — рыть окопы...

Но все-таки в речи по радио Фриче развил эту тему, оправдывая медленное продвижение к Волге 6-й армии. В эти дни Паулюс испытывал почти ревнивое чувство к 4-й танковой армии:

— Будет нам стыдно, если Гот выкатит ролики к Сталгрэсу раньше, нежели моя пехота вломится в цеха СТЗ и разгонит прикладами рабочих... Вилли, где последние данные аэрофотосъемки?

Нет, не с начальником штаба Артуром Шмидтом, а со своим верным адъютантом Паулюс изучал планы города и подступов к нему со стороны большой излучины Дона, при этом Вильгельм Адам разбирался в таких вопросах лучше Артура Шмидта:

— Конфигурация Сталинграда, — говорил он, — такова, что нам невозможно окружить его, прежде не форсировав реку, а Волга здесь слишком широка, мостов же она не имеет. Мы можем лишь закрепиться в улицах города, чтобы поставить Волгу под жесткий контроль. Сам же город никакой ценности не имеет!

Паулюс, надев очки, всматривался в тени и полутени на земле, снятые с высоты полета, спросил — что за черточки?

— Траншеи, — ответил Адам. — А вот и сам главный пояс оборонительных сооружений, который серьезным препятствием назвать нельзя. Русские напрасно старались, перевернув руками своих женщин горы земли лопатами, и даже вот эти рвы — видите? — совсем не задержат нашу армию.

Паулюс пришел к выводу:

— Мои кости не дрожат при виде этих укреплений между Доном и Волгою, но зато трясутся манжеты, когда я подумаю — что ожидает нас в самом городе?..

Грянул выстрел. Совсем недалеко от штабного автобуса.

— Вилли, узнайте, что там?..

Адам скоро вернулся и махнул рукой:

— Глупейшая история, — сказал он. — Застрелился заслуженный гауптфельдфебель Курт Эмиг, который уже три раза отказывался ехать в отпуск, чтобы нахватать «э-ка» побольше, но, пока он тут обвешивал себя железными крестами, жена в Грайфсвальде изменяла ему налево и направо. Вот он узнал об этом сегодня и... Наверное, решил отомстить.

— А много у него было «э-ка»?

— Уже три. И медаль «за отмороженное мясо».

— Вот глупец! — сказал Паулюс...

Приказ № 227 был утвержден Сталиным 28 июля, а через пять дней он уже попал в руки немцев, подверженный тщательному анализу. Кутченбах быстро приготовил перевод приказа:

— Главная мысль Сталина такова: без приказа не отступать.

При этом Паулюс случайно вспомнил победный 1941 год и Эриха Гёпнера, разжалованного за отступление без приказа свыше:

— Но у нас такие же приказы фюрер издал после Москвы, а Сталин повторяет их смысл, но уже под стенами Сталинграда, объявленного им крепостью. Ничего оригинального в сталинском приказе я не усматриваю.

— Простите, — вмешался Шмидт. — Сталин уже нервничает, а его приказ — явное свидетельство слабости его армии.

— Пожалуй, вы правы, — согласился Паулюс.

Но согласился неохотно, ибо соглашаться со Шмидтом он не желал бы — ни в чем! Шмидта называли «серым кардиналом», который за спиной Паулюса желал бы управлять его армией; наконец, до Паулюса дошли и слова генерала Арно фон Ленски, что Шмидт — это партийный Мефистофель, приставленный к аполитичному Паулюсу. Шмидта в армии не любили и за грубость, с какой он выражал свое мнение, не раз выдавая его за мнение командующего.

Барону Кутченбаху, своему зятю, Паулюс сказал:

— Милый Альфред, я не желаю, чтобы моя любимая дочь Ольга осталась вдовою. Я вам советую иногда снимать свой черный мундир зондерфюрера, чтобы не нарваться на пулю от русских, которых вы же сами иногда и жалеете...

Этот совет он дал зятю после одной тягостной для него беседы с генералами Отто Корфесом и Мартином Латтманом, которые откровенно называли эсэсовцев «сопляками»:

— Они, войска СС и СД, крадутся, словно шакалы, за нашей армией, а что они творят там, на хуторах и в станицах, об этом известно, пожалуй, лишь начальнику вашего штаба.

— Пусть они и отвечают за все, — сказал Паулюс. — Но при чем здесь моя элитарная армия?

— Увы, — отозвался Латтман, — кровавые следы эсэсовцев совпа-

дают со следами, оставленными подошвами наших солдат, и русские нашу армию знают... еще со времен Рейхенау.

— Меня это не касается! — вспылил Паулюс. — Я не отвечаю за прошлое своей армии, и вы не забывайте, что в Белгороде я распорядился спилить все виселицы...

Между тем Артур Шмидт оказался достаточно проницательным, и, желая расположить к себе Паулюса, однажды он даже рискнул на откровенный разговор:

— Вы напрасно презираете меня... плебея. Да, я, как и вы, тоже поднялся из самых низов жизни. В гимназии, не скрою, меня называли «лавочником», ибо я, чтобы нажить на папиросы, торговал в классах тянучками из лавки своего отца. Вас ввела в круг элиты удачная женитьба на румынской аристократке, а меня подняла верность национальным интересам Германии. Вы не изменяли своей жене, а я неспособен изменить своим политическим и партийным идеалам.

Паулюс возмутился подобным хамским сравнением:

— Как вам не стыдно? Сравнивать измену жене с изменой партии — это, простите, скверный анекдот из гомосексуальных казарм времен штурмовика Эрнста Рема.

— Вы меня неверно поняли, — смутился Шмидт.

— Оставьте меня в покое, и впредь я никогда не желаю разговаривать на темы политики. Армия — вне политики...

Об этом конфликте он рассказал только Адаму:

— Подозреваю, что Шмидт приставлен ко мне вроде гувернантки. Я не буду удивлен, если узнаю, что у него имеется параллельная моей, но потаенная радиосвязь не только с Винницей, но даже с Житомиром, где засел шеф гестапо...

Адам печально вздохнул и сказал, что с передовой снова названивал генерал Курт Зейдлиц:

— Вам ничего не говорит имя капитана Эрнста Хадермана?

— Впервые слышу, — ответил Паулюс.

— Награжденный железным крестом от фюрера, он сдался русским еще под Харьковом, и теперь они используют его в своих целях. Зейдлиц жаловался, что по утрам Хадерман орет в мегафон через линию фронта, что война Германией проиграна, а наши победы апокрифичны. В конечном итоге войну, по словам Хадермана, выигрывает не тот, кто выигрывает победы, а только тот, кто выиграет всю войну...

Паулюс в эти дни навестил позиции 51-го армейского корпуса, которым командовал Зейдлиц, и Паулюс не скрывал, что ему было лестно иметь в подчинении такого заслуженного генерала. Зейдлиц обладал независимым характером, его решения подчас резко отличались от планов высшего командования. Он был умен, расчетлив и любил говорить правду.

— Кстати, Зейдлиц, что известно об этом Хадермане?

Зейдлиц выложил брошюрку в 40 страничек, обнаруженную в своей же легковой машине, которая называлась *«Как можно покончить с войной? Откровения немецкого капитана»*.

— Мало ему болтовни, так он еще и пишет?..

Паулюс читал: «Чтобы спасти наших солдат на фронте, чтобы избавить германский народ от неминуемой катастрофы, необходимо прежде всего сбросить Гитлера...» Паулюс снял очки:

— Я уверен, Зейдлиц, что никакого Хадермана не существует. Это выдумка большевиков, которые убили подлинного Хадермана, но его имя теперь они используют в собственных интересах.

Курт Зейдлиц думал иначе и быстро листал брошюру:

— Вот! Слушайте: «Настоящее лицо Германии еще скрыто, заграница видит лишь искаженную душу немецкого народа. Наш дух задавлен, над нами восторжествовала грубая сила». Если бы не эти слова, — сказал Зейдлиц, — я бы отдал брошюру своим солдатам на пипифакс.

Но капитан Эрнст Хадерман, наверное, существует, ибо так писать может только немец.

Хадерман вступал в контакт с войсками по вечерам, после ужина, и Паулюс выразил желание его послушать. Они опоздали, пережидая пулеметный огонь русских, и Паулюс спрыгнул в окоп, изнутри украшенный предупредительными надписями: *«Не забывай пользоваться презервативами»*, *«Помни о русских снайперах»*.

Диалог — через линию фронта — был уже в разгаре.

— Эй, кретин! — орали солдаты Зейдлица. — Сознайся по совести: сколько тебе платят русские?

С русской стороны мегафон возвещал:

— Не будь дураком! Я такой же военнопленный, как и другие, и, поговорив с тобой, я отсюда снова вернусь за колючую проволоку лагеря. Русские мне платят только своим доверием, ибо я, очень далекий от их марксистских увлечений, желаю умереть честным немцем.

— Проваливай... трепло поганое! — орали в ответ солдаты. — Пусть Иваны угостят тебя ликером из своих елок, отрежут кусок торта из опилок и угостят махоркой.

Со стороны Хадермана слышалось:

— Немцы, вспомните, что писал наш великий Гёте: «Немцев всегда злит оттого, что истина слишком проста...»

Зейдлиц наслушался брани и затоптал свой окурок:

— Эй! Кончайте болтовню... Дайте по предателю нации из крупнокалиберного пулемета, чтобы он навсегда заткнулся.

— Заодно, — добавил Паулюс, — всадите туда парочку осколочных с примесью горящего фосфора... вот и конец!

. . . .

Генерал-профессор Отто Ренольди сообщил, что на контроле в Кракове задержаны триста солдат 6-й армии:

— Наши отпускники! Им не дали «подарков фюрера» и не пускают в Германию, ибо они не прошли дезинсекцию на вшивость.

Паулюс удивился — отчего завшивела его армия?

— Конечно, от русских, — подсказал Шмидт.

— Нет, — со знанием дела отвечал Ренольди. — От русских заводятся клопы, а вши от кукурузников и макаронников. Вы же знаете, что британские войска в Киренаике никогда не занимают окопы после итальянцев по тем же причинам.

Паулюс с присущей ему брезгливостью предложил, чтобы солдаты 6-й армии почаще полоскали белье в речках.

— Но эти звери не тонут, — отвечал Ренольди, более практичный, и Паулюс спросил профессора, как с этим бедствием налажено дело у русских. — У русских, — пояснил Ренольди, — еще со времен царя заведены в войсках регулярные «прожарки».

— Нельзя ли и нам... как при царе?

— У нас, — настырно вмешался Шмидт, — тоже имеются подобные камеры. А немецкая техника самая передовая в мире.

— Конечно! — не возражал Ренольди. — Но в соревновании нашей техники с техникой противника имеется небольшая разница: в русских камерах зараза полностью уничтожается, а в наших гнида только получает легкий загар, как на испанском курорте. Предупреждаю: набравшись вшей у Харькова, мы протащим их на переправе через Дон, а когда выйдем на Волгу, сыпной тиф нашей героической армии обеспечен, как и пенсия в старости...

Ренольди оказался прав. Но спасать жизни немецких солдат от сыпного тифа будут уже наши врачи, многие из которых и станут жертвами сыпняка, заразившись от своих пациентов. Германия об этом помнит, а солдаты 6-й армии до сей поры благодарят наших врачей, которые спасли их, а сами погибли. Паулюса эта болезнь миновала.

В Суздале, уже за стенами монастыря, где содержались многие его коллеги, однажды к нему подошел немецкий офицер с железным крестом поверх потасканного мундира:

— Наш диалог был тогда прерван, господин фельдмаршал, и прерван не по моей вине. Я и есть тот самый капитан Эрнст Хадерман, которого многие из вас сочли большевистской выдумкой. Если не возражаете, мы прежний диалог продолжим и, надеюсь, с бо́льшим успехом... во всяком случае — без стрельбы!

16. В ГОРОДЕ

В скверах города гуляли козы и коровы, по бульварам и дворам носились отощавшие бесхозные свиньи с поросятами.

Еременко вскоре же познакомился с Чуяновым.

— Живете, — сказал недовольно, — словно дикари какие, даже моста через Волгу не перекинули. А потом, — спросил, — что я вижу? Сталинград — город, носящий имя великого вождя, а здесь коровы бродят по газонам и ко всем бабам пристают, чтобы их подоили. Едешь по городу, а свиньи визжат, коровы мычат, собаки лают... Хорошо ли это?

Алексей Семенович не спорил; но откуда свиньи взялись — и сам не знал, признав за истину, что хозяина их не отыскать; обещал направить комсомольцев на отлов свиней, чтобы всех — на мясокомбинат, а комсомолок — чтобы коров доили.

— Конечно, тут не Москва, где мильтон свистнет, так сразу все разбегаются. Мы — провинция. Это в столице скажут: глядеть всем наверх — и все смотрят; а у нас прежде спрашивают: «Зачем наверх глядеть? Чего мы там не видали?..»

Андрей Иванович схватил костыли, по комнате — скок-скок в один конец, повернул обратно, снова за стол уселся (раны еще болели, и Еременко превозмогал себя).

— Слушай, ты сам-то с какого года?

— Урожден в год революции — в пятом.

— А я еще в прошлом веке родился, старше тебя, — сказал Еременко, — так чего ты тут дурака валяешь? Я ведь дело говорю. В конце-то концов, плевать мне на свиней да коров недоеиных... Сейчас во́ как, позарез мост нужен!

Чуянов сообщил: уж сколько бумаг им было написано, каждый год отвечали — то в планы пятилетки мост не влезет, то средств не сыскать, а сейчас, когда немцы с двух сторон жмут, какой же тут мост построишь? Только на горе себе:

— Сегодня построим, а завтра от него немцы одни сваи оставят. Меня же и турнут за милую душу, как... Дон Кихота!

Еременко сказал, что мост берет на себя:

— У меня же саперы. А мост наплавной сделаем. Коли разбомбят, восстановим быстро — и снова поехали... Нельзя же воевать, если армия на одном берегу, считай, в городе, а тылы ее на другом, в Заволжье, где одна тоска зеленая.

Разговор происходил на командном пункте двух фронтов (в штольнях), в соседней комнате тихо попискивала морзянка, в проходе были кучей свалены аккумуляторные батареи, а стены в кабинете Еременко были сплошь обтянуты тонкой фанерой, и оба они, не раз бывавшие на приемах в Кремле, понимали, что это личный вкус товарища Сталина, обожавшего именно такую обивку на стенах.

— Хозяин распорядился, — намекнул Чуянов.

— Верно! — огляделся Еременко. — А я-то сижу и думаю: отчего в подвале все такое знакомое, будто в кабинете вождя нахожусь? Вот она, наглядная забота о нас партии и правительства...

(Подобные словесные эскапады были в духе речей того времени даже в мемуарах Еременко писал, что в кабинете Сталина ему казалось, будто Ильич с портрета улыбался ему, словно одобряя на подвиг.)

А дома Чуянова поджидала жена:

— Алеша, — завела она прежний разговор. — Или глаз у тебя не стало? Разве не видишь, что творится в городе? Твои партийные работники из обкома и даже из райкомов уже давно семьи из города тишком повывозили. Теперь живут в безопасности в заволжских кумысолечебницах, беды не знают на обкомовских дачах в «Горной поляне». Один ты у меня...

— Ша! — сказал Чуянов. — Не скули. Я тебе уже говорил, что моя семья останется в Сталинграде, и больше с такими вопросами ко мне не приставай.

Дедушка Ефим Иванович поддержал Чуянова:

— Алексей-то правду сказывает. На него же люди смотрят: сбежал аль сидит? Вот и крепись, а не хнычь... Сама знала, за кого замуж выходила. У них, партейных, своего винта нет — оне сверху крутятся, как окаянные...

Если выдавались спокойные ночи, сталинградцы из окон своих квартир видели далекое зарево — это полыхала степь, в огне сражений сгорали на корню массивы переспелой ржи и пшеницы. Надрывно, почти истошно перекликались меж собой маневровые «кукушки» на станциях Качалино, Паншино, Котлубань, — сталинградский узел уже задыхался в страшном и тесном тупике, из которого, казалось, не выдернуть ни одного вагона и не найти места для вагона прибывшего. А вокруг города, ограждая его от наседающих армий Гота и Паулюса, подтянулась на 800 километров извилистая и постоянно колеблющаяся линия фронта — в разрывах и проломах, уже рваная...

В эти дни Еременко вызвал к себе саперов, их в Сталинграде возглавлял генерал-инженер В. Ф. Шестаков.

— Без моста задохнемся... Вспомните, как наш замечательный советский классик Алексей Толстой в своем гениальном романе «Хлеб» описал скорое строительство моста через Дон нашим легендарным маршалом Ворошиловым.

— Так это в романах, — отвечали саперы, — легко было писать Толстому, а ты попробуй-ка сделай... У нас тут не Дон, а Волга-матушка, и мы тоже не товарищи Ворошиловы.

Строить наплавной мост решили возле Тракторного завода (СТЗ), и Шестаков сказал, что будут поторапливаться, ибо железная дорога от узловой станции Поворино уже доживает последние дни: не сегодня, так завтра немцы могут ее перерезать.

— Будем спешить, — скромно обещал генерал Шестаков...

Наводить мост решили от набережной, чтобы через острова Зайцевский и Спорный он вывел к Ахтубе, где густо дозревали вишневые сады. А дальше уже тянулись нелюдимые степи Заволжья, в пустынное небытие шагали рядами телеграфные столбы, звенящие струнами проводов, и на каждом столбе сидели хищные коршуны, зорко высматривая добычу.

. . . .

Примерно за день до назначения А. И. Еременко в Сталинграде случилось нечто из области не научной, но административной фантастики, явление до сих пор необъяснимое.

В тупике железнодорожных путей, где скопились вагоны с различным сырьем для металлобазы Вторчермета, грузчики наткнулись на запломбированный вагон, который охранял солдат с винтовкой. Естественно, работяги удивились:

— Чего у тебя там в вагоне? Медь, чугун?

— Железяки всякие.

— Так чего хлам охранять-то?

— Так велено.

— Ну, валяй отсель, — сказали грузчики. — Да проспись. На тебе лица нет. А мы твой вагон под разгрузку ставим.
— Хрена с два, — отвечал стойкий часовой. — Мне приказано никого не подпущать, а ежели кто полезет — стрелять.
— Не дури! Вот и квитанция у нас на разгрузку.
— Отойди по-хорошему, — кричал солдат, щелкая затвором винтовки. — Иначе, ей-ей, пальну — не возрадуетесь.
— Псих ты, что ли? Совсем очумел?
— Говорю — отойди. Иначе всех перестреляю...
С базы Вторчермета звонили в обком, просили вмешаться, а Чуянов поднял на ноги НКВД, наказав Воронину разобраться с этим вагоном. Воронин, ныряя под составами, забившими станционные пути, долго ползал в неразберихе рельсов, наконец, вышел на грузчиков, которые в сторонке покуривали.
— Эвон, — показали они ему, — вагон под пломбами. На базе ждут, чтобы пустить металлолом в переплавку, а энтот молокосос обрадовался, что «винтарь» доверили, — не подпущает.
Воронин сунулся было на площадку вагона, чтобы одним махом обезоружить солдата, но тут же кувырком полетел под насыпь от удара прикладом и окрика «Стой! Стрелять буду!..» Отошел подальше, отряхнул галифе, матюгнулся и стал думу думать — как бы ему разоружить бойца, чересчур усердного, чтобы он с винтовкой расстался. Как представитель могучей организации НКВД, Воронин, конечно, начал с лирики:
— Эй, товарищ боец, благодарю за верную службу!
— Служу Советскому Союзу, — последовал четкий ответ.
— А какой день ты не жрамши? — ласково спросил Воронин.
— Кажись, пятый. Забыл, когда ел.
— Небось и пос... хочешь?— ласково спросил Воронин.
— Прижимает. Да боевой пост не оставишь.
Воронин продумал свое поведение, издали спрашивая:
— Эй, хочешь, я тебя арестую?
— Зачем? — удивился часовой.
— А... просто так. Больно уж ты мне понравился. Я ведь тебе не хрен собачий, а НКВД... что хочу, то и делаю. Могу хоть здесь ордер на арест выписать и припаяю «врага народа».
— На што? — еще больше удивился боец.
— У нас не спрашивают — за что? Значит, так надо. Лучше бросай винтовку да пойдем со мною. Хватит трепаться. Я тебя в нужник сведу и даже кормить стану... Идет?
Все-таки уговорил. Боец сдал винтовку, свой пост, Воронин отправил его с запиской в комендатуру города, куда и сам позвонил, чтобы там его накормили и дали парню выспаться. Потом свистнул, подзывая бригаду грузчиков:
— Эй, ребята! Срывай пломбы...
Сорвали. Дверь теплушки с грохотом откатилась в сторону, Воронин глянул внутрь вагона и... обомлел.
— Никому ни слова, — предупредил грузчиков.
Сразу пришел в диспетчерскую, всех из комнаты выгнал, чтобы не подслушали, позвонил Чуянову:
— Держись крепче на чем сидишь, — сказал он.
— Вагон взяли с утильсырьем?
— Взяли и открыли.
— А что в нем? — спросил Чуянов.
— З о л о т о.
— В уме ли ты? Может, бронзу с золотом перепутал?
— Нет. Полный вагон золота... в слитках.
— Так откуда он взялся, этот вагон?
— Теперь не узнаешь. Никаких документов. Кажется, едет вагон давно, а откуда — неизвестно. Скорее всего, его для маскировки запихнули в эшелон с металлоломом... Как быть? Еще бы немного — и поставили под разгрузку. Уж, наверное, каждый грузчик по слитку бы в зубах домой унес... Как быть?

Чуянов позвонил в Москву, в Госбанк СССР:
— Скажите, пожалуйста, — нарочито умильно начал он, — у вас случайно никогда не пропадал вагон с золотом?
— Как вы могли подумать! — отвечали из Москвы. — Мы здесь каждую народную копейку бережем, а вы... вагон с золотом?
— А все-таки, — продолжал Чуянов, — как вы отнесетесь к тому, что я подарю вашему банку вагон с золотом?
— Перестаньте хулиганить! — отвечали ему...
Вечером позвонил из Госбанка какой-то товарищ, судя по апломбу в голосе, ответственный и авторитетный:
— Это у вас нашли наш вагон с золотом?
Чуянов не отказал себе в удовольствии поиздеваться:
— Пока что вагон не ваш, а, простите, м о й.
— А что вы с ним сделали?
— Пропиваем. Всем городом.
— Не до шуток! Как этот вагон к вам попал?
— Вот об этом, — обозлился Чуянов, — надо бы не меня, а вас спрашивать: почему вы этот вагон с золотишком чуть было на переплавку вместе с утильсырьем не пустили.
— Поставьте к вагону усиленную вооруженную охрану.
— Сейчас! Вот только берданку заряжу и побегу охранять...
Дальше этим вагоном занимался Воронин, ставил усиленную охрану, выдергивал вагон из немыслимого хаоса составов, а сам Чуянов еще долго не мог успокоиться.
— Лопухи! — возмущался. — Финансисты дырявые. Зато и везет же нашему Сталинграду: в прошлом году нашли на путях целый эшелон с пушками, а в этом — вагон с золотишком... во где б а р д а к!
Душно было, жарко. Во дворе обкома стояла зенитка, и через открытое окно Чуянов слышал, как политрук части, собрав бойцов, проводил очередные политзанятия. Он начал так:
— Товарищи бойцы, сегодня у нас самая почетная программа занятий. Кто из вас берется перечислить все те должности, которые занимает наш великий вождь и учитель товарищ Сталин?.. Ну? Неужто никто не знает? Смелее, товарищи. Нельзя побеждать коварного врага, не зная наизусть все посты, занимаемые великим полководцем и вождем всех народов...
Алексей Семенович высунулся в окно, крикнул:
— Эй, кончай! Разворачивай свою пушку... л е т я т!
С женою Чуянов договорился так, что — еще до объявления воздушной тревоги, о которой узнавал раньше всех, — он звонил на Краснопитерскую и говорил два слова: «Катюша едет», что означало: пора его семье спускаться в подвал. Все реже он бывал дома, в своем же кабинете и спал на диване, чтобы в любой момент взять трубку правительственного или городского телефона. Средь ночи на диван к нему запрыгивала приблудная овчарка Астра и благодарно лизала хозяина в нос.
— Да иди ты! — отмахивался Чуянов. — Нашла время для нежностей... не мешай выдрыхнуться.
Иногда гремели отдаленные взрывы, но Чуянов уже привык и спал как убитый — до звонка! Спал и даже не слышал, как в городском зоопарке всю ночь жалобно трубила, словно предвещая беду, некормленная слониха Нелли.

. . . .

Верно говорили немецкие генералы, начиная войну: всегда известно, как в Россию забраться, но никогда не будешь знать, как из нее выбраться. Чем дальше войска вермахта погружались в наши великие пространства, тем обширнее становился фронт, растягиваясь, словно

резина, а от центральных направлений то и дело ответвлялись пучки других направлений, и каждое требовало новых усилий, новой техники, все больших запасов горючего. Вот краткий пример: казалось бы, Герман Гот, начав прорыв к Сталинграду от станицы Цимлянской, имел лишь одно генеральное направление — на Сталинград, но сразу возникло опасение, что русские нанесут его армии удар с тыла — через калмыцкие степи, со стороны Астрахани, — и Готу, чтобы обезопасить себя, пришлось часть своих сил бросить на захват Элисты, столицы Калмыкии, — так возникло еще одно направление, а Паулюс, когда он сидел в Цоссене над планом «Барбаросса», конечно же, не мог предвидеть, что мощь вермахта будет раздергана на множество мелких задач, и, взяв Элисту, немцы потом не будут знать, как из этой Элисты унести ноги...

Известно, что после войны гитлеровские генералы, эту войну проигравшие, все свои беды свалили на своего несчастного «ефрейтора», который забрался в область большой стратегии, словно свинья в парфюмерную лавку. Писали они, мол, Гитлеру бы лучше заниматься своей партией, а не лезть в их дела, а вот они, дай им волю, разделались бы с Россией еще летом сорок первого года... Немецким генералам от наших историков за это попало! Мол, сами воевать не умели, а теперь валят с больной головы на здоровую (этим самым невольно признавая стратегические таланты фюрера). Но, касаясь операций лета сорок второго года, я — автор — все-таки склонен думать, что немецкие генералы были правы, а Гитлер попросту зарвался, когда на юге страны раздвоил свой вермахт подобно растопыренной раковой клешне, силясь одним ударом достичь сразу двух стратегических целей — выхода к нефтепромыслам на Кавказе и занятия Сталинграда на Волге. Помоему, прав и Курт Типпельскирх, писавший: «Не вызывает почти никакого сомнения, что Сталинград в начале августа можно было взять внезапным ударом с юга». Возможно, что и так... Возможно, говорю я! Но Гитлер бросил армию Листа на Кавказ, потом от этой армии оторвал армию Гота, а сам Гот ослабил себя, откатив часть своих роликов в направлении Элисты, чему, как вы догадываетесь, немало подивились наши калмыки, жившие в своем захолустье как у христа за пазухой. «Таким образом, — завершает свой вывод Типпельскирх, — 6-я армия (Паулюса) и ослабленная 4-я танковая армия (Гота) должны были вести фронтальное наступление против непрерывно *усиливавшейся* обороны противника...»

«Эти собаки...» — говорили на допросах пленные румыны и итальянцы, хорваты и венгры; и наши особисты не могли взять в толк, о каких «собаках» идет речь. (Союзники Германии именно так отзывались о немцах.) Вот признание одного пленного:

— Эти собаки катили в грузовиках и бронетранспортерах, словно по трамвайному билету, а я протопал семьсот миль пешком. Хотите, разуюсь и покажу вам свои ноги... от перепрелости они все в волдырях, из которых течет гной с сукровицей. Бог спас меня, и завтра не надо маршировать под солнцем, думая, где бы нахлебаться воды. В полку уцелели меньше половины солдат. Мы все удивлены — где русские берут столько людей и вооружения? Бьем, бьем, а они колотят нас каждый день беспощадно. Сейчас мы все озабочены одним — как бы найти протекцию на родине, чтобы нас отозвали с фронта. В плен сдаваться многие еще боятся, поступая проще: берут буханку хлеба и через эту буханку стреляют в свою руку иль ногу. Но это тоже опасно. Ведь о раненых заботятся только у этих собак, а у наших врачей каждая таблетка аспирина на счету...

Мы, читатель, спокойно читаем старые сводки Совинформбюро, а ведь тогда, летом сорок второго, наши матери и бабушки, читая их, *плакали*. Даже та скудная и кривобокая информация, что поступала с фронтов, таила роковую недоговоренность, которая казалась страшнее правды. Теперь немецкие самолеты забрасывали окопы защитников Сталинграда листовками, текст которых едва ли отличался от тех, что сыпали на нас раньше.

В СТАЛИНГРАД ПРИДЕМ С БОМБЕЖКОЙ, А ДО САРАТОВА — С ГАРМОШКОЙ...

Сталин не очень-то охотно расставался с запасами стратегических резервов, что держал под Москвой для обороны столицы, но обстановка на юге все же убедила его, наконец, что судьба войны будет решена на берегах великой русской реки. Денно и нощно катили эшелоны. Но железные дороги работали безобразно, их графики были перегружены до предела. Бывало и так, что «голова» дивизии уже вела затяжные бои в излучине Дона, а «хвост» дивизии еще начинал погрузку на подмосковной станции Люберцы. Иногда эшелоны застревали далеко от Сталинграда, и бойцы топали на фронт «пешедралом» (поэтому некоторые подкрепления добрались до Сталинграда после 23 августа, когда многое было уже решено). А станции в степи под Сталинградом как назло не имели платформ, и разгрузка танков проводилась остроумно — по команде старшего:

— Заводи моторы, славяне! Делай, как я...

Танки, рыча моторами, один за другим шли прямиком по товарным платформам, и в конце эшелона они, как лягушки, «спрыгивали» на землю, иногда «прямо с колес» принимая бой.

Немцы, как правило, воевать начинали с восьми утра, а по ночам дрыхли, развесив над линией фронта «лампады» — осветительные бомбы, которые, плавно снижаясь на парашютах, освещали позиции феерическим светом. Поля вчерашних битв напоминали «деревни» — так много оставалось здесь подбитых танков. Наши бойцы ночью «шуровали» в брошенных танках, где находили множество награбленных вещей, особенно женских,— для отправки в «фатерланд». Приказ Сталина № 227, сразу ставший «секретным», немцы разбрасывали над нашими позициями в виде листовок. При этом текст приказа они ничем не исказили, сохранив в листовках весь его грозный смысл, только в конце его сделали примечание: вы, русские солдаты, сражаетесь прекрасно, и мы, немцы, в мужестве вам не отказываем, но мы удивлены бездарностью вашего командования. Политруки и особисты такие листовки отбирали...

Гитлер, как и Сталин, уверовав в какую-либо собственную версию, потом не сразу с ней расставался, он упрямо лез на Кавказ, считая его чуть ли не главной целью всей этой летней кампании, и лез не только затем, чтобы насосаться нашей нефти, словно клоп чужой крови, но и ради того, чтобы боевыми успехами вермахта оказать политическое давление на правителей Турции, дабы они не медлили с нападением на Грузию и Армению. Но турки, как и японцы, терпеливо выжидали, чем закончится поход на Сталинград, и постепенно Гитлер стал склоняться к мысли, что не сам Кавказ (предгорья Кавказа), а именно Сталинград станет решающим фактором всей войны.

Лютое было время! Помню его отдаленные всплески, которые, как прибой, накатывались на Соловки, где я — в звании юнги! — в ту самую пору выламывал оконные решетки в тюремных камерах Савватьево, чтобы постигать потом в этих камерах-аудиториях сложную науку рулевого-сигнальщика... Политруки не слишком-то баловали нас правдой, но даже нашего мальчишеского ума хватало на то, чтобы понять— под Сталинградом творится что-то грозное и решающее, никак не похожее на «героическую оборону Царицына», а мне Сталинград казался тогда особенно близким по той причине, что мой отец Савва Михайлович Пикуль уже сражался там в рядах морской пехоты...

Вчера моя жена Антонина Ильинична долго и пристально вглядывалась в портрет Паулюса. И вдруг сказала ему:

— А ведь ты убил отца моего мужа! Это по твоей, может быть, вине погиб и мой папа, отчего я росла сиротою..

Верись оттуда живым мой отец, может, я бы никогда и не взялся за написание этой книги ..

. . . .

2 августа Уинстон Черчилль вылетел из Лондона, и через два дня он был в Каире, завороженный вниманием к двум направлениям войны — лагерем Роммеля под Эль-Аламейном и скорым продвижением вермахта к Кавказу, что грозило Лондону утратой политического влияния в странах Востока. Это было время, когда немцы уже вступили в Армавир...

Удивительно! Пленный румын жаловался, что «эти собаки» гнали его пешком, и он маршировал семьсот миль, а я вот читаю мемуары наших ветеранов, которые, выбираясь из клещей окружений, за одну неделю отмахивали на своих двоих по триста километров кряду — и на волдыри не жаловались, снова готовые сражаться. Отход наших войск из большой излучины Дона стоил нам потери многих баз снабжения, которые так и не вывезли — не хватало транспорта. Сколько там осталось добра в наших складах — и тогда не знали, да и сейчас узнавать нет смысла. 62-я армия тоже отошла из-под Калача, а четыре ее дивизии остались в окружении и, не вылезая из кровавых боев, все-таки вырвались из котла. А мы отступали... да, отступали! А каково быть в арьергарде? Пожалуй, страшнее, чем в авангарде; когда идет отступление, арьергард отходит последним, и все шишки достаются ему.

Шестую армию Паулюса отделяли от Сталинграда более полусотни километров, и он, кажется, ревностно относился к успехам Гота:

— Пожалуй, этот парень решил нас обогнать — что стоит для его роликов прокатиться двадцать-тридцать километров по гладкой степи, где почти не осталось русских войск, а вдоль насыпи железной дороги можно вкатиться прямо на вокзал Сталинграда...

Если читатель сыщет на карте реку Сал и проведет взором вдоль железной дороги на Сталинград, то станет ясен и маршрут 4-й танковой армии, следовавшей почти по рельсам. Наши войска, отжимаемые к северу, сдавали рубежи на реках — Сал, Аксай, и, наконец, остался последний водный рубеж на реке Мышкове возле станции Абганерово. Далее отступать, кажется, и нельзя, ибо от Мышковы до Сталинграда оставалось рукой подать; и Герман Гот не выдержал напряжения боев:

— Конечно, — сказал он в штабе, — мой коллега Паулюс будет смеяться, но мы только теряем время и танки в бесплодных атаках... Даже интересно: кто держит оборону перед нами?

— Генерал Чуйков... совершенно неизвестный.

— Будь он в моей армии, — сказал Гот, — я бы давно представил его к рыцарскому кресту с дубовыми листьями...

Перед ним развернули карту, но от станции Абганерово он перевел взгляд в желтые степи, где между Волгой и железной дорогой скромным пятнышком обозначилось озеро Цаца, а за этим озером лежал Красноармейск.

— Что в этом Красноармейске? — спросил Гот.

— Большая деревня, в которой русские держат ускоренные курсы танкистов. Но к этому городишке — видите? — примыкает и Бекетовка — южный район Сталинграда...

И танковая армия Гота развернулась от Абганерово прямо к берегам Волги,, чтобы, минуя озеро Цаца, ударить в подвздошину Сталинграда — со стороны Красноармейска, при этом Гот обходил наши рубежи с востока, и нам ничего не оставалось, как снова отходить к Сталинграду, чтобы избежать окружения, а река Мышкова стала для нас новым и, пожалуй, самым последним оборонительным рубежом... Степь стала здесь черной — вся трава выгорела. Немецкие танки сгорали в прозрачном голубоватом пламени, и бывалые солдаты говорили молодым:

— Вишь, гады какие! Ходят на бензине высокого качества, какого у нас и нету, а сами нефти нашей захотели...

Генерал Чуйков был теперь одет по-солдатски, гимнастерка побелела на солнце; он обходил своих бойцов, все по-людски понимая, и потому, наверное, его понимали тоже:

— Братец, если отступишь, то далеко не утикай, чтобы мне потом не искать тебя. Убегая, не вперед смотри, а оглядывайся, чтобы...

В те жаркие дни на защиту Сталинграда прибыли и разместились в Красноармейске добровольцы-матросы с кораблей Северного флота и Беломорской военной флотилии. Обыватели тишайшего Красноармейска теперь спать не могли — моряки повесили на улице корабельную рынду и каждые полчаса — динь-дон, динь-дон — отбивали на ней «склянки», как положено на кораблях.

— Нельзя ли потише? — говорили им. — Ведь мы каждые полчаса вздрагиваем от звона вашего.

— Нельзя! — отвечали матросы. — Мы только тогда и дрыхнем спокойно, когда звенят склянки, отбивая нам часы вахты.

Верные флотским привычкам, моряки первым делом справились — где тут гальюн и где камбуз: «Нам, — говорили, — без гальюна и камбуза житья нету...» Их переодели в солдатские гимнастерки, выдали им пилотки, но они не расставались с тельняшками, держа «про запас» бескозырки с именами покинутых кораблей. Вот они и попали к генералу Чуйкову, составив бригаду морской пехоты. Воевать же на сухопутье, прямо скажем, они не умели! Зато было много лихости и бравады, в условиях фронта губительной. Брали презрением к смерти, да тельняшками, да свистом, да «полундрой», отчего и погибало моряков гораздо больше, чем солдат...

Привезли они с собою на фронт невесть откуда взятую красавицу-девку с замечательным голосом профессиональной певицы. Взяли ее на свое довольствие. Все любили ее, и никто не смел за нею ухаживать. Долго не понимали, что она при моряках делает. Наконец, стало известно: если кто из моряков умирал от ран, она ему... пела. И как пела! Даже умирать было не страшно. Так — с песней — уходили моряки на тот свет.

Где эта улица, где этот дом,
Где эта барышня, в что я влюблен?
Вот эта улица, вот этот дом,
Вот эта барышня, а что я влюблен...

Голос поющей красавицы был для них прощальным салютом.

17. ВТОРОГО ФРОНТА НЕ БУДЕТ

— Представь себе, — говорил Рузвельт сыну, — что мы, американцы, лишь запасные игроки, сидящие на скамье и наблюдающие за футбольным матчем. Когда наши форварды (русские, китайцы, англичане) выдохнутся, мы со свежими силами ринемся в игру, чтобы забить в ворота Гитлера решающий гол...

Сказано точно! Мало того, нацистская Германия — через франкистскую Испанию — регулярно закупала в Америке хлеб и маис, уголь и кокс, каучук и горючее. Англия была уже до того перегружена войсками и боевой техникой, что шутники даже высказывали опасения — как бы она не затонула от тяжести, а Черчилль говорил своим близким, что второго фронта не будет:

— Подождем, пока германский вермахт не окажется в могиле, а Красная Армия — на операционном столе...

К Сталину и его приспешникам он не питал никаких симпатий, чего и не скрывал в своих мемуарах:

«Мы всегда ненавидели их безнравственный режим, и если бы германский цеп не нанес им удара, они равнодушно наблюдали бы, как нас уничтожают, и с радостью разделили бы с Гитлером нашу империю на Востоке».

Думаю, что Черчилль выпил лишку, когда 14 марта разразился оскорбительной для нас тирадой:

— Русские не являются человеческими существами. В шкале природы они стоят ниже орангутангов, — это его слова!

Уверен, что самый последний русский дурак никогда бы не стал сравнивать англичан с обезьянами. В политике Черчилль следовал древнему завету своих предков — герцогов Мальборо: делая войну, помни, что́ тебе нужно после войны. В транскрипции XX века этот девиз звучал благороднее: «Государство, которое растрачивает свои силы до полного истощения, делает несостоятельной свою собственную политику и ухудшает перспективы на будущее». Черчилль не собирался истощать ни самого себя, ни тем более свою метрополию. Он придерживался стратегии дальнего прицела. А потому все победы или поражения советского оружия воспринимал лишь в той степени, в какой они отражались на его политике.

Десять миллионов человек, одетых в военную форму, хорошо обеспеченных, занимали выжидательную позицию «с ружьем, прислоненным к ноге», а в глазах англичан генерал «Айк», как они называли Эйзенхауэра, выглядел странной фигурой. Пришелец из-за океана, в Англии он уже подчинил себе 336 генералов высшего ранга и даже позволял себе курить в присутствии капризного, как барышня, Монтгомери.

Наш посол И. М. Майский, хорошо изучивший Черчилля, считал, что премьер «был явно влюблен в Египет, в Аравию, в северный берег Африки... здесь было его сердце и его ум, а имена Тобрука или Эль-Аламейна говорили гораздо больше ему, чем имена Гавра или Лилля». Сталин, осведомленный о том, что англичане не собираются открывать второй фронт в Европе, писал Черчиллю: «Боюсь, что этот вопрос начинает принимать несерьезный характер...» Читая это послание, Черчилль был не совсем трезвехонек, а слова Сталина воспринял болезненно:

— Уж не значит ли это, что вы собираетесь оставить Англию в одиночестве? — обратился он к Майскому с явной тревогой...

В ночь на 30 июля Майскому позвонили с просьбой — срочно приехать на Даунинг-стрит, где обычно работал Черчилль. Он принял посла в «костюме сирены», рядом с ним сидел Антони Иден в домашних шлепанцах. Майский вспоминал: «Оба выглядели утомленными, но возбужденными. Премьер был в одном из тех настроений, когда его остроумие начинает искриться добродушной иронией, и тогда он становится очень привлекательным.

— Вот, посмотрите, годится ли это куда-нибудь?..»

Он ознакомил Майского с посланием Сталину, выражая желание встретиться с ним — в Астрахани или на Кавказе. 1 августа Черчилль собирался вылетать в Каир, и в этот же день был получен ответ Сталина, который соглашался на встречу в Москве «для совместного рассмотрения неотложных вопросов войны против Гитлера, угроза со стороны которого в отношении Англии, США и СССР теперь достигла особой силы...» Решительные успехи вермахта на подступах к Волге и Кавказу вызвали в Англии нервозную озабоченность (за сохранность империи):

— На Дону и Кубани русским не удержаться! Но что будет с нашими владениями на Ближнем и Среднем Востоке, если русские не устоят на Волге и на Кавказе?..

В дорогу до Москвы Черчилль брал немалую свиту: начальника генштаба Алана Брука, маршала авиации Теддера, из Индии был вызван генерал Арчибальд Уэйвелл — тот самый, что когда-то сражался с Роммелем в Ливии и который хорошо владел русским языком. В Каире их ждал личный представитель Рузвельта — Авелан Гарриман, обещавший Черчиллю не давать его в обиду, если кремлевский «дядюшка Джо» слишком разъярится. «Дядюшкой Джо» (иногда с прибавлением эпитета «сердитый») союзники называли Сталина. Садясь в самолет, Черчилль сказал, что Сталин не обрадуется отсутствию второго фронта в Европе:

— Мы на пути в Каноссу! Тащить на себе это известие до Москвы — все равно что отвозить на Северный полюс глыбу льда.

Сейчас их политический престиж был, вроде бы, однозначен: за Сталиным крылась мрачная тень поражений под Керчью и Харьковом, сдача Севастополя и неудачи на юге страны, но Черчилль тоже «сидел в замазке» по самые уши — его армия в Сингапуре, не в пример Севастополю, позорно капитулировала перед японцами, как и перед Роммелем в неприступном Тобруке. Так что партнеры по коалиции в военной игре имели как бы равные козыри.

Геббельс, узнав о визите Черчилля в Москву, дал указание прессе не придавать этому визиту никакого значения:

— Информируйте кратко, и этого пока достаточно...

В это время фельдмаршал Роммель жаловался Гитлеру на свою безмерную усталость и — по слухам — собирался подлечиться в условиях горного санатория в Земмеринге, но в Каире еще учитывали его как сильного и талантливого противника. «Африканские качели» еще поскрипывали возле Эль-Аламейна. Роммель не имел сил и горючего, чтобы отодвинуть англичан к Нилу, а Окинлек не испытывал желания отшвырнуть Роммеля в пески Киренаики. Окинлека даже возмущало, если Роммель атаковал его в воскресенье: «Безбожник! Сегодня же нерабочий день...»

. . . .

Черчилль понимал, что Окинлек непригоден для борьбы с Роммелем, как раньше был непригоден и Уэйвелл, но трудно найти нового герцога Веллингтона. 4 августа, подлетая к Каиру, он сказал Бруку, что на Роммеля нужна длинная веревка:

— Если не удалось убить этого бандита, так можно прогнать Окинлека, заменив его... хотя бы этим чудаком «Монти»!

Во время остановки в Каире Черчилль призвал Окинлека к наступлению на Роммеля, но Окинлек воспротивился:

— Раньше сентября ничего не получится. Солдаты еще не акклиматизировались в условиях пустыни. А за Роммеля не стоит волноваться: он уже загибается от инфекционной желтухи...

Черчилль просил его навязывать немцам постоянные стычки — не ради побед, а чтобы заставить Роммеля тратить остатки горючего, надо регулярно бомбить позиции у Эль-Аламейна.

— Все позиции мы уже разбомбили. Что еще бомбить?

— Так бомбите... з е м л ю, — указывал Черчилль.

Черчилль убедился, что в Африке нужен человек, способный поставить капкан на «лисицу пустыни», и все больше склонялся к мысли, что для сокрушения армии Роммеля необходим Монтгомери («Монти»), который таскал в бумажнике портрет Роммеля, считая его талантливым полководцем.

— Под дудку нашего «Монти», — говорил Черчилль, — Роммель станет плясать до тех пор, пока мясо не отвалится от костей.

Черчилль пробыл в Каире до 10 августа; от Нила самолет премьера развернулся на Палестину; после отдыха в Тегеране летели над Каспием, внизу тянулись унылые калмыцкие степи. «В самолете теперь находились два русских офицера, — писал Черчилль, — и Советское правительство взяло на себя ответственность за наш перелет». Пилоты забирали вправо от Волги, дабы не нарваться на германские истребители. Во время полета Черчилль (говоря его же словами) размышлял о своей миссии в судьбе этого угрюмого и зловещего большевистского государства, «которое я когда-то настойчиво стремился удушить при

его зарождении...» Генерал Уэйвелл обратил внимание, что слева по курсу остается Сталинград, где грохочет небывалая битва. Но премьера, кажется, более тревожил Кавказ, за горами которого вермахт мог открыть ворота не только в нефтеносный Иран, но даже... даже в Индию! Уэйвелл проявил поэтический дар, сложив песню, в которой рефреном звучали слова: «Второго фронта не будет», и генералы исполнили ее хором. Подлетая к Москве, Черчилль выразил желание перекусить.

— Еще неизвестно, чем накормит нас добрый «дядюшка Джо»!

Вот и Москва! Отгремели гимны трех союзных стран, почетный караул вскинул винтовки, оружием салютуя высокому гостю. Черчилль — факт известный! — чересчур пристально всматривался в лица наших солдат, застывших в шеренгах; казалось, он сомневался — смогут ли эти ребята в касках выстоять перед страшным напором железного вермахта? Растопырив пальцы, Черчилль изображал букву «V» (виктория), но русские хотели бы разгадать в этом жесте иной смысл — римскую цифру «II» (второй фронт).

В машине Молотова, встречавшего Черчилля, высокий гость обнаружил, что ее боковые стекла имели толщину не менее двух дюймов. «Это превосходит все известные мне рекорды», — большевистские заправилы очень боялись покушений. Сама же Москва выглядела настороженной, даже мрачноватой, а в среде москвичей часто сравнивали героическую оборону Сталинграда с поспешной капитуляцией Тобрука. Молотов отвез гостя на правительственную дачу № 7 (в Кунцево), где «буфеты были заполнены всякими деликатесами и напитками, какие только может предоставить верховная власть... кроме того, было много других блюд и вин из Франции и Германии». Черчилль сказал Молотову:

— Я готов встретиться со Сталиным этим же вечером...

Не так-то легко было свалить «глыбу льда» к ногам союзника. Премьер сначала рассыпал похвалы в адрес Красной Армии, но «дядюшка Джо» не поддержал этой восторженной темы:

— Вы моих солдат не захваливайте! Они слишком много земли отдали врагам. Они только учатся воевать и со временем станут хорошими воинами... Пока же, — сказал Сталин, — наши дела на фронте идут плохо. Иногда я даже не понимаю, откуда Гитлер мог собрать столько войск и техники. Надо полагать, что он выкачал все что мог из Европы. Там, в Европе, он держит свои потрепанные дивизии неполного состава, а хорошие боевые дивизии полного комплекта направляет в Россию...

Далее Сталин сказал, что Красная Армия начала весну с наступательных операций, и это было оправдано — при условии, что союзники помогут ей высадкой во Франции, но союзники второго фронта не открыли, и наступление, не поддержанное с Запада, обернулось для Красной Армии трагическими осложнениями:

— Нам не удается остановить немцев, — признал Сталин...

Ссылаясь на нехватку десантных судов и прочность немецкой обороны в Ла-Манше, премьер сказал, что вопрос о высадке в Нормандии может быть разрешен только в 1943 году, и просил Гарримана подтвердить это. Американец ответил, что его мнение совпадает с мнением премьера. Сталин, помрачнев, упрекнул союзников в нарушении прежних обещаний:

— У нас иначе смотрят на войну. Кто боится рисковать, тот войны и не выиграет, — сказал он. — Для того чтобы обучить войска, их надо сунуть под огонь и как следует обстрелять. А до этого никто вам не скажет, чего они стоят...

Затем он спокойно заметил, что настаивать на высадке не будет. Черчилль, уязвленный этим пренебрежением, стал оправдывать свою политику подготовкой к операции «Торч» («Факел»):

— Высадившись в районах Касабланки и Бизерты, мы получим великолепный плацдарм для нанесения бомбовых ударов по Италии. Параллельный нажим от Марокко и со стороны Египта сразу поставит армию Роммеля в безвыходное положение.

— Да, — ответил Сталин, — я читал ваше послание, в котором вы писали, что прежде всего вам хочется разбить Роммеля... Я не отрицаю стратегических выгод от операции «Торч»: это нанесет удар с тыла по Роммелю, с которым вы давно хотите расправиться, это отразится и на Италии с ее режимом Муссолини, и даже... даже на Испании Франко...

«Очень немногие из живущих людей смогли бы в несколько минут понять соображения, над которыми мы так настойчиво бились на протяжении ряда месяцев», — отметил Черчилль, никаких симпатий к Сталину не питавший.

К вопросу о бомбардировках городов в Германии Сталин тоже отнесся доброжелательно, считая, что они ударят по моральному состоянию немцев. Сталин всегда привык работать с картами, но Черчилль предпочел глобус, вращая который, он доказывал преимущества операции «Торч» перед десантами во Франции. Наконец, он увлекся настолько, что специально для Сталина нарисовал ему страшного крокодила:

— Морда его оскалена во Франции, а всеядное брюхо распростерто в южной Европе. Последующей высадкой в Италии через Африку мы вспарываем ему брюхо. Не все ли Москве равно, отчего крокодил подохнет? То ли от удара по башке, то ли потому, что у него вывалятся наружу все кишки...

В разговоре о поставках военного снаряжения, от которого Сталин никогда не отказывался, он сказал Черчиллю, что сейчас грузовики для Красной Армии важнее танков, которых он сам выпускает с конвейера до двух тысяч в месяц. (Но, по материалам о войне, я, автор, не вижу, чтобы мы тогда обладали достаточным количеством танков — их как раз было очень мало!)

Встреча продолжалась четыре часа. Только в машине Черчилль и Гарриман вздохнули свободнее. Черчилль сказал:

— Кажется, первый раунд остался за нами.

Гарриман охотно с ним согласился:

— Да. Выкидывать полотенце не пришлось.

— Это была, — признал Черчилль, — самая важная конференция из всех конференций, какие я провел за всю мою жизнь.

Он откинулся на спинку сиденья с видом усталого, но довольного человека. В самом деле, все складывалось хорошо. Под конец беседы Сталин вежливо интересовался деталями операции «Торч».

А где-то далеко полыхала земля Сталинграда...

. . . .

На следующий день им пришлось разочароваться. Гарриман в полночь был занят «коктейлем» для гостей, когда Черчилль вызвал его по телефону прямо из Кремля:

— Я уже здесь. Выезжайте немедленно.

— А что еще могло случиться?

— Наше полотенце болтается на канатах...

Сталин вручил им меморандум, в котором разоблачалась криводушная политика союзников. «Легко понять, — говорилось в меморандуме, — что отказ Правительства Великобритании от создания второго фронта в 1942 году в Европе наносит моральный удар всей советской общественности... осложняет положение Красной Армии на фронте и наносит ущерб планам Советского Командования». Сталин дополнил меморандум словами:

— Мы видим, что вы оцениваете русский фронт, как второстепенный, почему и шлете свои дивизии в дальние места, тогда как наше правительство справедливо считает советско-германский фронт пока *единственным* фронтом, где перемалываются в больших размерах главные силы нашего общего противника.

Вернувшись из Кремля, Черчилль держал Гарримана у себя до половины четвертого утра, рассуждая о «загадочном» характере «дядюшки Джо». Снова они вчитывались в меморандум: «Мне и моим коллегам, — писал Сталин, — кажется, что 1942 г. представляет наиболее благоприятные условия для создания второго фронта в Европе, так как почти все силы немецких войск, и притом лучшие силы, отвлечены на Восточный фронт, а в Европе оставлено незначительное количество сил, и притом худших сил».

— Можно доказать и обратное, — ворчал Черчилль...

Не лучше складывались и консультации, что велись военными специалистами. С нашей стороны присутствовали К. Е. Ворошилов, Б. М. Шапошников и Н. Н. Воронов. Вот на них-то Алан Брук и обрушил «ниагару» слов, доказывая, что русские люди «сухопутные», им никогда не понять всего ужаса, когда солдат отрывается от своего берега, чтобы ступить на берег чужой...

— Против двадцати четырех немецких дивизий, — сказал Брук, — мы способны высадить в Нормандии лишь шесть наших дивизий. Но даже эти шесть дивизий мы не сможем обеспечить как надо...

Маршал авиации Теддер развернул обширную программу стратегических бомбардировок Германии и ее сателлитов. Но больше всего англичан интересовало положение на Кавказе.

— Как командующий войсками в Индии, — настаивал Уэйвелл, — я должен знать полную картину возможностей вашего сопротивления... Каковы ваши силы у Моздока? Каковы резервы?

Ворошилов уклонился от этого вопроса, сославшись на отсутствие полномочий касательно этой темы. Но, забравшись на вершины Кавказа, англичане с них уже и не слезали.

(Нам тогда еще не было известно, что Черчилль заранее оформил секретный «план Велвет» о вторжении союзных войск на Кавказ со стороны Ирана, и сейчас его генералы хлопотали, чтобы занять Кавказ раньше, нежели туда придут немцы.)

— Мы с удовольствием, — заверял Брук, — выделим авиационные силы для прикрытия Баку и Батуми с воздуха. Но советская сторона в этом случае обязана предоставить нам свои аэродромы. Наконец, мы согласны нести даже гарнизонную службу в городах вашего Кавказа...

Во время перерыва Шапошников сказал Воронову:

— Не странно ли, голубчик, что возник одновременный интерес к Кавказу: с севера нажимают танки Клейста, а с юга хотели бы забраться туда Уэйвелл с Теддом...

Н. Н. Воронов писал: «Нас возмущало неверие английских генералов в силы нашего народа. Нужно было им доказать, что есть еще у нас порох в пороховницах». Союзников вывезли на подмосковный полигон, где им продемонстрировали работу гвардейских минометов, после залпа которых трава на этом месте не росла. Результаты были потрясающие.

Брук сказал:

— Мы бы тоже хотели иметь такое оружие...

Но в каверзном вопросе «сперва Европа?» или «сперва Африка?» англичане все-таки оставались верны Африке.

— Не о втором фронте они думают, — рассуждал Воронов, — а о третьем. Если же учесть, что Роммель уже держит третий фронт, то Черчилль откровенно добивается открытия фронта четвертого. Конечно, при такой «периферийной» стратегии Гитлер может долго еще отсасывать дивизии из Европы, не опасаясь, что Англия огреет его дубиною прямо по затылку...

15 августа газета «Правда» поместила злую карикатуру на немецкие укрепления вдоль побережья Ла-Манша, сделанные из картона. Намек был понятен всем. Однако ни Сталин, ни советское правительство не хотели обострять отношений с союзниками. Тем более Черчилль желал видеть в печати бодрое коммюнике:

— Чтобы лишний раз побесить Гитлера и Геббельса!

Но Сталин не соглашался с его радужной окраской:

— В коммюнике надо сказать то, что можно исполнить...

Главное было сказано: «Оба правительства полны решимости продолжать эту справедливую войну за свободу со всей их мощью и энергией вплоть до полного разгрома гитлеризма...» По случаю окончания переговоров в Екатерининском зале Кремля был устроен банкет для почетных гостей. Лондонский «костюм сирены» в условиях кремлевского зала выглядел простым комбинезоном танкиста (именно так и поняли его генералы, явившиеся на банкет в форме и при всех регалиях). Черчилль вставил в рот длиннейшую сигару, с удовольствием обозревая убранство стола. Выпив лишнее, премьер стал говорить, что он всегда был врагом русской революции:

— Простили вы это мне или нет? — спрашивал он.

— Господь-бог вас простит,— ответил ему Сталин...

И. М. Майский писал в мемуарах, что этот банкет не мог исправить натянутости в переговорах: «Расставание грозило произойти на ноте острой дисгармонии, если бы в самый последний момент Сталин не вспомнил о любви британского премьера к беседам в частном порядке». Вечером 15 августа Черчилль навестил Сталина в Кремле, чтобы проститься с ним, между ними возникла беседа, Черчилль спрашивал — могут ли немцы захватить бакинские нефтепромыслы, чтобы развить свой успех и далее — в страны Востока?

— Мы их остановим,— отвечал Сталин.— Правда, ходят слухи, будто в Турции собраны двадцать три дивизии для нападения на нас. Но мы и с ними расправимся...

Черчилль сказал, что Турция, пожалуй, останется в стороне от «большой драки», боясь ссориться с Англией. Настала минута прощания, и Сталин в некотором замешательстве предложил:

— А почему бы нам не выпить по рюмочке?

Минуя множество коридоров и комнат, они через площадь Кремля, совсем безлюдного, прошли в квартиру Сталина, где рыжая девица (дочь Светлана), расцеловав отца, стала накрывать стол, а ее папочка с большим усердием открывал бутылки.

— Не позвать ли и Молотова? — предложил он.— Думаю, он тоже от рюмочки не откажется...

За этой «рюмочкой» они и просидели с восьми вечера до глубокой ночи. Провожая гостя, Сталин просил его передать Рузвельту в дар от русского народа икру, балыки и белорыбицу... ну и, конечно же, армянский коньяк. Черчилль передал заокеанскому союзнику только закуску, а все спиртное уничтожил сам, желая похмелиться после сталинской «рюмочки». О переговорах в Москве он известил Рузвельта в таких выражениях: «Теперь им (русским) известно *самое худшее*, и, выразив свой протест (в меморандуме), они теперь настроены совершенно дружелюбно, и это несмотря на то, что сейчас они переживают тревожное и тяжелое время».

...Итак, второго фронта не будет, зато для армии Роммеля готовилась западня под Эль-Аламейном. Английский историк Реджинальд Томпсон писал, что решение Гитлера «во что бы то ни стало взять Сталинград спасло англичан от возможной катастрофы в Северной Африке...»

Дуайт Эйзенхауэр выражался еще откровеннее:

— Сопротивление русских обеспечивает нам свободу выбора места, времени и количества сил для наступления. Но будем честны: влияние наших войск в любом из уголков Африки, будь то в Марокко или в Киренаике, никак не отразится на делах русского фронта, а если такое влияние и скажется, то результат его будет весьма ничтожен...

Может, потому в Англии и недолюбливали генерала «Айка»?

18. ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Черчилль еще только собирался в Каноссу, когда Гитлер предупредил Муссолини, что все разговоры о втором фронте в Европе не стоят и пфеннига: «Считаю второй фронт нелепой затеей,— писал фюрер дуче.— Однако, поскольку решения в «демократических» странах принимаются большинством, а следовательно, диктуются невежеством, необходимо всегда считаться с возможностью того, что безумцы одержат верх и попытаются открыть второй фронт...»

Сталинград был уже недалек, немецкие разведчики иногда выходили к его пригородам и, вернувшись обратно, охотно делились своими миражными впечатлениями:

— Со стороны степи, словно со стороны океана, Сталинград чем-то напоминает Нью-Йорк... на горизонте видны очень высокие здания, не хватает, кажется, только статуи Свободы, возвещающей нас о прибытии в страну демократов!

Начиная с августа 6-ю армию навещали лекторы по национал-социалистскому воспитанию, внушавшие солдатам:

— Если мы проиграем эту войну, в Германию вы уже никогда не вернетесь. Русские загонят вас в Сибирь, где от вас даже могил не останется. Если же кому и повезет, то, вернувшись на родину, он Германии не узнает. Сталин и его союзники, занюханные евреями, превратят нашу страну в конгломерат отдельных княжеств, как это было до Бисмарка, и вместо граждан великой Германии вы все окажетесь бесправными рабами в клетках бывшего Шлезвига, Баварии, Мекленбурга и прочих... Германию раздерут на куски — это уж точно!

Близость цели войны — Сталинграда — воодушевляла солдат Паулюса, их манили мягкие кровати в квартирах города, где, по слухам, было полно фруктов, винограда и рыбы, они мечтали ежедневно купаться в Волге, вспоминая свои недавние «буль-буль» в тех реках, что встречались им на пути и которые для русских служили последними рубежами обороны:

— Не забыть, как я блаженствовал вечерами в реке Дон, но уже забыл, как называется эта станица.

— А я, парни, в паршивой речонке Сал утопил все белье со своими вшами. Вода в этой речушке теплая и противная.

— Хуже всего Аксай — вода в нем мутная и стоячая, как в болоте. Черт побери, скоро ли выберемся к Волге?..

За годы войны многие немцы шаляй-валяй освоили обиходный русский язык и, бывало, орали в сторону наших окопов:

— Эй, Иван, давай перекурим! Скоро буль-буль...

Паулюс устал. Совсем почерневший от солнечного загара, он чувствовал себя неважно. Вечерело. Тихо попискивали степные суслики. В окне штабного «фольксвагена» виделась знойная степь — бурьян да ковыль. Мимо прошли саперы, и каждый нес по две громадные дыни с бахчей соседнего колхоза. Невдалеке валялся убитый вол. «Молниеносная девица» в коротенькой белой юбочке закинула ногу за ногу, чтобы мужчины оценили ее ажурные чулки, облегающие сочные колени.

— Я хочу видеть лейтенанта Штрахвица,— сказал Паулюс, отводя глаза.— Будьте любезны вызвать его по связи.

— Это четырнадцатый танковый корпус Виттерсгейма? Сейчас свяжусь с ним, но батальон Штрахвица на месте ли?..

Артур Шмидт, поигрывая своим чертиком, не сводил вожделенных глаз с пухлых колен девицы.

— Зачем вам эта старина Штрахвиц? — спросил он Паулюса.

— Он тот самый человек, который еще в августе четырнадцатого года выходил со своей кавалерией в предместья Парижа, а теперь Штрахвиц первым в моей армии увидит Волгу...

Наступая, 6-я армия сдавала захваченные территории 8-й итальянской армии, а сама, прикрыв фланги, выдвигалась на новые рубежи, оттесняя русских. Никаких иллюзий относительно боеспособности «макаронников» немцы не испытывали.

— Их можно понять,— говорил Паулюс.— Они тащутся за мною не ради победы, а лишь для того, чтобы их дуче набрал побольше акций для мирной конференции после раздела побежденной России. Сам Итало Гарибольди говорил мне — чем плохо, если Италия получит Крым или порт Батуми?..

От русских мальчишек итальянцы освоили одно русское слово «тикай», вкладывая в него особый смысл. «Тикай!» — это звучало почти паролем для них, вовлеченных в эту бойню, для них ненужную, из которой рано или поздно им предстоит «тикать». Итальянцы равнодушно обеспечивали 6-ю армию на флангах, равнодушно «тикали» по закуткам станиц и хуторов, всегда готовые закончить войну в русском плену...

Паулюс, закурив сигарету, прослушал длинную пулеметную очередь, пущенную кем-то наугад — во тьму быстро густеющей русской ночи, давящей и угнетавшей его безысходно.

— Почти музыкальное стаккато,— сказал он Шмидту,— и судя по разрывам в очереди пулемет итальянский... с перебоями от перекосов ленты. Я устал, Шмидт, и удаляюсь к себе.

Он все чаще уединялся в своем личном автобусе, где был отдельный туалет с душем и зеркалами, а в спальню вела раздвижная дверь, как в купе международных вагонов. Здесь, почти в домашней обстановке, среди гардин и портьер, тихо шелестящих, Паулюс выслушал вечерний доклад квартирмейстера фон Кутновски, который сообщил о пополнении армии из числа резервов, присланных из тылов.

— Безобразно ведут себя те солдаты, что осенью прошлого года были отпущены по домам и теперь вторично мобилизованы. Вояки они хорошие, но с большими амбициями, а медали «за отмороженное мясо» не позволяют наказывать их слишком жестоко...

— Благодарю,— тихо ответил Паулюс.— Меня сейчас волнует даже не усиление моей армии, а ослабление противника. По сводкам абвера, укомплектованность русских дивизий крайне низкая, и в скором времени, смею полагать, опустится до критической цифры... из-за невосполнимых потерь!

Паулюс был прав. Еще со времен Сталина наши историки взахлеб писали о небывалом росте технической «мощи» Красной Армии в этот период, но я что-то нигде этого возрастания не обнаружил. Время залихватского вранья прошло, и теперь не надо скрывать, что иные наши дивизии лучше было называть «батальонами». Еременко ведь лучше историков знал положение на фронте, и писал-то он честно: наши танковые армии только назывались «танковыми», но состояли из стрелковых дивизий. Отсюда и выводы — для тех, кто будет спрашивать: почему мы отступали? Там, где у нас было от силы 2 — 4 танка, у немцев было от 10 до 30 «панцеров»,— сопоставление ужасающее! Если же Паулюс или Гот замечали, что у русских появилось поболее танков, они сразу же вызывали авиацию...

Известны слова Чуйкова об этом времени:

— Если американцы говорят, что «время — деньги», то мы, русские, сейчас говорим иначе: «время — это кровь...»

Пора уж напомнить о чувстве патриотизма, чувстве не всегда философски осмысленном в нашем простом народе, но зато ставшем традиционным, полученном нами с теми природными генами, что передали нам по наследству наши достославные предки, веками не выпускавшие из рук мечей и луков. Россия волею ее самозваных вождей называлась «страной победившего социализма», но летом 1942 года снова поднялась из-за лесов и болот именно мать-Россия, поруганная и обесчещенная сначала нашими златоустами-подлецами, помешанными на путанице ребус-кроссвордов марксизма-ленинизма, а потом униженная

в победами немцев. Никогда мы, русские, еще так не любили свое Отечество...

Примеры? Да сколько угодно! Пожалуйста, вот вам один.

На шинели убитого генерала В. А. Глазкова, которая ныне хранится в музее обороны Сталинграда, вы можете насчитать более 160 пулевых и осколочных пробоин.

Мало вам, что ли? Вот так и воевали...

. . . .

Наверное, попадет мне от критиков за эту фразу: мне кажется, я уяснил, что битва на путях к Сталинграду нами была уже *проиграна*, и теперь мы могли выиграть только битву в самом Сталинграде. Это мое авторское убеждение, и скрывать его не желаю. Впрочем, генерал Еременко, лучше меня знавший обстановку, тоже признавал в своих мемуарах, что в Сталинграде «чувствовалась некоторая растерянность; если откровенно сказать, вполне реальной была и возможность захвата города противником...»

Андрея Ивановича бесило, когда наша печать высокопарно объявляла Сталинград «крепостью», было противно узнавать, что немецкая пропаганда сравнивала Сталинград с неприступным «Верденом», который предстоит штурмовать.

— Да какой там Верден, какая там крепость! — возмущался Еременко. — Дай-то бог в траншеях отсидеться, а коли драка на улицах начнется, так бои в городе — это один из сложнейших видов сражения... Чуянов, конечно, мужик толковый, но тут и с семью пядями в нашем бардаке не разберешься!

Сколько собралось тогда в Сталинграде народу, местных и пришлых, никто не ведал, но кормить людей стало нечем — даже по карточкам не всех отоваривали. Работяги, конечно, догадывались, что фронт уже рядом, люди стали неразговорчивы, их лица поблекли от усталости и недоедания, каждый хранил в сердце тревогу по своим близким, в трамваях судачили:

— Вот едем на завод, а домой-то вечером возвертаться ажно душа замирает — не знаешь, цел ли твой дом?

— Павлуха-то Синяков, слыхали? Вчера от жены клочок ее платья нашел. А домишко — как корова языком слизнула.

— Эвон, у Кумовского, что на СТЗ слесарит, в подвале у кафетерия вся семья погибла... засыпало! Говорил он своей Маруське: не бегай туда, не таскай детишек. Оно и верно: сидела бы дома, может, и живы б остались...

Этим летом завод «Красный Октябрь» был единственным металлургическим заводом на юге страны (других уже не было), а на СТЗ не только ремонтировали танки, вытащенные из грохота боя, еще грозно выскакивали из его обширных цехов новенькие Т-34 и своим ходом сразу спешили на передовую. Город изменился: все школы, техникумы, клубы и общежития давно стали госпиталями, да и тех не хватало, чтобы разместить раненых, днем и ночью поступавших с фронта... Ах, сколько миллионов тонн земли перелопатили наши женщины и подростки! Линия обороны, огибавшая Сталинград, протянулась почти на три тысячи километров, а теперь возникла нужда в новых окопах, снова ездили горожане отрывать траншеи. Попадая под бомбы и под обстрелы, они спасались в ближайших окопах, где держали оборону наши войска.

Вспомнился один случай. Бойцы отстреливались, когда к ним в траншею почти свалилась молодуха с лопатой:

— Ой, братки, не гоните меня. Отсижусь у вас.

Отбив атаку, солдаты потом спрашивали ее — кто такая?

— Сталинградская. Мастер мужского зала.

— Чего, чего, чего?

— Из парикмахерской. Мужиков брила и стригла.

— Так бы и говорила, а то... мастер.

Эта женщина — Н. Я. Юдина — так и осталась с бойцами, стригла их и брила, как в парикмахерской. Нечаянно я подумал: ведь у нас мало кто знает, что множество женщин остались в блиндажах и траншеях, никогда не считая себя военнослужащими, они делали что могли: стирали, варили, штопали гимнастерки, ухаживали за ранеными, мало того — многие и детей от себя не отпускали, а наши бойцы их подкармливали... Смерть? Но сами эти женщины говорили: смерть на всех одна! Вот оно, братство народа с армией,— и не показное, а сердечное, самое чистое и сокровенное. Всегда останется насущен вопрос: где кончаются параграфы воинской присяги и где начинается гражданская совесть? Ох, как многого мы еще не знаем...

Вернемся, читатель, в город, для многих далекий, а для меня, автора, ставший родным. Сталинград уже был переполнен беженцами. Неграмотные люди никак не могли произнести слово «эвакуированные», в их устах они всегда оставались «выковыренными». Местных жителей трудно было «выковырять» из их квартир и халуп — не хотели покидать город, а беженцы из оккупированных краев и рады бы уехать куда глаза глядят, но — только глянь! — что творится на переправах. В ожидании очереди на паромы беженцы ночевали в скверах и под заборами, прямо средь улиц выдаивали бесхозных коз и коров, семейно устраивались под перевернутыми лодками на речном берегу.

Я забыл рассказать раньше одну географическую деталь, которая потом — во время битвы в Сталинграде — будет иметь большое значение. Вдоль всей набережной Волга раскинула цепь островов — Сарпинский, Голодный, Зайцевский, Лесной, Крит, Денежный, — напротив города разместился целый архипелаг, венчанный разливом древней Ахтубы, на которой когда-то в незапамятные времена шумела буйная столица Золотой Орды. До войны на этих островах зажиточно проживали хуторяне, скотоводы и огородники, там росло все — от горчицы до винограда, все хутора утопали в садах, пронизанных знойным гудением медвяных пчел-тружениц. А теперь на островах все изменилось: под каждым кустом жили беженцы, инвалиды, бездомные и дети-сироты, и число их каждый день увеличивалось. На острова перебирались из города сами: одни на самодельных плотах, а другие даже... вплавь!

Еременко стучал карандашом по карте города:

— Вот, — говорил он Чуянову, — случись драка в городе, и нам эти острова придется беречь, как зеницу ока... Слышал вчера взрывы? Сначала немцы взорвали нашу баржу с боеприпасами, а потом рванули громадный склад боеприпасов в Сарепте.

У секретаря обкома свои беды: полмиллиона голов скота застряли на переправе, некормленые и непоеные:

— А на подходе еще семьсот тысяч голов... Узнал и такое. Немцы-то в нашей и Ростовской областях колхозы не распустили. Там, где уже разобрали колхозное ямущество по дворам, немцы потребовали вернуть обратно. В составе тех же бригад, что были в колхозах, гонят на уборку урожая. Кто отвиливает от работы, тех расстреливают.

— Нас пока бьют... танками, — отвечал Еременко. — Делай что хочешь, но добейся, чтобы на СТЗ работяги гнали для фронта как можно больше тридцатьчетверок.

Чуянов спросил его:

— Как мост?

— Саперы стараются. У них сроки: к двадцать пятому августа обещали мост навести...

В обкоме к Чуянову пришли партийные работники, страдавшие за свои семьи, жившие под бомбами, среди пожаров.

— Долго ли нам еще мучать свои семьи?

Если кое-кто из обкома уже вывез свои семьи, то большинство семей еще сидело на чемоданах.

— Ладно, — сказал Чуянов. — Положение паршивое. Сам понимаю. Так что можете детей и жен вывозить.

Дома жена добавила, что дети не виноваты в том, что их папочка — твердолобый партиец и секретарь обкома.

— Ты посмотри на Валеру! — говорила жена, плача. — Ведь от этих бомбежек ребенок уже заикаться стал.

— Не шуми. Всех вывезем. А я останусь.

Заартачился дедушка — Ефим Иванович.

— А ну вас всех к лешему! — говорил он. — Мне и здесь хорошо. Никуда я с места не тронусь... пущай убивают, коли у нас такая гавенная армия, что стариков защитить не может.

Ох и намучается же еще Чуянов с этим упрямым дедом!..

Вспомним! Давно ли товарищ Сталин «своею собственной рукой» разделил оборону Сталинграда на два фронта, разрезая сам город, словно торт, на два куска, — это вот тебе, товарищ Еременко, а это тебе, товарищ Гордов. Именно тогда из этого «торта» и получилась «каша»: части Сталинградского фронта Гордова сражались в полосе фронта Юго-Восточного, которым командовал Еременко, а войска Еременко, отступая, невольно перемешивались с войсками Гордова, тоже отступающими, и по этой причине я недалек от истины, употребив слово «каша»...

Наконец наверху осознали, что подобная галиматья сталинского мышления (как всегда «гениального») не только вносит неразбериху в войне и порождает конфликты между Гордовым и Еременко, но она способна самым роковым образом сказаться и на судьбе самого Сталинграда. 13 августа Москва продиктовала Еременко волю Верховного Главнокомандующего, который, наверное, и сам признал собственную глупость:

— Товарищ Сталин, — доложил Василевский, — считает более целесообразным сосредоточить вопросы обороны Сталинграда в одних руках, объединив усилия двух фронтов воедино. Вы остаетесь командующим, а генерал-лейтенант Гордов станет вашим заместителем... Каковы ваши соображения?

Сохранился документальный ответ Андрея Ивановича:

— Мудрее товарища Сталина не скажешь...

Нет, читатель, он не был подхалимом, но таково было его убеждение в гениальности вождя. Впрочем, не спешите радоваться: пройдет несколько дней, и Сталин начнет новую рокировку фронтов, снова станет переставлять людей с места на место, словно играя в шашки. Я бы с удовольствием продолжил развивать эту тему, но тут вторгается одно событие, о котором, мне кажется, пришло время сказать, забежав немного вперед.

...К тому времени наши войска были уже «выдавлены» из большой излучины Дона, и немцы, подсчитывая километры до Волги, маршировали в пыли, радостно возбужденные:

— Волга станет для нас германскою Миссисипи!

. . . .

Как бы продолжая прерванный диалог с русскими, начатый в Москве, Черчилль решил доказать Сталину, что открытие второго фронта в Европе действительно невозможно. Последовало распоряжение премьера, чтобы диверсионный налет на французский Дьепп был совершен во что бы то ни стало.

Лондон передал в эфир, что высадка в Дьеппе 19 августа будет иметь лишь частный характер. Оповещая об этом своих агентов во Франции, англичане невольно предупредили и немцев: радиоперехватчики генерала Фельгиббеля получили точную информацию. Гитлеровцы заранее усилили гарнизон Дьеппа, расставили на берегу батареи, подтянули танки. Геббельс велел установить в городе скрытые кинокамеры, дабы получить кадры для своей пропагандистской кинохроники.

— Будет захватывающий материал, — радовался он...

На рассвете, когда десантные корабли подходили к берегам Нормандии, в их строй врезалась флотилия германских тральщиков. Немцы устроили такой фейерверк, что в Дьеппе сразу объявили тревогу. В составе десанта была лишь тысяча англичан и полсотни американцев — главную силу отряда составляли канадцы под флагом адмирала Моунтбеттена.

После войны Моунтбеттен признался, что корабли тащились через Ла-Манш на поводу «политических причин», когда было уже ясно, что идея второго фронта в Европе похоронена Черчиллем без оркестров.

Канадцы с отчаянной храбростью покидали палубы кораблей. Вломившись в бульвары города, они 9 часов подряд выдерживали атаки. Но 28 танков были затоплены немцами еще в воде, другие застряли на пляжах — в оползающих осыпях гальки. Улицы, берег и причалы покрылись трупами в серых куртках. Моунтбеттен велел возвращаться на суда. Кто успел прорваться к берегу, того немцы добивали в воде. Кто успел доплыть до корабельного трапа, того добивали на корабельных палубах. Кинохроникеры Геббельса трудились в поте лица... В три часа дня все было кончено! Немцы потеряли лишь 200—300 солдат, зато им в плен сдались 2700 человек. Волны прибоя еще долго выкатывали к Дьеппу разбухшие трупы канадцев, а уцелевшие могли о многом задуматься в бараках концлагеря «Офлаг-VII»...

Среди политиков Уайтхолла появились Кассандры:

— Дьепп доказал неприступность немецкой обороны в Европе! Мы не можем допустить, чтобы Ла-Манш покраснел от английской крови, а побережье Нормандии обрело волноломы из трупов...

Черчилль, таким образом, нашел необходимый для него аргумент, чтобы на примере Дьеппа доказывать Москве невозможность открытия второго фронта в Европе. Но его уловки сразу распознал Гитлер, который из Винницы выпустил торжествующую реляцию: «В ходе этой попытки вторжения, предпринятой *вопреки* всем положениям военной науки и которая преследовала *только политические цели*, враг потерпел сокрушительное поражение».

Ганс Фриче разъяснял бестолковым по радио:

— Черчилль решил поиграть на нервах Сталина...

После визита Черчилля в Москву и после разгрома десантов в Дьеппе на позиции наших бойцов под Сталинградом в эти дни хлынул шуршащий и шелестящий ливень вражеских листовок: «Наши союзники всегда с нами, — написано было в них. — А где же ваши союзники? Теперь вы убедились, что вас обманывают не только ваши жидовские комиссары, вы обмануты и плутократами Англии и Америки...»

Американцы тоже были недовольны поведением англичан, союзники сходились трудно. Эйзенхауэру приходилось умерять гнев своих американских офицеров их высылкой в... Америку.

— Я согласен с вами, — не раз говорил «Айк», — что английские генералы большие сволочи. Но я наказываю вас не за то, что вы назвали их сволочью, а за то, что вы называете их *английской* сволочью... с эпитетами следует быть осторожнее!

Американцы, под стать Эйзенхауэру, к русской армии и русскому флоту относились хорошо. Я это испытал на себе, ибо во время войны на Севере мне не раз приходилось плавать и жить бок о бок с янки, очень похожими на нас, и с англичанами, очень далекими от нас, — сравнение этих союзников было в пользу американцев.

19. КАНУН

Тихо скрипка играет,
А я молча танцую с тобой..

Губы Паулюса беззвучно двигались, а его лицо временами искажалось от нервного тика. Кутченбах поманил Адама:

— Нужно поговорить, — сказал барон в чине зондерфюрера СС.—

Мне давно не нравится вызывающее и бестактное поведение Артура Шмидта, который держится слишком независимо от мнения командующего... моего тестя. Шмидт с его чертиком — это, пожалуй, Мефистофель при нашем Фаусте, а сам Фауст, как видите, сильно сдал за последнее время. Я, живущий при нем, лучше всех в армии извещен, как его угнетают бестактные выходки начальника штаба.

— И вы... — начал было Вильгельм Адам.

— И я, — подхватил барон Кутченбах, — просто боюсь, что назойливый диктат Шмидта, усиленный его партийным стажем, заведет нашу армию в такие дебри, из которых нам будет не выбраться. Вы только гляньте на левый фланг — почти четыреста миль отданы итальянцам Гарибольди, а этот римский франт вряд ли сумеет уберечь наши фланговые рубежи. Мы слишком далеко забрались в берлогу русского медведя...

— Короче, барон.

— Короче, я лишь переводчик при штабе армии, — пояснил Кутченбах, — и не могу вмешаться, чтобы там, в Виннице, поскорее убрали Шмидта, иначе...

Это «иначе» таило очень много. Адам сказал, что постарается нажать потаенные педали, дабы избавить армию от Шмидта, который беззастенчиво помыкает генералами и даже Паулюсом.

— Но это я могу сделать не раньше того времени, когда мы возьмем Сталинград, — признался Адам.

— Боюсь, что тогда будет поздно, — отвечал барон. — Только бы о нашей беседе не пронюхал сам Шмидт, который свернет нам шею, чтобы мы смотрели назад — на счастливое прошлое.

— Не проговоритесь сами.

— Нет! В своих опасениях я доверился только генералу Курту фон Зейдлицу, который уже хотел дать Шмидту по морде...

Паулюс застал Шмидта в штабном «фольксвагене», он перебирал громадные листы аэрофотосъемки кварталов Сталинграда.

— Только идиоты, — сказал он, — могли растянуть свой город чуть ли не в сотню миль, и теперь не знаешь, где хвост, где голова... куда лучше ударить?

Паулюс сказал, что, очевидно, штурм Сталинграда предстоит вести с двух прежних направлений (он очень надеялся на танки Гота со стороны Сарепты и Бекетовки), а генералам 6-й армии придется вручить отдельные районы Сталинграда.

— Отдельные? Мы растянем свою армию, как презерватив.

— Она, — отвечал Паулюс, — и без того растянута...

Он запросил тыловые службы (вроде наших военкоматов) в Касселе, Ганновере, Вене и Висбадене, откуда шел активный набор для 6-й армии, чтобы выкачали все резервы для пополнения его армии. Но из городов призыва отвечали, что способны прислать только тех солдат, что завалялись в местных госпиталях. Паулюс, обозленный, созвонился со ставкой фюрера под Винницей, разговаривал с Мюллером-Гиллебрандом, начальником организационного отдела (по-нашему — это был бы отдел кадров), которому и кричал:

— У меня в батальонах осталось по сорок человек.

— Мы выгребли все резервы, — отвечали из «Вервольфа».

— Когда же я могу рассчитывать на пополнение?

— Не раньше, чем в январе сорок третьего года...

Паулюс в бешенстве так шмякнул трубкою зеленого телефона, что, казалось, он хотел раздавить поганую штабную «лягушку».

— Вот так! — сказал он, от волнения его лицо задергалось. — Стало быть, я вынужден брать Сталинград измотанными дивизиями. Между тем бои под Калачом уже доказали всем нам, что русские не желают уступать позиций без боя. А я, господа, и в этом никто из вас не сомневается, не имею такой дурной привычки, чтобы недооценивать сопротивление противника... Боюсь, что мой туго натянутый лук скоро переломится. У меня кончились сигареты, — без паузы продолжил он. — Кто угостит меня?

Из-за плеча Паулюса протянулась рука Шмидта, который потряс пачкою очень дорогих «Равенклу», а вслед за тем возле лица Паулюса, искаженного нервным тиком, выпрыгнул шустрый «чертик» из зажигалки того же Шмидта.

— Я понял ваш намек, — пробурчал Шмидт. — Вы хотели сказать, что это я имею свойство недооценивать противника. Но я практик, и когда вижу длинный хлебный батон, я не задумываюсь, с какого конца его пожирать: я беру нож и разрезаю батон на несколько кусков.

— Благодарю, — отвечал Паулюс, прикуривая от зажигалки начальника своего штаба. — Из вас дерьмовый тактик. Но, однако, в одном вы правы: Сталинград будем резать на куски, чтобы проглатывать его... кусками. Еще раз — благодарю!

— Что прикажете? — вмешался услужливый Адам.

— Созвонитесь с генералом Итало Гарибольди, чтобы его «макаронники» не прозевали русских на левом фланге моей армии. Прошу меня хотя бы час-два не беспокоить — я сажусь писать приказ... Приказ о наступлении на Сталинград!

Он затворился в своем личном автобусе, пропитанном благоуханием цветочных одеколонов, продутом сквозняками спасительных ветрогонов, и ему не мешало пение пьяных солдат, вторично мобилизованных в армию. Они пели:

Труба играла нам отбой,
а я опять, опять с тобой,
Ляли Марлен,
Лили Марлен...

Всего, что написано о последних днях августа, не пересказать, а посему я постараюсь быть краток. Приказ Паулюса о наступлении был зачитан в 6-й армии 19 августа — как раз в тот самый день, когда немцы добивали союзников в Дьеппе...

. . . .

— Нюра, — позвал Еременко, — ты скоро закончишь?

Девушка в солдатской гимнастерке выстукивала на клавишах аппарата Бодо очередное сообщение для Москвы.

— Сейчас. А что?

— Работай скорее. Тут у меня новое сообщение — немцы группируют свои силы возле Вертячего... спеши, Нюра!

Наши войска, выдавливаемые из большой излучины Дона, отступали, и часто бывало даже так, что в ротах и батальонах людей становилось больше, нежели было раньше, — за счет тех, что отстали, что отбились от своих частей, а теперь просто «примазались», и это нечаянное пополнение даже радовало наших командиров. Только не думайте, что положение в 6-й армии Паулюса было лучше. «В этой безотрадной степи мы все передохнем», — вот какие слова все чаще и чаще слышались от немецких солдат, и «я, — писал Вильгельм Адам, — постоянно встречал отставших солдат, которые после тяжелых боев разыскивали свои части». Вытесняя наши войска из большой излучины Дона, Паулюс был теперь озабочен, как форсировать Дон, чтобы выйти на ближайшие подступы к Сталинграду...

Андрей Иванович Еременко если и не все знал, то о многом догадывался, а если он и понимал что-либо неправильно, то, на мой взгляд, и другой на его месте понимал бы ничуть не лучше его. Было ясно, что немцы будут давить на город с двух концов — северного и южного, а может, ударят всей массой по центру, чтобы разрезать Сталинград на две части, и этим центром станет овраг Царицы, где и сидит он сейчас в душной штольне, а в голове гудит от стукотни аппарата Бодо.

— Не вижу иного выхода, — сказал он Хрущеву, — кроме одного. Главные усилия надо бросить против армии Паулюса, а с юга, где на-

жимает танковый Гот, ограничиться обороной, но очень жесткой, чтобы муха не пролетела...

(В капитальной монографии «Великая победа на Волге», которая увидела свет под редакцией К. К. Рокоссовского, сказано: «Такое решение в целом могло отвечать только требованиям Ставки ВГК, но в сложившейся обстановке оно было невыполнимым, заранее обреченным на неудачу. И в этом заключается *грубая ошибка*, допущенная генерал-полковником А. И. Еременко». Хоть убейте меня, а я никак не могу понять, в чем же суть этой ошибки Еременко? Или ему следовало лишь обороняться от Паулюса, а наступать на Гота? Или, может, равномерно разделить свои силы, и без того слабые? Критику в адрес генерала Еременко я понял так: на него нажали из Ставки, чтобы делал, как велят, вот он и делал. А тогда, простите, не Еременко допустил «грубую ошибку», а кое-кто из тех, что протирал штаны кабинетных кресел... Ладно. Поедем дальше!)

Сталин город своего имени вниманием не оставлял, хотя — ради сбережения своего «престола» — продолжал упрямо удерживать возле Москвы главные стратегические резервы, которые именно сейчас так были необходимы под Сталинградом. Верховный, не ко сну будь он помянут, постоянно слал и слал в Сталинград своих поверенных и доверенных — представителей Ставки, ревизоров ото всех родов войск, различных наркомов и их замов, в Сталинграде околачивался в роли соглядатая и доносчика Г. М. Маленков, постоянно и беспробудно пьяный, так что на ногах не держался, но зато окруженный могучим кольцом личной охраны. Вся эта «собачья свора» (по выражению Н. С. Хрущева) пользы для фронта на грош не принесла, но хлопот всем доставила выше макушки. В довершение всего сталинские визитеры так загадили туалет на командном пункте, размещенном в штольне, что стало не продохнуть.

— Вот, варяги проклятые! — матерился Никита Сергеевич, слов не выбиравший. — Понаехали тут, всё обо...ли и смотались ордена получать, а нам с Еременко... хоть нос зажимай. Тоже мне начальнички — в дырку попасть не могут! И этот Маленков еще тут... наблевал всюду, зараза худая.

Никита Сергеевич вовремя предупредил командующего, чтобы он лишнего при Маленкове не сболтнул, но Андрей Иванович побаивался своего заместителя Филиппа Ивановича Голикова, который уже сдал Воронеж немцам, а ранее, еще в довоенные годы, будучи начальником разведки Генштаба, каждый день в р а л Сталину, что войны не будет, чем и угодил вождю. Теперь он, от роду пугливый, боялся разворота событий, угрожающих покончить не только со Сталинградом, но и с его житухой, столь приятной для бывшего сталинского фаворита. Вот Гордов, второй заместитель Еременко, тот смирил гордыню и куда бы его ни послали, ничего не боялся, ехал и командовал, воюя как умел (и воевал на фронте, пока его не ранили). Но зато Филиппа Ивановича на фронт и калачом было не заманить. Уж столько он пил с Маленковым, чтобы угодить ему, но тот — рожа пьяная! — так и уехал в Москву, не догадавшись взять с собой Филиппа Ивановича... Трусливый человек, Голиков проводил дни в доме отдыха «Горная поляна», присматривал за переправами, а если кто драпал, он выезжал наблюдать за тем, как они драпают. Один наш генерал после отступления, вспомнив о сталинском приказе № 227, застрелился, а предсмертную записку закончил словами: *«Остаюсь верен делу Ленина!»*. Филипп Иванович завел д е л о:

— Почему это он верен делу Ленина, если у нас сейчас не Ленин, а верным надо быть делу великого и мудрого Сталина?!

Еременко кряхтел — от боли в ране и переживаний:

— Может, отпустить его ко всем псам, чтобы не вонял тут?

— Куда? — спросил Хрущев. — Такого отпусти, так он тебе завтра же будет в кабинете Хозяина и навоняет еще больше. Да так накапает на нас обоих, что вовек не отмоемся. Такое на нас напортачит, по-

том не отбрыкаешься... Ведь он сдал немцам Воронеж, а теперь отпусти его — сразу бочку на нас покатит.

После очередной бомбежки Голиков совсем обезумел от страха, убивался, плакал перед Хрущевым, говорил:

— Можно, я на другой берег Волги отъеду? Ведь дураком надо быть, чтобы не понять — завтра нас живьем немец сожрет. А я бы для вас новый командный пункт приготовил... на другом берегу. И фанеры бы достал, чтобы стенки обить.

— Филипп Иваныч, да очумел ты, что ли?.. За Волгой земли для нас нет и не будет. С нас же голову снимут, если Сталинград оставим. Ты соображаешь сам-то, о чем говоришь...

(«Ни шагу назад!» — гласил сталинский приказ № 227, и, согласно этому приказу, расстреливали отступивших командиров, тысячами гнали рядовых на верную гибель — в штрафбаты, а вот Филипп Иванович после очередной бомбежки драпанул в Москву и там, как и предвидел Хрущев, стал доносы писать на всех, что в Сталинграде остались, и Сталин Голикову поверил, а честным людям потом еще пришлось оправдываться, — вот такие генералы тоже были в нашей армии... Забудем о них!).

. . . .

. . . .

. . . .

Валентин Саввич написал эту фразу и поставил точку. Было раннее утро. Часы показывали 4.30.

Накануне вечером он был на подъеме. Воодушевленно, с восторгом делился ближайшими планами:

— Все здорово... Осталось написать о Дьеппе, о Черчилле, в заключение — о 23 августа... И... всё! Вот только хочу посоветоваться — может, сделать паузу? Не терпится написать «Когда короли были молоды»...

И Валентин Саввич почти на одном дыхании рассказал мне свой новый роман о любимом им времени. И передо мной ожили Елизавета Петровна, Фридрих Великий, молодой Ломоносов.

— Хотя и «Сталинград» в целом готов, — продолжал он, — есть все материалы ко второму тому, я уже знаю, когда и что говорил любой из героев. Вот «почасовик» (так Валентин Саввич называл составленный им рабочий хронологический план — календарь событий).

В этот вечер я еще раз убедилась — «Начинать лучше с конца» — это не дань моде, не просто оригинальный прием, не поза, это — позиция писателя-гражданина, начинающего писать произведение, только отчетливо представляя его до самого конца.

Как редки и коротки были эти незабываемые вечера! Я работала днем, он — ночью. О каждом прожитом «дне» (для нас — ночи) он сообщал утренней запиской. Тысячи записок; в них — судьба и жизнь, в них — муки творчества и радость побед, в них — биографии автора и героев его произведений.

Последнюю привожу дословно:

«04 ч. 35 мин. Закончил главу. Вылез на 223 стр. Еще 19-я глава (проходная) и ДВЕ главы целиком о 23 августа.

После чего — «от автора», и все!

Чувствую себя хорошо.

Настроение бодрое.

5.10 — лягу.

6.10 — встал».

Как говорится, комментарии излишни

В этот день сердце Валентина Саввича остановилось.

На столе остались десятки книг о Сталинграде с многочисленными закладками и пометками и несколько рукописных листков — материалы к главам о 23 августа.

Как они должны были быть скомпанованы и обработаны гением автора? Этого не может теперь сказать никто.

Прилагаю их в той последовательности, как они лежали возле пишущей машинки.

Антонина ПИКУЛЬ

Накануне 23 августа:
Переправа. Заслон зениток.
Паулюс:
— Мне ваше лицо знакомо, — сказал Паулюс, — но я никак не могу вспомнить, где я вас, капитан, видел.
— Борис Нейдгардт, — назвался капитан. — Я имел честь лететь с вами в одном самолете на фронт, когда после Рейхенау вы приняли шестую армию.
— А, вспомнил! Вы, кажется, племянник... чей?
— Премьера Столыпина... и сын одесского градоначальника...

. . . .

23 августа 1942 года:
Что же происходило в Сталинграде в этот день?
Тихое солнечное утро, воскресенье. Около 15 тысяч сталинградцев работали на строительстве оборонительных рубежей в городе.
В этот день было совершено более 2000 самолето-вылетов противника. Город превратился в огромный костер. За всю войну воздушные налеты такой силы не повторялись ни разу...

. . . .

На улице Пушкина произошло прямое попадание бомбы в родильный дом. Дом обрушился, раздавив и рожениц и младенцев...
Отряды добровольцев искали под обломками камней, вытаскивая тех, кто остался жив...
Спасали матерей без новорожденных, которые никогда не будут знать вкус материнского молока...

. . . .

Горел госпиталь. Раненые в обмотках и гипсе добирались с трудом до раскрытых окон и бросались вниз, чтобы не умирать в пламени...

. . . .

Многоэтажные дома рушились, и жильцы их, спасавшиеся в подвалах, так и оставались там навсегда, погребенные заживо под руинами своего же дома.

. . . .

По улицам, охваченным пламенем, двигались толпы людей — к Волге, к переправам, катили тележки со скарбом, несли на руках больных и детей...

. . . .

Бомбежка! В основном удар пришелся по центру города и его северным окраинам. Город пылал, как костер. Ко времени налета у волжской пристани скопилась громадная толпа беженцев. Немецкие летчики пикировали и с бреющего полета расстреливали женщин и детей. Толпы людей метались по берегу, многие из них бросались в воду...
Но тут произошло страшное... Из разбитых резервуаров хлынула горящая нефть и сгорала вместе с людьми. Вой, треск, грохот, крик, кромешный ад...

. . . .

Вот что рассказывал о 23 августа мальчик по имени Володя, который не знал своей фамилии и поэтому получил фамилию — БЕСФАМИЛЬНЫЙ:
«У меня никого нет, только одна сестренка Рая. Наш дом сгорел. Мы сидели в щели, и Рая плакала — она ужасная плакса. Мама дала ей подшлепника. Рая еще больше заплакала. Я сказал ей:
— Рая, ты не плачь, мы найдем с тобой другую пещерку и будем жить без мамы.
Мама рассердилась... Папа пришел с завода с ружьем и сказал, чтобы мы никуда из щели не уходили и слушались маму. На заводе был бой. Папа нас защищал от немцев. Все уходили на другой берег Волги, а мы всё ждали своего папу. Я плакал, что папа так долго не идет. Папа не пришел. Его убили немцы. Мама тоже плакала и говорила:
— Теперь мы остались одни...

Рая — маленькая, она ничего не понимала, просила есть. Мама ходила на Волгу. Там затонула баржа с пшеницей. Мама приносила нам пшеницу. Мы ее ели. Она была мокрая. Один раз мама пошла и не вернулась. Была сильная бомбежка. На нашем дворе красноармейцы рыли окопы. Они увидели, что мама упала, побежали в овраг и принесли ее. Мама лежала мертвая. По ней пшеница рассыпалась. Было очень страшно. Красноармейцы похоронили маму на дворе и сказали, что отправят нас за Волгу. Мы сидели с Раей в щели и плакали. Красноармейцы принесли нам хлеба и сахара. Они сказали:
— Сидите тихонько, по улице ходит слон.
Я спрашиваю:
— Какой слон?
Они говорят:
— Настоящий слон из зоопарка. У него тоже дом сгорел.
Ночью не стреляли. Я захотел посмотреть слона и сказал Рае:
— Давай потихоньку пойдем и посмотрим.
Она сказала:
— Давай!
Рая никогда не видела слона. Я взял ее за руку, и мы пошли. На улице никого не было. Рая спрашивает:
— А где же слон?
Я увидел пожар, и мы пошли туда искать слона. Рая не могла идти. Она еще маленькая. Она спотыкается. Я взял ее на руки. Немного прошел и упал вместе с ней в яму, расшиб себе нос. Рая тоже расшиблась, стала плакать:
— Я хочу к маме.
Я сказал Рае:
— Ты посиди в яме, а я схожу только посмотрю слона и вернусь к тебе.
Горел дом. Я пошел туда. Там слона не было. Я заглянул на другую улицу. Там горело много домов. Мне захотелось посмотреть. Я пошел, но вспомнил, что Рая ждет меня, и побежал назад. Я бежал быстро и упал, расшиб коленку. Было очень больно, но я не заплакал. Мне было жалко Раю. Она осталась одна. Я не мог ее найти. Я побежал не в ту сторону и заблудился. На углу стояла пушка. Возле нее были красноармейцы. Один побежал за мной. Взял на руки и спросил:
— Куда ты, мальчик, бежишь?
Я сказал, что потерял сестренку Раю. Он меня спросил:
— А где твоя мама?
Тут я вспомнил, что маму убила бомба, и заплакал.
Я сказал красноармейцу:
— У меня только одна сестренка Рая.
Он меня спросил:
— Как тебя звать?
Я сказал, что меня зовут Владимир Иванович.
Он меня отнес в подвал к другим красноармейцам.
— Вот, — говорит, — Владимир Иванович потерял сестренку.
Они спрашивают:
— Как же ты потерял?
Я говорю:
— Пошел искать слона и потерял.
Они сказали, что слон ушел к Волге, а Рая найдется.
Я не спал, все думал, что мне хорошо, я поел, а Рая сидит в ямке голодная. Сахар я не ел. Я оставил его Рае.
Утром красноармейцы стреляли из пушки. Я вылез потихоньку из подвала и смотрел, как они стреляют. Они меня прогнали, а я все-таки опять вылез.
Ночью пришла одна тетя и сказала:
— Ну, Владимир Иванович, пойдем со мной.
Я пошел с ней. Поднялась сильная стрельба. Мы долго лежали, потом поползли. Тетя велела мне забраться ей на спину. Мы приползли к Волге. Там было много детей. Я слышу — кто-то плачет. Думаю: наверное, это Рая. Так и есть — Рая.
Она мне говорит:
— А я видела большущего слона.
Другие дети говорят:

— Мы тоже видели.
Мне не жалко, что я не видел слона, зато я нашел Раю.
Никогда больше я не оставлю ее одну».

. . . .

22—23 августа 1942 года враг проявлял особый нажим на Сталинград, поскольку фюреру было обещано, что к 25 августа Сталинград будет взят...

Гот! Ему не удалось продвинуться вдоль полотна железной дороги (от Абганерово), и он переместил свою армию ближе к Волге, нанося удар с юга от Сталинграда через городок Красноармейск.

В полдень 22 августа Гот нанес мощный удар западнее станции Тингута, сжигая на своем пути все подряд для устрашения русских...

23 августа с утра Гот снова перешел в наступление. Наша артиллерия была не в силах остановить эту армаду, идущую колонна за колонной, и тогда вместо танков были выставлены «катюши». К большому сожалению, их снаряды были бессильны пробить броню, но зато они крошили гусеницы танков...

Гитлер требовал от Гота все новых и новых побед, и Герман Гот тоже желал быть первым, кто войдет в Сталинград, чтобы опередить и отнять лавры у Паулюса...

. . . .

Еременко рассчитывал, что первым ударит Гот с юга, и был удивлен, что так быстро продвинулся Виттерсгейм с севера.

22 августа на левом берегу Дона враг создал плацдарм протяженностью до 45 километров, где и накапливал силы.

23 августа около 5 часов утра с этого плацдарма, сметая все подряд на своем пути, ударная группировка врага прорвала нашу оборону, нанеся сильный удар с севера в стык 4-й танковой армии (танков не имевшей!) и 62-й армии, и вышла к Волге в районе Рынка и Латошанки.

Виттерсгейм рассек фронт надвое, железным клином вонзившись в нашу оборону, а острие этого клина торчало у самого берега Волги...

В результате этого прорыва образовался коридор в 60 километров длиной и около 8 километров шириной...

. . . .

Начиная наступление, Паулюс рассчитывал на дерзость Виттерсгейма, а тот, в свою очередь, уповал на опыт пожилого лейтенанта Штрахвица:

— Не вы ли, Штрахвиц, были тем человеком, который еще в 1914 году со своей кавалерией вышел к Парижу?

— Так точно!

— Теперь, — сказал Виттерсгейм, — вам предстоит нечто большее! Если мой корпус — всего лишь рука, протянутая к Волге, то ваша рота станет пальцем этой руки, которая зачерпнет бутылку волжской воды — в подарок для нашего фюрера, изнывающего от жажды...

— Яволь! Браво, — отвечал пожилой Штрахвиц, еще при кайзере видевший крыши Парижа, а теперь... да, он был тем единственным, кому было суждено прорваться к берегу Волги, чтобы оттуда бежать обратно, как в молодости бегал прочь от Парижа...

Когда Паулюс получил известие от Виттерсгейма, что его танки прорвались к Волге, ему хотелось заплакать.

— Наконец-то! — сказал он. — Мои бессонные ночи, проведенные в кабинетах Цоссена, когда я составлял план «Барбаросса», — все мои усилия ума и нервов наконец-то нашли решение. С большим опозданием, почти на год, но все-таки «Барбаросса» с мечом в руках пришел на Волгу, чтобы победить... и решить войну.

— Может, выпьем по рюмке ликера? — предложил Адам, заметив волнение командующего.

— Коньяк, — ответил Паулюс. — Или лучше русской водки... Сейчас мне нужен глоток русской водки.

Отто Ренольди, присутствующий при разговоре, сказал:

— Завтра же я посажу вас на особый режим питания... Мне не нравится ваша нервозность.

— Я хочу глоток русской водки, — повторил Паулюс, раздумывая о своем: «Бог простит меня, если я скажу, что мои фланги снова не обеспечены прикрытием. Сколько же это может продолжаться?..»

. . . .

Подошел танк, откинулся люк, из него вылез Виттерсгейм в черном коротком кителе, обшитом серебром; он поправил на голове пилотку и решительно спрыгнул на землю.

Виттерсгейм подошел к Паулюсу, вскинул руку к пилотке:

— Приказ исполнен — мои танки на берегу Волги.

— Поздравляю вас, Виттерсгейм.

— Служу великой Германии! Но при этом, — сказал Виттерсгейм, — я хочу сделать вам заявление.

— Я вас слушаю, — любезно кивнул Паулюс.

— Отведите мои танки с Волги и всю шестую армию.

— Куда? — обомлел Паулюс.

— Назад! Ко всем чертям! Хоть обратно в Польшу.

— Вы в своем уме, Виттерсгейм?

— Да. Я вывел танки к Волге, как было вами приказано. Но я больше не вернусь туда...

Паулюс спросил Виттерсгейма:

— Так что же вы сделали бы на моем месте, генерал?

— Я бы плюнул на этот Сталинград, пусть он сгорит на ясном огне, и отвел бы шестую армию назад.

— Вы не верите в успех?

— Как можно верить в успех, если за оружие взялись все жители города — от мала до велика! Это уже не война, это что-то иное. Нигде и ничего подобного я не видел.

Паулюс подумал и вежливо ответил:

— Вряд ли, генерал, мы сможем служить далее вместе. Не сердитесь, если о ваших сомнениях в успехе я доложу высшему начальству. К тому меня призывает долг...

. . . .

Зейдлиц спросил Паулюса:

— За что пострадал фон Виттерсгейм?

— Он не верит в успех нашего дела. Скорее, у него просто пошаливают нервы, но... Нам лучше было расстаться. Хубе на его месте не имеет сомнений.

— Между прочим, — отвечал Зейдлиц, — нервы у меня в порядке, но я, как и Виттерсгейм, начинаю испытывать тревогу. Этот сожженный городишко на Волге, кажется, обойдется всем нам намного дороже, нежели вся Франция.

— Ну, Зейдлиц! — улыбнулся Паулюс. — Вы сторонник крайностей.

. . . .

Слава Паулюса достигла апогея...

Газеты о нем писали восторженно, как о «верном солдате фюрера», его имя повторялось из уст в уста, да и сам Гитлер относился к нему с доверием и симпатией...

. . . .

23 августа:

Ни Еременко, ни его заместители (Гордов и Голиков), ни Василевский как представитель Ставки, ни Маленков — никто не ожидал, что немцы окажутся в Сталинграде так неожиданно и так быстро...

Ставка Верховного Главнокомандующего телеграфировала:

«У вас имеется достаточно сил, чтобы уничтожить прорвавшегося противника. Соберите авиацию обоих фронтов и навалитесь на прорвавшегося противника. Мобилизуйте бронепоезда и пустите их по круговой железной дороге Сталинграда... Дери-

тесь с противником не только днем, но и ночью... Самое главное — не поддаваться панике, не бояться нахального врага и сохранить уверенность в нашем успехе».

. . . .

В 8 утра Еременко позвонили из штаба 62-й армии:

— Атакуют танки! Все небо — в самолетах! Жмут из Вертячего... Плохо слышу... Тут сплошной грохот.

Следующий доклад от летчиков:

— Только что вернулись истребители, бывшие в разведке.

— Идет сильный бой у Малой Россошки, там все горит... Наблюдали две колонны, в которых не менее чем по сотне танков, а за ними — грузовики с пехотой...

Не успел Еременко освоить доклад, как новый звонок вернул его к действительности — докладывал генерал Захаров, начальник штаба Юго-Западного фронта:

— У нас тут с утра пораньше такое началось... Танки Гота взяли станцию Тингута, наши войска бьются в полуокружении...

Доклад командующего 62-й армией генерала Лопатина не застал Еременко врасплох:

— Немцы танками смяли один полк и фланги стрелковой дивизии. Больше двухсот пятидесяти танков...

— Закройте прорыв!

— Чем закрыть? Нечем. Только пальцем...

Из кабинета директора СТЗ звонил нарком Малышев:

— Из окна виден бой с танками. Завод обстреливается: немцы пробиваются в сторону Рынка. Завод я велел готовить к взрыву...

— Завод оборонять во что бы то ни стало, — приказал Еременко.

Генерал-инженер В. Ф. Шестаков доложил, что наплавной мост через Волгу в районе СТЗ построен.

— Рад доложить, что задание выполнено не за 12 дней, как обещали, а за 10. Длина моста свыше 3 километров.

— Выношу благодарность за успешную работу. А теперь, когда мост построен, взрывайте его, чтобы ничего от него не осталось.

Иначе было нельзя: не взорви они мост — танки Виттерсгейма, вырвавшись к СТЗ, могли тотчас же оказаться на левом берегу Волги...

Еременко вызвал начальника гарнизона и командующего дивизией НКВД.

— Вы отвечаете за оборону города и окраин?

— Да, отвечаю.

— Вот и подкрепите свои слова делом.

— Но моя дивизия растянута на полсотни километров, танков нет, артиллерии нет... Как воевать?

— Согласен, что трудно вам приходится... А кому легко? Отбить нападение...

И люди стояли насмерть...

Гулко катился в кровавой мгле
Сотой атаки вал.
Злой и упрямый, по грудь в земле,
Насмерть солдат стоял.
Знал он, что нет дороги назад —
Он защищал Сталинград.*

Примеры мужества и героизма защитников Сталинграда можно приводить бесконечно. Никакой враг не мог поставить на колени защитников Сталинграда. Растерянности и паники не было. Армия опиралась на поддержку всего населения. Рабочие тоже взялись за оружие.

«На поле битвы лежат убитые рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая в окоченевших руках винтовку или пистолет. Люди в рабочей одежде застыли, склонившись над рулем разбитого танка. Ничего подобного мы никогда не видели...»

* А. Сурков. «Защитник Сталинграда».

23 августа... К 9 часам вечера на КП приехали Чуянов и Малышев; у Еременко были уже Хрущев и генералы.

В 11 часов вечера Еременко подготовил донесение в Ставку, которое давал ежедневно в 24 часа. Еременко пришлось сказать горькую правду: фронт разрезан, немцы вышли к Волге, СТЗ под обстрелом, две железные дороги, ведущие к Сталинграду с севера и северо-запада, ПЕРЕРЕЗАНЫ, а по Волге движение судов ПРЕКРАЩЕНО.

Ровно в полночь Еременко расписался под донесением:

— Узнают в Москве правду — не сносить мне головы. Но не врать же мне, не притворяться... Отправляйте!

. . . .

Когда после войны Еременко спрашивали о дне 23 августа, он отвечал:

«Это был... тяжелый кошмар!» И далее добавлял, что в этом кошмаре люди выстояли и «это было результатом той глубокой повседневной работы, которую вела коммунистическая партия с советскими людьми...»

А мне вспоминается иное — тот самый утюг, что остался от былой жизни слесаря Гончарова, который уже лежал мертвым перед цехом СТЗ, сжимая в руках винтовку без единого патрона...

. . . .

Мы знаем те надписи, которые оставили на стенах рейхстага наши доблестные защитники в победную весну 1945 года. А теперь прочтите и оцените, что написали рабочие на стенах своего родного тракторного завода:

«Немцы! Вы еще проклянете тот день, когда вы пришли сюда. Лучше не лезьте! СТАЛИНГРАД СТАНЕТ ВАШЕЙ МОГИЛОЙ!»

. . . .

23 августа в 16 часов 18 минут в Сталинграде была объявлена тревога, и эта тревога не имела отбоя вплоть до того самого дня, когда из подвала универмага на площади Павших борцов выбрался фельдмаршал Паулюс и отбросил в грязный снег свой заряженный «вальтер».

. . . .

Я мысленно обращаюсь к образу женщины, олицетворяющей наших матерей:
— А вы знаете, какой сегодня день?
Никто не знает, никто не помнит.
Отвыкли мы помнить то, что забывать нельзя.
А кто мало помнит, тот мало и знает.
В этом наша беда!

. . . .

. . . .

КОГДА Я ЛИШЬ ПРИНИМАЛСЯ ОСВАИВАТЬ ЭТУ ТЕМУ, МЕНЯ, ЧЕСТНО СКАЖУ, ВОЛНОВАЛ ЛИШЬ ОДИН ВОПРОС — КАК НЕМЦЫ ДОШЛИ ДО ВОЛГИ?

Конец первого тома

Подготовка текста и публикация Антонины ПИКУЛЬ.

Публикатор благодарит кандидата технических наук полковника запаса Виталия Макаровича ВОЛОСЮКА за помощь в работе над рукописью.

ПОЭЗИЯ

ВИКТОР ДРОННИКОВ



ВЕНОК НА СЧАСТЬЕ

В пречистом сиянье

Прости мне в пречистом сиянье
За темные годы мои.
На теплой заре покаянья
Не поздно шептать о любви.

Не поздно в березовой чаще
Заплакать, не чувствуя слез,
О всех над землей, проснявших
Лучами соборных берез.

Когда над бесовством и срамом,
Как древняя совесть земли,
На крыши порушенных храмов
Пресветло березы взошли.

Всходили на долгую муку,
Как ветер их вниз нн сбивал.
Как будто им светлую руку
Скорбящий Господь подавал.

* * *

Ночью полнолунной, предосенней
Воздух сада чутко молодой.
Хорошо с любимой спать на сене,
Положив под голову ладонь.

Верещит кузнечик, не смолкая,
По углам сарая тишина.

Хорошо, глаза не размыкая,
Быть влюбленным и на грани сна.

И во сне, пропахшем резедою,
Яблоками, утренним лучом,
Чувствовать дыханье молодое
Занемевшим в радости плечом.

ДРОННИКОВ Виктор Патрович родился в 1940 году в деревне Жилино Орловской области. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор поэтических книг «Колыбель», «Земля-кормилица», «Яблоня», «Осенняя дубрава» и других. Член Союза писателей СССР. Живет в Орле.

* * *

Постой на пороге осеннего дня,
Послушай листву уходящего лета.
И если сегодня ты вспомнишь меня,
Окликни, я выйду из долгого света.

Окликни и верную руку подай,
Душистую ветку персидской сирени.
Как если бы снова твой ситцевый
май
Цветы осыпает тебе на колени.

То красный, то желтый,
то синий цветок,
Ты их на лугу собирала босая,
Когда заплетала свой первый венок
И в быструю воду на счастье
бросала.

Багряные листья летят в высоту.
Скажи мне сегодня:
— Ты самый любимый!—
Я сам тебе в черные косы вплету
Две самых алеющих грозди рябины.

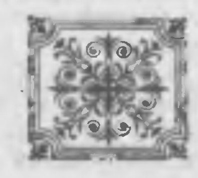
* * *

Птиц в рябининнике ловить,
Слушать дождь в осиннике,
Посох в липнике сломить,
Дудочку в бузиннике.

Песни петь в березняке
С милою любиться.
В поднебесном сосняке
Господу молиться.

Грезить сладостно былым
С думою о славе,
И вдыхать ее, как дым,
В золотой дубраве.

Плакать в вербнике весной,
Жизнь сравнить с капелью.
И уснуть последним сном
Под шатровой елью.



ПРОЗА

НИКОЛАЙ КОНЯЕВ

ГАВДАРЕЯ

ПОВЕСТЬ

ТОРЖЕСТВО ТЕОРИИ

Заберегский буддизм, который,— сами не зная того,— ревностно исповедовали и Заморозков, и Кешка Сутулов, а также многие другие заберегцы, как раз в том и заключался, что посредством неумеренных алкогольных возлияний исповедующие его выходили в некий астрал, где испытывали разнообразнейшие метаморфозы.

Прохоров очнулся от сладкого покоя уже в доме Кешки Сутулова. Здесь было темно и холодно — ветер с улицы проникал в разбитые окна, в дверной проем и свободно гулял по комнатам. Среди этого ветра и сидели они за столом: Заморозков, Сутулов, Самогубов и он, Прохоров.

Прошлого не было. Что осталось между заморозковским кабинетом и домом Сутулова, Прохоров не помнил, но смутное ощущение тревоги жило в нем. Кругом была холодная ночь, тускло поблескивала затопленная улица. Ветер шумел листвой деревьев в палисаднике, гнул сосны во дворе, скрипел мачтой антенны над тереховским домом. Вокруг была тусклая, холодная ночь, и оттуда кралась в дом опасность. В ночи, вокруг дома, возникала Зинаида... Она уже несколько раз окружала дом, но Сутулов успевал спрятать Заморозкова в подполье, и Зинаиде приходилось отступать на исходные позиции.

Однако после очередного погружения в подполье Заморозков наотрез отказался вылезать обратно.

— Качает,— сказал он, счастливо улыбаясь.— Нутром уже эти волны чувствую. Вы со мной так разговаривайте.

— Это вы совершенно верно заметили, Иван Павлович,— подсаживаясь на корточки рядом с дырой в подполье, сказал Кешка.— Вы обратите внимание, что весь дом плывет. Я даже чувствую, как качается он.

— Плыть надо,— сказал Ваня Павлович.— Плыть, Кешка. И так всю жизнь по этим волнам плыть. Ты — волна, я — волна, они — волны...

— А я, может, и не хочу волной быть! — запротестовал Веня Самогубов. — Может, нету на это никакого моего согласия.

— Вениамин Александрович! — укоризненно сказал Кешка.— Разве приходится делать только то, на что мы согласны? Почему же вы, Вениамин Александрович, к волнам предъявляете такие требования? Почему они должны соответствовать вашим желаниям? Я, может быть, тоже не желаю, чтобы мой дом по волнам плыл, но ведь от этого он не перестанет плыть, как вы думаете?

Вене стало стыдно. Он порывисто обнял Кешку.

— Мать ее так! — сказал он. — Такая жизнь. Давай допьем, девочки, что осталось.

Кешка, однако, настоял, чтобы выпить вместе с Заморозковым. Для этого и ему, и Самогубову пришлось спуститься в подполье. Вначале там было тихо, но вскоре послышались голоса.

— Раз жизнь такая, значит, только волны и есть...

— Только волны.

— И ничего, кроме волн...— уточнил Заморозков.

А дальше:

— Я — волна! — загремел Кешкин голос.

— И я — волна! — не отставал от него Веня.

— Мы все — волны! — мудро успокаивал их Заморозков.

— Мы — волны! — кричали тогда они все вместе.

Очевидно, это философское озарение и притупило бдительность Кешки. Зинаида на этот раз обнаружила мужа.

— Вот ты где, пьяная лужа! — закричала она, врываясь в дом. Как раз в это время Веня Самогубов снова отрекался в подполье от своей волновой сущности.

— Не хочу я быть волной! — упрашивал он Заморозкова и обнимал его.— Понимаешь, не хочу!

— И все-таки ты волна,— прижимая кудрявую самогубовскую голову к своему животу, говорил Заморозков.— Все — волны...

Именно в этот момент и возникла над подпольной дырой Зинаида. Однако не испугался Заморозков этого грозного видения.

— И она — волна! — кротко сказал он.

— Волна? — поднимая к Заморозкову просветлевшее лицо, переспросил Самогубов.

— Волна! — подтвердил тот.

— Вы слышали, Зинаида Яковлевна! — обрадованно заорал Кешка.— Зинаида Яковлевна, и вы — волна!

Не стоило, не стоило этого говорить жене Заморозкова. Ни слова не говоря, она схватила со стола недопитую бутылку и принялась поливать подпольщиков.

Получилось так, что желанная влага почти вся попала на лицо Заморозкова, и он, не теряя времени, принялся слизывать ее языком, ухищряясь, как сверху казалось Зинаиде, дотягиваться языком до лба. Обстоятельство это так возмутило Зинаиду, что она с досады швырнула в подполье бутылку.

Но как случайна, как переменчива судьба!

Бутылка ударилась не в Заморозкова, а в вежливого Кешку Сутулова. Почему тот немедленно не потерял сознания, определить совершенно невозможно. Может быть, все дело заключалось в живительном и целебном свойстве алкоголя? Кто знает... Один знакомый рассказывал мне, что однажды, на испытаниях реактора, в стельку пьяный стеклодув по ошибке проник в котел реактора и всю ночь проспал там. «Самое удивительное,— рассказывал мой знакомый,— что хоть бы одна рентгена к нему пристала. Нет же! Здоров и еще сильнее прежнего пьет».

Окончание. Начало в №№ 6, 7 за 1991 год.

Так случилось и с Кешкой. От удара он не потерял сознание.

— Мы — волны! — кричал он в лицо Зинаиде, как кричали подпольщики всех стран в лицо своим палачам.

— Мы — волны! — поддержал его Заморозков.

— Мы — волны! — присоединился к их хору и Самогубов.

И Зинаиде не оставалось ничего другого, как с позором уйти прочь. Теория торжествовала.

Теория торжествовала всю ночь.

К утру холод начал усиливаться, и нечем стало защищаться от него — бутылки опустели. Первым не выдержал Прохоров.

— Пойду я,— сказал он и, хватаясь руками за стены, направился к выходу.

— Ты мой плащ возьми! — сказал Самогубов заботливо.— Простудишься ведь.

И хотя Прохорову идти было совсем недалеко, не желая обидеть Веню, он взял плащ.

Заморозков вышел во двор следом за ним. Дул северный ветер, и в природе было тревожно и смутно. Над дорогой скопился похожий на озеро туман, в нем зябли придорожные кусты, и стужей тянуло от воды, подступившей близко к дому, а высоко, в недосягаемом небе, тускло светилась холодная звезда. Сосны и тереховская антенна скрипели и охали, словно бы жалуясь на свою высокую судьбу.

— Вот, Евгений Петрович,— сказал Заморозков.— Это, значит, и есть жизнь. Вся она тут... Волны...

Возразить Заморозкову было нечего, и Прохоров промолчал, поднимая воротник плаща.

— А я ведь чего еще-то думаю...— проговорил Заморозков. Оглянулся кругом и только тогда прошептал на ухо Прохорову: — А что, если и там-то, на небе, тоже все по волнам устроено, а?

Прохорову удалось наконец застегнуть верхнюю непослушную пуговицу, и он зябко передернул плечами.

— Я Вене на дежурство плащ принесу...— не к месту сказал он и вдоль заборов начал пробираться к тереховскому дому.

А Ваня Павлович долго еще стоял во дворе, разглядывая косматые тучи, что несло по небу, и беззвучно шевелил губами...

ЗАБЕРЕГСКОЕ КОПЫТЦЕ

Не было в Заберегах мастера сочинять из пьяных людей чудные приключения лучше Кешки Сутулова, однако и с ним сыграла судьба злую шутку. На следующее утро, когда Аркадий Павлович Свиридов зашел в столовую, он ничего подозрительного там не приметил. Народу было немного: ребята с землечерпалки, да еще под картиной художника Васнецова — Сутулов и Заморозков.

И, поздоровавшись с Дусей Савунькиной, Аркадий Павлович хотел уже было уйти, но разговор за столиком под картиной показался ему странным. Сутулов бормотал про копытце, из которого если попить, то наперед известно, что козликом станешь или еще кем...

— Мы-то откуда пьем, а? — вопрошал он Заморозкова и суетливо оглядывался по сторонам. Взгляд этот, собственно говоря, и не понравился Аркадию Павловичу.

Он поманил к себе пальцем Мишу Терехова и велел ему бежать за Прохоровым. Сам, между тем, незаметно повесил на дверь табличку «Обед» и, засунув руки в карманы, стал ждать дальнейшего развития событий.

Чутье и тут не обмануло начальника заберегской милиции.

— Кто ходил-то тут, а? — закричал вдруг Кешка, и лицо его исказилось гримасой такого страха, что теперь уже и Заморозков сообразил, что происходит...

— Копытце-то откуда, а?! — орал Сутулов.

Аркадий Павлович взглянул на часы. Он облегченно вздохнул, только когда в стекло двери постучал Прохоров.

Прохоров накапал в стакан каких-то капель и с трудом — Аркадий Павлович помогал ему — заставил Кешку выпить их. Капли подействовали сразу. Кешка обмяк, и в машину, которая пришла следом за Прохоровым, его погрузили без всяких инцидентов.

И казалось бы, не было ничего особенного в том, что Кешка допился наконец-то до белой горячки, но тем не менее событие это болезненно поразило жителей поселка.

Еще не успела отъехать машина, а к Аркадию Павловичу уже подошел Заморозков.

— Что это такое, а? — спросил он, словно бы требуя от начальника заберегской милиции объяснений.

Аркадий Павлович только пожал плечами.

— У него давно это началось,— проговорил Заморозков, вздыхая,— все смотрел на эту картину и говорил, что она, дескать, Аленушка-то, по козлу его убиенному плачет. А копытце только сегодня, значит, выдумал.

И видя, что Аркадий Павлович никак не реагирует на его слова, Заморозков повернулся к буфетчице:

— Ты бы сняла ее, Дуся, а то мало ли еще что...

— Счас, счас,— закивала перепуганная Дуся Савунькина и тут же полезла на столик снимать картину.

— Я-то чего вот думаю,— тихо сказал Заморозков.— Волны, они ведь сами и доделывают людей. И не хочешь ты быть человеком, а они так тебя повернут, что как бы ты ни сделал — это самое человеческое и будет. Волны ведь... Никуда от них не денешься.

— Придумал ты себе игрушку, Заморозков! — сердито ответил Свиридов.— И теперь носишься с ней, как неизвестно с чем. Ежели бы не дурили, ежели бы поддерживали друг дружку, так и жили бы, как люди. А так катимся неизвестно куда...

— Не...— покачал головой Заморозков.— Не, Аркаша... Каждый сам с волной движется. Ежели вместе, то и волн бы никаких не было. Волне каждый нужен, чтобы он сам собою был. А может, не было бы волн, так и ничего бы не было. Ровное одно только. А так, видишь, наша жизнь кончается, а там уже новая волна встает. Не мы, конечно, а все равно такие же, как мы.

— Да ну тебя! — думая о своем, ответил ему Аркадий Павлович.

А к вечеру стих северный ветер. Ушла с земли вода, снова дни стали жаркими, солнечными. Починили сорванные мостки, распилили поскорее заловленные бревна, и ничто уже не напоминало в поселке о недавнем разгуле стихии. Снова вступило в свои права лето...

Глава пятая
БЕГСТВО САВУНЬКИНА

Размышления приносили свои плоды, и тогда Аркадий Павлович начинал нравиться самому себе. Сегодня он долго сидел в отделении, закрывшись на ключ в своем кабинете, и старательно, одну за другой, записывал на листке фамилии.

От Богачева двигался он к Выселкам, здесь задержался немного, пошел дальше по набережной, поднялся вверх по переулку, обшарил двухэтажные дома, снова вернулся к Выселкам, подумав, вычеркнул Мишу Терехова, а фамилию Самогубова обвел кружком и снова по набережной двинулся к переправе, от переправы — к пристани, дальше — по бечевнику. С бечевника перепрыгнул Аркадий Павлович через

канал и по райцентровскому проселку вернулся назад в центр, закружился здесь, медленно начал подниматься по кладбищенскому переулку.

Три часа просидел Аркадий Павлович за столом. Он вычеркивал одну фамилию за другой, и только когда на листке осталась однаединственная, встал. Ему стало весело, и он засмеялся в своем кабинете.

Но странно прозвучал этот смех. Нехорошим эхом отразился от голых стен, и Аркадий Павлович нахмурился. Постоял в нерешительности, затем снял телефонную трубку.

«Перехитрить надо,— думал он, пережидая гудки.— Перехитрить можно».

В трубке щелкнуло — на другом конце провода, в кабинете начальника РОВД, раздался искаженный расстоянием голос Аркадия Павловича. Этот голос жаловался, что Аркадий Павлович уже два года не был в отпуске, что надо хоть одно лето отдохнуть, все равно он уходит на пенсию... «Корова... Сенокос... Лето... Рапорт...»

— Да, ладно-ладно! — откликнулся наконец начальник.— Кого заместителем ладите?

— Ж-жиганова,— чуть запнувшись, ответил Аркадий Павлович.

— Жиганова? — в трубке наступило молчание.— Добре. Пишите рапорт на отпуск сегодняшним числом. А в конце августа поработаете еще, пока не подберем замену.

И снова гудки.

Аркадий Павлович положил трубку и вытер со лба пот. Отдышавшись, он скомкал исчерканные листки, швырнул их в мусорную корзину, а сам достал чистый лист и начал писать рапорт.

Лукерья, которая убирала кабинет Аркадия Павловича, по свойственной ей любознательности, просматривала все выброшенные бумаги. Не пропустила она и скомканных листков. Долго сидела над ними и, шевеля губами, размышляла: «Что бы это могло значить?» И горячая вода, которую Лукерья приготовила для мытья полов, успела за это время выстыть.

Неизвестно, до каких предположений дошла бы Лукерья, но новые события в поселке отвлекли ее, и вспомнила она о скомканных листочках только в конце лета. Но тогда никто не поверил ей, что такие листки были.

И, может быть, первый раз в жизни Лукерья говорила правду, но — первый раз в жизни — все открыто смеялись над ней.

Аркадий Павлович уже дописал заявление и собирался идти домой, когда заприметил на улице незнакомого молодого человека. С сигаретой во рту, засунув руки в карманы, молодой человек стоял посреди улицы и смотрел на окно свиридовского кабинета.

«Это еще что? — подумал Аркадий Павлович.— Откуль еще шериф такой заявился?»

Незнакомец сразу не понравился ему.

Недолго пришлось мучиться Аркадию Павловичу размышлениями — молодой человек выплюнул сигарету и решительно направился к входу в отделение.

— Свиридов? — с порога спросил он.

— Да вроде как бы Свиридов...— приподнимаясь из-за стола, проговорил Аркадий Павлович.

— Разрешите представиться, товарищ Свиридов,— усмехаясь, молодой человек протянул удостоверение.

Насладившись эффектом, он объявил, что приехал ловить Савунькина, который бежал из лагеря.

— Савунькина?! — глуповато переспросил Аркадий Павлович, и брови его поползли вверх.

Так тот самый Савунькин, которого зимой провожал Аркадий Павлович в места лишения свободы, бежал! И тут случилось с Аркадием Павловичем то, что случается со всеми людьми, когда они узнают нечто неожиданное. Еще не успели брови его вернуться на положенное им место, а Савунькин, которого вспоминал Аркадий Павлович, уже преобразился в его памяти. Какие-то новые, зловещие черты появились в его облике, и теперь Аркадию Павловичу казалось, что они всегда и были в Савунькине и что напрасно не обратил он внимания на его угрозы.

— Н-да...— пробормотал он, чувствуя, как набухает стремительным потом воротничок рубашки.— А я, понимаете ли, как назло в отпуске с сегодняшнего дня...

И он посмотрел на стол, где лежал рапорт.

— Жаль,— уполномоченный по Савунькину как-то очень ловко щелкнул пальцем по сигаретной пачке, и сигарета влетела ему прямо в рот.— А кто вас будет замещать?

— Жиганов,— Аркадий Павлович расстегнул верхнюю пуговичку.— Между прочим, опытный милиционер.— Он искоса взглянул на уполномоченного и, понизив голос, добавил: — Здесь, в столовой, мать Савунькина работает!

— Да? — уполномоченный прищурился.— Ин-нтересно!

Аркадий Павлович внезапно успокоился.

«Недавно небось в органах...— безошибочно определил он.— Ну, будет теперь Жиганову делов».

Уполномоченный встал.

— Надеюсь, мы не помешаем вашему отпуску! — пожимая руку, сказал он.— О разговоре, учтите, никто не должен знать.

Четко, по-военному, повернулся и вышел из кабинета — направился осматривать местность. Скоро собрался домой и Аркадий Павлович. Он повесил на дверь отделения тяжелый замок и вышел на набережную.

Но не все, не все новости еще узнал он. На полпути к дому, из окна почты, его: «Товарищ Свиридов! Вам телеграмма!» — окликнули.

Телеграмма была от начальника районной рыбохраны Валько. Валько вечером приезжал на теплоходе и просил встретить его. Аркадий Павлович повертел телеграмму в руках, посмотрел, нет ли чего на обороте, потом вздохнул и спрятал бумажку в карман — определенно: очень вовремя он взял отпуск.

Инспектора Аркадий Павлович знал давно. Еще с фронта. Только тогда Свиридов командовал экипажем танка, а полковник Валько — полком, в который входил танк Аркадия Павловича. Разумеется, в те годы никакой дружбы не было, возникла она много позже, когда сотрудник районной газеты, разузнав о давнем знакомстве, тиснул статейку «Фронтовые друзья», смысл которой сводился к тому, что как и раньше — плечом к плечу — воюют фронтовые друзья против браконьеров.

Статейка Аркадию Павловичу не понравилась. Против фронтовой дружбы он, конечно, не возражал, но только уж очень беспокойным оказался друг. И нынешняя телеграмма ничего доброго не сулила. До сих пор висело нераскрытое убийство рыбинспектора, до сих пор не найден был и его труп, и наверняка ехал Валько неспроста, наверняка он что-то собирается затеять здесь.

Между тем наступал вечер.

Садилось солнце. Залитые багровым пожаром, полыхали крыши домов, красные пятна закатного света вспыхивали на бортах моторок, бегущих к озеру. Северным ветром там наломало гонок и заберегцы пользовались случаем — заготавливали на зиму дрова. По низкому, густо заросшему водянистой травой берегу, позвякивая колокольчиками, бродили коровы. Скрипели калитки, кое-где во дворах отбивали косы,

Аркадий Павлович остановился: из-за доков, белый в голубой воде, выходил туристский теплоход. Гремела на борту музыка, и женщины — такие восторженно-красивые издалека — смотрели на проплывающий мимо поселок.

Музыка неожиданно смолкла и из динамика загремел голос экскурсовода. Всю навигацию напролет слушали заберегцы лекции о прошлом своего края.

Лето... Совсем уже наступило лето. Тесно стало в поселке от зелени, и в палисадниках тяжело наваливались на штакетник ветви яблонь, буйной зеленью кипели заросли кустов. Густая трава у заборов проглотила старые рассохшиеся лодки. Сейчас в них играли загорелые дети.

И таким славным был этот воздух летнего вечера, со звуками музыки, с нерассеивающимся запахом духов от перегнавших Аркадия Павловича богачевских девушек, что не хотелось думать ни о Савунькине, ни о фронтовом друге. Вспомнил Аркадий Павлович, что он в отпуске, и облегченно — всей грудью — вздохнул.

«Может, и не случится ничего,— подумал он.— Может, так и пройдет, помучится, отболит, а потом дальше жить...»

И внезапно спала тягость и ощущение обреченности, давящее предчувствие катастрофы вдруг отодвинулось, уступило место предощущению главной мысли, той самой мысли, которую думал Аркадий Павлович всю эту весну. Казалось, стоит лишь протянуть руку, сделать небольшое усилие, и жизнь озарится, вспыхнет потерянным, но вновь и иначе найденным смыслом. Аркадий Павлович прикрыл глаза, и что-то уже мерещилось за случайными словами, что-то различал он, но мельтешило, снова пропадало из глаз это неведомое.

Уже давно прошел туристский теплоход, наверное, успел причалиться, и восторженно-красивые женщины, превратившись в обыкновенных баб, разбежались по заберегским магазинам, а Аркадий Павлович все еще стоял на берегу — дразнила, возникала и вновь пропадала нужная мысль. И, утешая себя, что вот придет он домой, сядет на свое любимое — между кухонным столом и буфетом — место, тогда-то все и додумает, тогда-то и решит все, направился Аркадий Павлович к дому.

Во дворе он задержался — с подойником, туго напрягшись всем телом, шла из хлевушки Серафима, и капельки молока брызгали на босые ноги.

— Совсем мухи закусали на улице,— пожаловалась она.

— А мне отпуск дают,— проходя следом за женой в дом, сказал Аркадий Павлович.— Лешка-то где? Дома?

— На танцы убежал! — откликнулась Серафима. Накинула на носик подойника марлю и начала процеживать молоко.— Целый месяц уже, с работы придет, не поест даже и сразу в салалаи свои.

— Молодой — вот и бегает...— сказал Аркадий Павлович.— А что? Пока не женился, пускай бегает.

— Да я разве говорю что? — вздохнула Серафима.— Ты, отец, сходи в лесхоз завтра. Поговори насчет сенокосу...

— Зачем? — заглядывая в раскрытую книгу, что лежала на столе, ответил Аркадий Павлович.— Может, отстанем от коровы? От людей стыдно, все отстали, а мы одни держим, как нищие...

— Куда отставать, если теперь послабления такие? — ответила Серафима.— Кто ее знает, куды жизнь повернется. А корова будет и ужин будет. Не... Надо держать, отец.

Аркадий Павлович вздохнул, но ничего не сказал. Бесполезно было разубеждать жену, жалко было только, что за этим пустым разговором пропала куда-то та главная мысль, которую он надеялся додумать дома. Все дальше и дальше уходила она.

Аркадий Павлович вздохнул еще раз и перевернул страницу.

ТАНЦЫ, ГРАММОФОН И РАЗГОВОРЫ

В десять часов вечера возле танцплощадки, что расположена в скверике им. тов. С. М. Кирова, на берегу канала, начала собираться заберегская молодежь.

В центре скверика стоял памятник тов. Кирову. Маленький, он смотрел с невысокого постамента, сложенного из железобетонных томов Маркса, Энгельса, Ленина, смотрел прямо через канал на дом браконьера Питерцева. Тот сегодня был дома, ходил по двору и неодобрительно косился на молодежь, что собиралась в скверике.

Все ждали танцев, но Шилихи, совмещавшей в своем лице должности перронного матроса и сторожа сквера, не было, и время от времени нетерпеливые парни трясли изо всей силы дверь сторожки. Тяжелый амбарный замок в пробое — чем-то очень похожий на лицо Шилихи — лишь самодовольно побрякивал и не поддавался.

Впрочем, особой нужды в Шилихе не было. Музыку, которую она могла бы включить, с успехом заменяли транзисторные приемники и магнитофоны, которые многие ребята принесли с собой. Хрипловато трещали они во всех уголках сквера.

Чуть в стороне от танцплощадки, за невысокими акациями, возле гипсового медведя с отломанной лапой, сидели на скамеечке Лешка Свиридов и Алевтина Головешкина.

Алевтина была сегодня чудная, и Лешка не мог понять ее — она становилась то восторженно-веселой, то вдруг сразу сникала; то лезла целоваться, то, мрачнея, отодвигалась, так что нельзя было приступиться к ней. И все это время не переставала разговаривать. Разговор тоже был каким-то смутным.

— Ты любишь меня, да? — спрашивала она и заглядывала в глаза Лешке.

— Люблю...

— Это хорошо...— Алевтина прижималась к его груди.— И я та́к, та́к тебя люблю, что и рассказать нельзя.

Рассказать, однако, было можно, потому что Алевтина тут же принялась рассказывать, какой Лешка удивительный, и лицо...

— У тебя такое лицо...— прошептала она.— Ты знаешь, на кого ты похож?

— Знаю...— хмуро отозвался Лешка, разговор уже давно перестал нравиться ему.— Мне Кешка Сутулов говорил, что я малость его покойного козла напоминаю.

Он попытался обнять Алевтину, но та вывернулась.

— Я серьезно говорю,— сказала она.— Ты... Ты на Вениамина похож, на Самогубова. И кудрявый такой же...

— Да? — Лешка пожал плечами.— Кешка все-таки лучшего обо мне мнения.

— Он дурак — твой Кешка,— отодвигаясь на конец скамейки, сказала Алевтина.— И потом он пристает ко мне все время.

— А Самогубов не приставал, поэтому я и похож на него? — пошутил Лешка, но тут же пожалел о своей шутке.

Губы Алевтины задрожали, а из огромных глаз покатились слезы. Позабыв спрятать лицо, Головешкина заплакала.

— Ну что ты, что ты? Глупая ты...— испугался Лешка.

— Ты злой, да? — спросила вдруг Алевтина, и лицо ее как-то нехорошо изменилось: слез уже не было, а в глазах запрыгали нехорошие искорки.

— А я сегодня видела Самогубова...— сказала она и облизнула языком припухшие губы.

— Я его каждый день вижу...

— Я была у него,— злым голосом сказала Алевтина.— Я просила его, чтобы он меня замуж взял, потому что, потому что... я люблю его! А тебя, тебя только потому, что ты похож на него!

— Ну и что, берет он тебя замуж? — спросил Лешка, стараясь смотреть в сторону. Он слышал свой голос и боялся его.

— Я спала с ним,— упрямо проговорила Головешкина.— А с тобой только потому, что ты похож на него!

— Ты нарочно это говоришь? — Лешкин голос прозвучал глухо, словно издалека.

Алевтина улыбнулась.

И тогда — вяло! — Лешка ударил ее по щеке, и Алевтина вскочила со скамейки.

— Ты ударил... ударил меня?

Лешка опустил голову.

— Тебе бы раньше жить...— с трудом проговорил он.— Тебя бы на костре сожгли...

И снова что-то изменилось в лице Головешкиной. Ушло все чужое и злое, и лицо снова стало родным, любимым.

— Лешенька! — закричала Алевтина, словно звала через бесконечные километры.— Лешенька! Не уходи, Лешенька!

Она билась в его руках, кричала, позабыв, что рядом — за тоненькими акациями — люди, что они могут услышать: да и не важно было, услышат ее или нет, не было в мире никого, кроме единственного, любимого... А Лешка и сам позабыл, где он, и тоже кричал что-то, стискивая в руках Головешкину, хватал губами соленое от слез лицо, мягкие, горькие губы.

Потом медленно возвращался слух.

Алевтина затихла, мягко обвиснув на Лешке, и он осторожно усадил ее на скамейку, но разорвать сомкнувшихся на шее рук так и не смог.

Бурное объяснение осталось незамеченным благодаря тому обстоятельству, что незадолго до этого во дворе Питерцева вдруг заорал граммофон и все повалили на берег канала, чтобы посмотреть на него. Сотрясаясь разинутым зевом раструба, граммофон изрыгал пугающе-грустные слова:

Черная роза — роза разлуки...
Белая роза — роза любви!

И не только объяснение наших героев прошло незамеченным благодаря граммофону. Никто не обратил внимания, как с заднего хода, с ружьем в руках, вышел к озеру Питерцев. Оглянулся по сторонам и побрел в воду. Опустил ствол ружья, прищурился, покачал головой — длинновато будет,— сделал несколько шагов к глубине и только тогда нажал на курок. Грохочущее эхо раскатилось над озером, оглушенные подлещики, белея животами в темной воде, выплыли из глубины, граммофон во дворе Питерцева подпрыгнул и смолк — столпившимся на берегу канала показалось, что это с таким звуком лопнула в нем пружина.

Усмехаясь, пряча обрез под полой пиджака, вернулся Питерцев в дом.

— Готово уже? — удивленно спросил гость из города.

— Глупое дело не хитрое...— заберегской поговоркой ответил Питерцев и вынул из-под полы обрез.— Такое ружье испортил!

— Мне так сподручнее по командировкам в чемодане возить, — ухмыльнулся гость, осматривая ствол.— Ловко ты это придумал.

— До нас эта дедовня придумана...— ответил Питерцев.

А в сквернке, напротив питерцевского дома, жизнь шла своим чередом.

В наступившей тишине очнулась Алевтина.

— Ты не сердишься на меня, Лешенька? — спросила она, вытирая носовым платком покрасневшие глаза, распухший от слез нос.— Ты не сердись, ладно? Я тебя очень, Леша, люблю. У меня с тобой так хорошо, так спокойно, так надежно, словно вот шла я, шла по болоту и вдруг на хорошую дорогу вышла...

И она заглянула в Лешкино лицо.

— А расскажи,— попросила она.— Как ты меня любишь?

Лешка не заметил, как догорела, обжигая пальцы, сигарета. Первый раз в жизни он почувствовал, что у него есть сердце — оно болело, совсем не слушаясь его.

— Я лучше про другое расскажу,— тихо сказал он.— Я, когда маленький был, старался конфеты не есть. Понимаешь, мы бедно тогда жили, но отец иногда покупал мне в буфете на пароходе шоколадки, конфеты. Ну, и жалко было их есть. Съешь и ничего не останется... А если хранить, то вроде бы и есть она... Только не конфета, а какая-то возможность конфеты. Я еще совсем маленьким был, а уже тогда догадался об этом. И тогда-то совершил, наверное, свой первый поступок. Съел за один раз все накопленные конфеты. Есть не хотелось, а я все равно сидел и ел,— Лешка невесело усмехнулся. — У меня потом живот всю неделю болел.

— При чем тут живот? — обиженно спросила Алевтина.

— Ну, как при чем? — Лешка пожал плечами.— Это одно и то же. Ты вот все говоришь сегодня, мучишься, а знаешь почему?

— Почему? — побелевшими губами прошептала Головешкина.

— Ты любишь точно так же, как будто конфеты эти собираешь. Не любишь, а только радуешься, что любишь...

Он не удержался и снова взглянул на девушку — и больно, больно сжалось сердце: зачем? зачем он полюбил ее?

— А потом у тебя тоже когда-нибудь живот заболит...— опуская голову, сказал он.

— Заболит...— тихо откликнулась Алевтина.

— И на костре тебя сожгут...

— Сожгут...

Танцы все-таки состоялись в этот вечер, только не на танцплощадке, а на пристани, когда удалось выпросить у Питерцева его допотопное чудовище.

Уже сгустились над поселком тихие сумерки. Желтым огнем вспыхнули иллюминаторы самоходок, что стояли, причалившись к пристани, и желтые полоски задрожали в зябкой ночной воде.

Тихий, благословенно-тихий час наступил в Заберегах. А на пристани, на пассажирском перроне, по-довоенному браво орал граммофон, роготали парни, подкручивая завод, и танцевали, танцевали бульдозеристы и крановщики из мехколонны, танцевали богачевские девушки — они пользовались у мехколонновцев успехом, танцевали дачники и приезжие, танцевали заберегские парни и девушки.

«Господи...— прошептал подошедший на пристань, чтобы встретить фронтового товарища, Аркадий Павлович.— Да что это делается-то?»

Он поискал глазами Лешку и увидел — сын танцевал с Головешкиной.

«Скоро, скоро уже свадьбу играть,— усмехнулся Аркадий Павлович.— Вот она жизнь-то, здесь вся...»

И прибывал народ. Скоро должен был подойти рейсовый теплоход, и собрались на пристани встречающие. То и дело подъезжали к пристани моторки. И никто не уходил, только ребята с землечерпалки, что стояла на краю поселка, возглавляемые Мишей Тереховым, погрузились вдруг в моторку и уплыли.

«Поддавать направились...— привычно отметил Аркадий Павлович и подумал, что надо, надо бы поговорить с Мишей: не так, не так он живет, не доведет до добра эта водка, много стал парень чудить в последнее время...»

И вдруг среди улыбок и смеха, среди сияющих девичьих глаз словно бы потянуло сквознячком — выяснилось, что пропал плащ врача

Прохорова, который тот бросил на перила. И, казалось, не изменилось ничего: по-прежнему роготали парни, по-прежнему кружились пары; но только неудобно всем стало, неловко отхлынули все от Прохорова, избегая смотреть на него.

«Едрит мать, вот разиня! — тихо ругнулся Аркадий Павлович, а в прищуренном глазу промелькнули ребята с землечерпалки, Миша Терехов, который в руке... — Они и сперли, прохвосты! — Но прикинул Аркадий Павлович, что не догнать их, еще глупостей на реке наделают, да и фронтовой товарищ опять же обидится, если не встретить... Нет уж! После он разберется с Мишей. Вот стервец ведь какой! — дернувшись щекой, отступил Аркадий Павлович с ярко освещенного перрона в тень, в темный переулочек между складами и ночным магазином. Самоходки сегодня, видимо, уже успели отовариться — все магазины были закрыты, и в пустом переулке жались к стенам парочки. Распугивая их, пробрался Аркадий Павлович к диспетчерскому скворечнику, здесь можно было переждать время до прибытия теплохода.

Сегодня дежурил Веня Самогубов.

Головешкина не наврала Лешке. Она действительно заходила к Самогубову, и действительно просила взять ее замуж. Вначале Веня перепугался, что не миновать скандала. Случайная ночь, которую он провел с Алевтиной полтора года назад и которую уже успел позабыть, грозила обернуться серьезными неприятностями.

— У меня ведь жена,— растерянно пробормотал он.— Дочка четвертый класс закончила. Жалко дочку-то... Ее Наташей звать...

Но не случилось скандала. Головешкина как-то нервно засмеялась и провела рукою по его кудрям.

— А у тебя лысинка уже,— сказал она и вздохнула.

— Да! — Веня обрадованно нахмурился.— Старею, черт подери!

И они засмеялись тогда вместе, а потом Алевтина ушла, и Самогубову стало жалко, что он отпустил, навсегда отпустил эту девушку.

— Аля! — тихо окликнул ее, но она только улыбнулась издали, помахала рукой и скрылась за углом пароходной конторы.

Самогубов вернулся к диспетчерскому пульту, сжал ладонями голову. Господи! Как чудно, как славно было жить всего еще каких-нибудь два года назад! Как прекрасно они умели дружить тогда! Но куда же, куда исчезли чудные зимние вечера, когда тайком от Веры пробирался он в пристанскую гостиницу, где жил тогда Фридман, а потом сидели в полутемном фойе и выпивали, беседуя обо всем на свете... И как прятали пустые бутылки и остатки хлеба в атеистическом шкафу! Самогубов вспоминал, и улыбка дрожала на его губах. Ах, как чудно, как весело было жить тогда! А однажды Вера все-таки накрыла их и разбила бутылку о стену, но и это кончилось чудеснейшим примирением. Как смеялись они, передвигая шкаф, чтобы закрыть им пятно на стене! А летом... Когда на «Тосно» уплывали вдоль бечевника куда-нибудь по каналу, купались в озере и загорали. Черт с ним, что за Верой ухаживали напропалую... Разве могло это омрачить летнее солнце! Или весной, когда возили по леспромхозам художественную самодеятельность... Когда мчались по тряским проселкам... Как сладковато пахло пудрой в этих автобусах! А как, торопясь, расплескивая на пол вино, пили они в темных клубных закоулках перед началом концертов! Куда, куда все это исчезло? А осенняя охота на уток? Сборы, долгие и сладкие сборы!

Веня очнулся от оцепенения, охватившего его... Яростно мигала на пульте лампочка вызова.

Щелкнул тумблером.

«Или, может быть, не исчезло? Может быть, вернется? Ведь пришла к нему Алевтина и попросилась замуж?»

— Вызов принял...— сказал он в микрофон.— Прием.

— Заснули там, что ли? — загремел в динамике голос.— Давай погоду.

— Юго-восток. Три балла,— Веня хотел уже перещелкнуть тумблер, но вспомнил...

— Двадцатый! — позвал он.— Поимейте в виду, что у Карьешки земснаряд. Как поняли? Прием.

— Понял,— отозвался голос.— За нами следом пассажир. Прием.

— Понял. Счастливого плавания.

Самогубов выключил рацию и откинулся на спинку кресла-вертушки. Небрежно — как в давние счастливые времена — выщелкнул из пачки сигарету, вставил в рот фильтр, небрежно кинул пачку на пульт и, повернувшись в кресле, щелкнул зажигалкой.

Таким: одна рука небрежно лежит на пульте, другая — с сигаретой на отлете, ноги вытянуты вперед... и застал Самогубова Аркадий Павлович Свиридов. Шумно дыша, вытирая платком пот с шеи, уселся напротив.

— Скоро пассажир?

— Красный Бор уже прошел...

Помолчали. Самогубов побарабанил пальцами по столу и спросил, что с Савунькиным?

— А что с Савунькиным? — удивился Аркадий Павлович, и тогда Веня объяснил ему, что на пристани был уполномоченный и раздал фотографии Савунькина на случай опознания его среди пассажиров.

Аркадий Павлович снова вытащил носовой платок и снова принялся протирать шею. Веня докурил сигарету и встал. Подошел к широкому — во всю стену — окну диспетчерской. Там, схваченная сумерками, раскрывалась озерная губа с редкими, мерцающими на рейде огоньками судов.

— Слушай! — Самогубов коротко засмеялся.— А ведь кончилось худое время, а?

— Чего это? — удивился Аркадий Павлович.

— Да это я так...— Самогубов побарабанил пальцами по стеклу.— Так... Знаешь, я думаю рыбинспектором устроиться по совместительству. Как ты считаешь? Справлюсь?

— Не знаю...— честно сознался Аркадий Павлович.— Трудно на двух работах.

— Трудно, конечно... А куда деваться. На сотню не проживешь ведь. Ты этого... Ты поговори там по своим каналам, а?

Аркадий Павлович сердито засопел. Он внимательно оглянул Самогубова своим грустным глазом и встал.

— Поговорю,— сказал он и, стараясь осторожно ступать по крутой лестнице, спустился на пристань.

У причала стоял чернотрубый буксир, и желтый свет из рубки падал на палубу. В рубке стояли две девушки и смеялись чему-то, а парень в замасленной куртке разливал по стаканам вино.

— И тут пьют...— пробормотал Аркадий Павлович и тихонько побрел за лаву. Там, под чахленькими топольками сквера имени тов. Кирова, он сел в засаду.

«Вишь, оно как,— разглядывая стриженные под ноль топольки, думал он,— хреново растут-то. А если корячится каждое дерево, каждая веточка по-своему, так и хватает света для всех. Кто его знает... Может, и у Вени чего наладится».

Раздались голоса, это пассажиры с теплохода шли мимо сквера.

Разные бывают у людей голоса. Вот и у начальника районной рыбохраны Валько тоже был особый голос. Обычные люди таким голосом пользуются, только сидя в кабинке общественного туалета, чтобы сказать, что она занята, а инспектор пользовался своим голосом и в разговоре с фронтовым товарищем. Не успел еще Аркадий Пав-

ловичпоздороваться, как Валько уже насел на него, требуя отчета с расследовании убийства инспектора.

— Ты в районном угрозыске поинтересуйся! — ответил Аркадий Павлович.— Что я тебе, следователь, что ли?

— Взять надо было всех — живо бы сознались! — сказал Валько.— Развели, понимаешь, сантименты.

— Кого брать-то! И трупа еще не нашли.

— А это ты сам думай! Ладно. Я про другое посоветоваться хочу. Надо нового человека брать. Можешь кого посоветовать?

— Отчего же нет...— ответил Аркадий Павлович.— Сейчас у нас пристань увели, многие без работы сидят. Вот хотя бы Самогубов тот же. Что он получает? Сто рублей... Поговори. Может, и пойдет по совместительству. У него работа такая — сутки дежурит, трое дома.

— Ты мне баки не заливай со своими совместителями! — отрезал Валько.— У меня другая кандидатура на примете есть.

— Какая же? — скучновато поинтересовался Аркадий Павлович и зевнул.

Они уже подошли к свиридовскому дому и сейчас остановились возле калитки. Полураскрытая, она едва различалась в густой тени деревьев.

— У тебя сын, кажется, в десантных войсках служил?

Было темно, и Валько не видел, как, смешиваясь с застигнутым врасплох зевком, исказила лицо Свиридова гримаса.

— Ты что? — крутя головой, словно ворот рубашки удушливо стягивал шею, еле слышно сказал Аркадий Павлович.— Ты что? Ты совсем рехнулся, да? Единственного сына предлагаешь отдать? Не знаешь, что ли, сколько инспекторов у нас сменилось!

— Знаю! — властно оборвал его Валько.— Две сволочи всю реку засрали, а ты тут цацкаешься с ними! Поэтому и надо, чтобы в инспекцию крепкие ребята шли, а не совместители.

— Это тебе надо! — сказал Аркадий Павлович.— Но знай, Лешку я не пущу!

— Н-да...— проговорил инспектор.— А ведь ис-пас-ку-дил-ся фронтовой дружок, а?!

Аркадий Павлович молча повернулся и пошел в дом.

— Стой! — В голосе инспектора загремело фронтовое железо.— Стой. Еще одно дело есть, товарищ начальник. Я засаду приехал организовывать.

— Организовывай,— не оборачиваясь, ответил Аркадий Павлович.— Я сейчас в отпуске, товарищ инспектор, так что к Жиганову, пожалуйста. Меня он замещает.

— Ловко! — с угрозой в голосе похвалил Валько.— Ловко устраиваешься, товарищ Свиридов.

— Как умею...

— Ну, ну... А насчет дружины у тебя как? Как засаду делать будем без добровольных помощников?

Дружины в Заберегах не было, и инспектор прекрасно знал об этом. Аркадий Павлович даже остановился от удивления. О фронтовом друге он никогда особенно хорошо не думал, но что он окажется такой дешевкой? Нет! Он и предположить этого не мог. Прежнее самообладание вернулось к нему. На кого он рассердился?

Улыбаясь, вернулся к калитке.

— Может, зайдешь все-таки в дом?

— Ты не увиливай! — рявкнул инспектор.— Ты про дружину отвечай. На кого рассчитывать в работе?

— Да есть, есть дружина,— ответил Аркадий Павлович, пересчитывая взрослых — жигановские исключались — сыновей милиционеров.— Восемь, нет — девять,— поправился он, приплюсовывая и Лешку,— да, девять человек.

— Не густо...— потухшим голосом произнес Валько.

— Сколько есть...— Аркадий Павлович пожал плечами, но тут забавная мысль возникла в его голове.— Слушай... Ну не сердись ты. Покричали и ладно. Чего не бывает? Ты только Лешку не трогай, а за рыбохрану я не меньше твоего переживаю. Хочешь, я, как раньше, в деле докажу. Отпуск у меня, а я все равно в засаду пойду. Ну вот хоть на землечерпалку сяду. Она как раз напротив Клепикова стоит. Видел? С нее точно засечем, если он выедет.

— Ну, по рукам.— Голос у инспектора потеплел.— Договорились. На первый раз будем считать, что не было разговора. Ты тоже не обижайся. Я сам понимаю, что жалко тебе сына, но в печенках они у меня сидят эти паскуды!

Однако склонить Валько зайти в дом так и не удалось. Потоптавшись, Аркадий Павлович пожал вальковскую руку и пошел в дом. Инспектор тоже пошел, но, отойдя на несколько шагов, остановился. Оглянулся на вспыхнувшие окна. Лицо его было грустным и растерянным. Если бы Аркадий Павлович увидел Валько сейчас, ему бы стало жалко фронтового — черт возьми: ведь действительно фронтового! — товарища... Но не видел Аркадий Павлович вальковского лица. Он задернул занавески на окнах, и снова стало на улице темно. Валько вздохнул и отбросил сигарету. Ударившись о камень, рассыпалась она огненными крошками по дороге. Инспектор поднял воротник дождевика и заспешил к Дому крестьянина.

Что-то мешало ему идти, и через несколько шагов он остановился. Мешала бутылка коньяка, которую Валько купил в буфете на теплоходе, чтобы выпить с фронтовым другом. Инспектор вытащил ее из кармана. Вокруг было темно, и никто не мог увидеть, как покраснел Валько. Торопливо нагнувшись, засунул бутылку куда-то в темную траву и только потом пошел дальше. Идти ему уже ничто больше не мешало. Валько и не жалел даже, что не успел сказать Свиридову — почему остановил свой выбор на его сыне. Уж очень он напоминал ему верного, погибшего на войне товарища. Хотя... Хотя глупости все это.

Эту бутылку отыскал, между прочим, Веня Самогубов, когда возвращался утром с дежурства. Он принес ее домой, но жена не поверила его рассказу.

Об этом мы еще поговорим, а сейчас не стоит отвлекаться от прекрасной июльской ночи. Выкатила из-за облаков огромная белая луна, и из темного, заросшего осокой мелководья смотрела на эту луну тяжелая, как полено, щука.

В эту ночь состоялись и другие разговоры. Уже на рассвете начали собираться на пристани совхозовские старушки. Должен был идти катер, и они пришли на пристань загодя. Была здесь и Лукерья — она везла в совхоз к ветеринару свою козу. Коза обнюхала позабытый на пристани граммофон Питерцева и начала жевать его трубу. А пока коза подкрепляла свои силы, перронная матросиха Шилиха показала старушкам фотографию Савунькина, которую выдал ей уполномоченный.

— Ишь ты,— вздыхали совхозовские старушки.— Такой молоденький, а уже войсками ловят. Ну теперь вся жизнь через его сбасурманится. Ни грибов будет побрать, ни ягод.

Лукерья даже не взглянула на фотографию. Случилось небывалое: она узнала о бегстве Савунькина только сейчас, когда Савунькин уже, может быть, натворил столько дел.

Но и Лукерье в эту ночь улыбнулось счастье.

— Бабоньки! — едва не воспаряя в воздух, проговорила она.— Да ведь это он прохоровский плащ спер-то! Ведь он в казенной одеже бежал. Вот и украл плащ, чтобы прикрыться.

— Полно врать! — сурово сказала Шилиха.— Ну и язык у тебя, Луша!

— Да я сама видела! — завопила Лукерья.— Да вы подумайте сами: век ведь не крали у нас, а тут сразу — плащ!

Совхозовские старушки дружно закивали. Не крали, не крали в Заберегах. Шимозере и те не крали.

Шилиха, недоумевая: как столь простая мысль не пришла в голову ей самой, раздосадованно молчала, а Лукерья прямо засветилась вся от снизошедшего на нее озарения.

— Бабоньки! — закричала она.— Да ведь зачем идет-то, знаете? И вот перед вытаращившими глаза старушками напомнила, как ходил к буфетчице Дуське Коммунар Орестович.

— Поматросил, потом бросил... Ведь это его убивать Савунькин идет! За матерь мстит!

Шилиха застонала.

А на другом конце поселка, за рэбовскими мастерскими, сидели ребята и девушки, которым надо было попадать в Вознесиху. Уже совсем рассвело, и нужно было кому-то идти за лодкой, но никому не хотелось вставать, и, обманывая себя, что еще рано, продолжали все сидеть на штабелях теса и разговаривать о Савунькине.

— Он со мной в одном классе учился,— рассказывал Миша Терехов, который провожал сейчас крохотную вознесихинскую девчушку, потому что вернулся на танцы слишком поздно, когда всех девушек уже разобрали, и ничего — кроме этой — не осталось.

— А интересный он? — полюбопытствовала девчушка.

— На меня похож,— ответил Миша и попытался схватить девчушку в объятия.

— Вот лазопазушник дурный! — закричала девчушка, вскакивая.

— Ну, раскричалась! — Миша встал.— Сама просила рассказать, а как рассказал, дак и кричать сразу. Сама дурная...

Махнул рукой и пошел угонять лодку.

Такой была эта ночь. Потом, когда, много лет спустя, вспоминала Алевтина эту ночь, проведенную в лесу, так и не могла отгадать, что же было в этой ночи такого, что вот уже столько лет до самой маленькой веточки, до самого тихого слова помнит ее и не может забыть...

Долго, долго не кончалась ночь, и только к четырем часам поднялось солнце и в мрачных еловых верхах задрожало чистое утро.

Глава шестая

Ночами было тепло. Нагретые за день заборы и деревья наполняли теплом ночные сумерки, и, может быть, поэтому так много влюбленных было тем летом в поселке. Ночью трудно было найти незанятую скамейку — отовсюду слышались шорохи и голоса.

А днем, когда по раскаленному небу медленно проплывали редкие облака, когда солнце особенно нестерпимо жгло поселок, улицы пустели. Постоянные заберегцы шли на работу, пропадали на пожнях, а дачники с утра уезжали на озеро. Пусто было на улицах, и лишь изредка пробегала по обочине, пытаясь спрятаться от жары, собака.

К вечеру же поселок снова оживал.

Трещали на реке моторки, то и дело звякали задние калитки, и с улицы было видно, как по огородам, над высокими дудками проплывали белые косынки женщин, зубья граблей, косы...

В один из таких вечеров на скамеечке возле своего дома сидел Аркадий Павлович Свиридов и рассеянно смотрел на улочку — она была особенно хороша сейчас.

Рядом с Аркадием Павловичем примостился Ваня Павлович Заморозков и мял в руках недавно купленную шляпу. Они молчали, рассматривая, как невдалеке поселковые ребятишки играют в Савунькина. Какой-то худенький городской паренек, изображая, должно быть, самого Аркадия Павловича, притворно-шумно сопел и все время помаргивал правым глазом.

— Ты вот скажи мне, — тихо заговорил Заморозков.—Вот чего так получается: ведь давно ли еще радовались, что молодежь у нас такая растет. Что сытые они, красивые, образованные... Давно ли надеялись, что все они исправят, что у нас не вышло... А сейчас что? Куды все это делось? Надежды-то куды подевались? Как ты думаешь, а?

— А чего мне думать? — Аркадий Павлович невесело усмехнулся. — У меня сын есть, Алексей. Пускай он и думает.

Заморозков встал.

— Тебе хорошо, — проговорил он. — Дети они, конечно, и есть наши самые главные мысли. Дети да еще работа, может.

— Ты этого,—вставая, чтобы пожать Заморозкову руку, попросил Аркадий Павлович. — Шугани-ка по пути ребят. Чего это они игру такую придумали?

Заморозков отошел на несколько шагов, но остановился. Обернулся к Свиридову.

— Ты надпись-то читал, что на обелиске у канала сделана? — спросил он. — «Петрову мысль Мария совершила», там написано. Вот я и думаю: «Не ведала она, что творила».

Аркадий Павлович засмеялся.

— Иди, — сказал он. — Детей не забудь прогнать.

ЗАСАДА

Как и ожидал Аркадий Павлович, засада не удалась. Клепиков весь вечер провел дома—чинил на берегу мостки, а когда начало темнеть, оделся в кожух и переправился на лодке в мастерские, где работал сторожем.

Аркадий Павлович пил в кубрике на землечерпалке чай, которым его угостили хозяева, и не спеша поджидал, когда нервы у ребят не выдержат.

Недолго и пришлось ждать. Миша Терехов громко засопел и объявил, что ему нужно сходить в туалет. А потому, как Аркадий Павлович сделал вид, что не расслышал, он объявил о своем намерении еще раз и только тогда вышел. Не торопясь, Аркадий Павлович допил свою чашку, а потом: «Покурить на воздухе-то...» — встал. И хотя хозяева отчаянными голосами и предлагали ему выпить еще чашечку, хотя и пытались загородить дорогу, но выбрался он на палубу в самое время— из двери каюты, с плащом в руках, выходил Миша.

— О! — вытирая ладони о штанины сказал Аркадий Павлович. — Плащ?!

— Н-не... — отвечал Миша, чуть заикаясь и отступая назад.

К счастью, более сообразительный механик вырвал у него плащ и сказал, что вот разыскали на пристани и сейчас вот — такой случай благоприятный! — хотели передать Аркадию Павловичу.

— Долгонько вы собирались, ребята... — вздохнул Аркадий Павлович. — Дело-то по этому плащу уже в районной прокуратуре лежит.

И было непонятно: то ли стращает он, то ли действительно правду говорит — крутился Аркадий Павлович, рассматривая плащ, поворачивался к ребятам то одним, то другим глазом.

А потом словно бы и позабыл про плащ. Посмотрел на клепиковский дом и велел Мише садиться в лодку на весла.

Плескалась о борт темная вода, этот плеск убаюкивал сидящего на кормушке Аркадия Павловича.

Зряшное дело Валько затеял. Всегда в Заберегах браконьерили, хоть никогда за это дело по головке не гладили. А он Клепикова вздумал поймать... Да этот черт одноглазый инспекторскую лодку сетями обставит и то не заметишь. Не, пустое это занятие. Тут бы до смысла доискаться надо. До винтика тайного, а что так-то? Только людей смешить, попусту суетиться. Валько, понятное дело, хочется, чтобы просто все было, как в газетной заметке. А разве бывает так? Не... Думать надо. Вон Заморозков, например... Кто он такой? А тоже ведь думает. Тоже пытается жизнь разгадать. Молодежь, говорит... Ну, эти-то, которые с до-войны заведены, они хоть понятные. Дали им квартиры однокомнатные да танцы ихние плясать разрешили, вот и успокоились. А с нынешними как быть? Кешку вот хотя бы взять? В трех институтах учился, чего еще надо? Глупый, говорит, умственная усталость образовалась... Ой-ей-ей... Что этим-то разрешить, чтобы успокоились?

Аркадий Павлович открыл глаза и, поддавшись вперед, буркнул:

— Зачем плащ-то сперли, а?

Миша Терехов сердито рванул на себя весло, и оно сорвалось из уключины.

— А зануда он, понимаете, зануда! — ответил он. — Из-за занудства его и сперли.

— Неужто? — подивился Аркадий Павлович.

Миша оставил весла, придвинулся к Свиридову и, присев на корточки, заговорил быстро и возбужденно:

— Ну, ладно, пускай я дурак и вообще, а он-то, он-то неужели ничего не понимает тоже. Чего на танцы ходит? Стесняются его девки, боятся ходить! Они все у него аборты делали! Как увидят его, хрен чего потом у них допросишься! Я уже и объяснял ему, и просил его, и пугал, а он ничего не понимает. Может, хоть вы с ним поговорите, а то он у нас всех девок так распугает, а?

— Поговорю, — недобро пообещал Аркадий Павлович. — Я вот сейчас с тобой мерзавцем так поговорю, что долго помнить будешь. Ты что это себе придумываешь, а? Тебе в тюрьму сесть хочется?

— Ну и садите, — сердито огрызнулся Миша. Встал, перешел на свое место, рывками погнал лодку к берегу. — Подумаешь, посадите. Ленин вон тоже в тюрьме сидел.

Аркадий Павлович покрутил головой.

— Я ведь с тобой не шутки шучу, — сказал он. — Ты что думаешь, вся жизнь — это девок портить? Ты с отцом ка́к живешь?

— А он ка́к?! — Миша снова бросил весла. — Вы у него не спрашивали, ка́к он живет?! Соседа на сутки сдал! А с домом чего? Я бы как человек мог на той половине жить, а он на квартирантскую двадцатку позарился. Да ну вас всех!

— Значит, порядки свои решил навести? — подумав, спросил Аркадий Павлович. — Ну, тогда слушай меня. Я таких, как ты, за свою жизнь много видел. И вот одну штуку такую заметил... Если опоздают жениться, то и поминай как звали, — пошли по тюрьмам да по колониям. Так что учти это. Я до зимы тебе сроку даю. Зимой сам к какой-нибудь кривенькой сведу и жениться заставлю.

Давно уже уплыла в ночную темень реки лодка, а Аркадий Павлович все еще сидел на самогубовской пристани и, вздыхая, думал о чем-то своем. Потом встал и не спеша побрел по набережной. Здесь он и столкнулся с Прохоровым.

Прохоров продолжал вживаться в народ и, как видно, делал это весьма успешно — еле держался на ногах.

— Аркадий Павлович! — обрадовался он. — А у меня плащ украли. Я у Вени его на время брал, хотел отнести, а его украли.

И растопырил руки, чтобы обнять начальника заберегской милиции.

— Этот, что ли? — уклоняясь от объятий, поинтересовался тот.

— А и пусть украли... — не обращая внимания ни на плащ, ни на вопрос Аркадия Павловича, проговорил Прохоров. — Что мне — жалко, что ли? Я уже решил. Я новый плащ Самогубову куплю. П-правильно?

— Ну уж нет, нет... — встревоженно запротестовал Аркадий Павлович. — Вы придите все-таки в отделение, получите его. Все-таки какая-никакая, а вещь.

— Конечно, я п-приду... — отвечал на это Прохоров. — Мне давно, Аркадий Павлович, с вами по душам поговорить хочется. Т-только, знаете, ведь уезжаю я...

— Куда? — удивился Аркадий Павлович.

— В Шимозеро, — сказал Прохоров и вздохнул. — Вы п-просто не п-понимаете даже, Аркадий Павлович, какие замечательные люди в Заберегах живут. Вот вы знаете, например, не скажу кого? Нет?! Ну вот видите. А я сейчас сидел у него... И, вы знаете, он такое рассказывал о Шимозере... Что был там, понимаете, целый сельсовет, а потом приехали на машинах и без всяких объяснений — всех выселили. Представляете?

— Вы, Евгений Петрович, не с Питерцевым ли в Шимозеро собираетесь? Там же, говорят, военный объект сейчас...

— А вы с-считаете, что если военный, можно народ выселять? — Прохоров пьяно качнулся на Свиридова, и тому пришлось поддержать его. — Только и это неправда. Нет т-там никакого объекта. Пустые деревни стоят... Я хочу сходить сфотографировать все, чтобы все знали... А от кого я п-про эти деревни узнал — не скажу.

Аркадий Павлович усмехнулся.

— Не говорите...

Зря он усмехался. Прохоров сразу обиделся.

— И не скажу! — упрямо повторил он. — Учтите: я никого не боюсь. Д-до свидания.

— До свидания, Евгений Петрович! — сказал вслед ему Аркадий Павлович. — А за плащом все-таки не забудьте зайти!

ЕЛИСТРАТ ПЕТРОВИЧ И КОСМОНАВТЫ

На следующий день вечером по радио передали, между прочим, сообщение ТАСС о запуске космонавтов.

Вернувшийся из больницы Кешка Сутулов слушал радио, сидя во дворе своего дома. Хотя в доме и не было уже дверей, но репродуктор уцелел по той, очевидно, причине, что считался как бы и не вещью, а частью самого дома. Он продолжал работать, пугая глухими вечерами случайных прохожих — жутковато звучали голоса из пустого дома...

Так вот, Кешка внимательно слушал биографии новых космонавтов, а сам наблюдал за Елистратом Петровичем, что, забравшись на крышу, чистил трубу. Тут-то и случилось непонятное. Подскользнувшись, Елистрат Петрович упал и покатился по крыше вниз, но не свалился, а повис, зацепившись пиджаком за крюк, вбитый в стену. Пиджак трещал, Елистрат Петрович схватился рукою за крышу, но подтянуться не смог, продолжал висеть.

Слава богу, что запустили космонавтов. Слава богу, что вернулся из больницы Сутулов. С трудом он снял с крыши соседа, а когда тот оклемался, потребовал у него — в честь спасения — угощения.

— Да ты чего! — закричал, забывая про боль, Елистрат Петрович. — Да кто тебя просил снимать меня?!

Однако трудно было смутить Кешку. Тем более, что он уже давно, целый месяц, не пил, и потому ни капельки вежливости не осталось в нем.

— Да ты чего, Петрович?! Ты еще скажи, что специально повис. Что на космонавта тренировался или йогой решил, например, заняться! Ты сам-то думаешь, что говоришь! Ведь так на всю жизнь и останешься йоговым! Что ты народ наш, Петрович, не знаешь?! Да тебя не

то что на повышение, тебя вообще из школы выгонят. Разве может советский учитель такими делами заниматься? А что дети подумают? Какой ты им пример подаешь? Не, Петрович! Давай уж лучше мы эту историю как несчастный случай проведем. А йогой своей ты где-нибудь, в туалете например, занимайся, если желаешь...

Кешка даже малость охрип к концу речи.

Положение Елистрата Петровича усугублялось еще и тем, что супруга его уехала погостить к дочери в Петрокрепость, а сын Миша, как раз в этот момент появившийся во дворе — он приехал с землечерпалки помыться, — полностью подтвердил справедливость Кешкиных требований.

— Давай, давай, батя! — сказал он. — Не жмися.

— Да денег же нет! — отчаянно воскликнул Елистрат Петрович.

Тогда Миша наклонился к его уху и напомнил о запасах, сделанных к его, Мишиной, свадьбе. Действительно, полгода назад, когда прокатился по поселку слушок о грядущем повышении цен на водку, Елистрат Петрович закупил два ящика на случай сыновьей свадьбы. Ящики эти Миша обнаружил во время той обороны, которую он держал по весне в коридоре...

Деньги тотчас же нашлись. Сожалея, что не осталось самогонки, Елистрат Петрович рассудил, что лучше дать Кешке на вино, чем поить его водкой.

Кешка мигом слетал до продмага, но там встретил хороших друзей, и, конечно же, пригласил и их отпраздновать счастливое избавление от жуткой смерти уважаемого Елистрата Петровича. Во двор Тереховых — у Елистрата Петровича даже потемнело в глазах — ввалилась целая толпа страждущих выразить соболезнования и поздравления заберегцев.

— Не жмися, батя! — успокоил Елистрата Петровича примерный сын. — Чего с судьбой в кошки-мышки играть?

И многозначительно посмотрел в сторону кладовой.

— Правда, не расстраивайтесь, пожалуйста, Елистрат Петрович, — ласково попросил Кешка Сутулов. — Если у нас деньги кончились, то можно кур продать или еще что-нибудь... У меня кокша знакомая на самоходке ходит, так что это я запросто вам устрою...

— Что? — тихо, одними губами, прошептал Елистрат Петрович.

— Ну, не хотите кур продавать, и не надо. Телевизор продадим или еще что... Знаете ведь, Елистрат Петрович, пословицу: деньги навоз, сегодня нет, а завтра воз. Вы плюньте, пожалуйста, на это. Я вот очень вас уважаю. Давайте, Елистрат Петрович, за вас выпьем. А хозяйство у меня тоже было. Застрелили в милиции хозяйство мое. Давайте и за хозяйство выпьемте... Да, да, за то, чтобы в милиции не лютовали так... А можно и поросенка продать. За двадцатку запросто... Что? Ну, мы еще по одной вот, а то все выпьют... Что? Ну, пусть не за двадцатку... За пятнадцать рублей точно возьмут...

Несколько раз ездили в ночной магазин за выпивкой, и продавщице в ту ночь так и не довелось поспать.

К утру Елистрат Петрович наотрез отказался дальше поить компанию.

— Нету денег, — сказал он, — все вы подчистую пропили, гостюшки дорогие.

Кешка пробовал было заикнуться, что можно бы избу сжечь, получить за нее страховку и продолжать пить дальше, но тут его никто не поддержал — большинство гостей и молодой хозяин тоже — уже спали.

А Елистрат Петрович, ни слова не говоря, схватил сработанный еще его отцом табурет и направился к Кешке. Сутулов, впрочем, угадал его намерения — не медля, выскочил за двери, и Елистрат Петрович, так и не нашедший выхода для своего гнева, бросился на улицу

вслед за ним. Долго они бегали по ночным улочкам поселка. Тяжелая болезнь хотя и изнурила Кешку, но бегал он все-таки быстрее Елистрата Петровича.

Порою он даже останавливался и, поджидая Елистрата Петровича, пытался образумить его, напоминал, что Елистрат Петрович ему жизнью обязан и теперь у них, как у «клюжих» людей, все должно быть общее: и страховка, и хозяйство...

— Я ведь понимаю, — сочувственно говорил он, поджидая отставшего Елистрата Петровича. — Ведь, конечно, тяжело будет. Но первое время можете у меня на даче пожить, если она, конечно, вместе с нашим домом не сгорит. Мы же свои люди, Елистрат Петрович! Что я вас на улице ночевать брошу? Зато ведь попьем уж, а? На сколько, вы говорите, мы застраховались?

Были еще силы в Елистрате Петровиче. Словно детский мячик, швырнул он тяжелую табуретку в Кешку, и не сдобровать бы тому, сохранись у Елистрата Петровича прежняя меткость. Табуретка ударилась о валун рядом с Сутуловым и разлетелась на щепки. Щепкой царапнуло Кешку по щеке.

— Убивают! — закричал он, схватившись за щеку. — Милиция! Куда смотрит наша милиция, когда убивают на улице людей?!

А Елистрат Петрович, погоревав маленько о табурете, потихоньку побрел домой. Он и не догадывался, что его ждет там...

Пока бегал Елистрат Петрович по поселковым улочкам за Кешкой, Петя Пешнев отправился искать туалет и по пьянке попал в кладовую, где хранились два ящика водки, купленные для предстоящей Мишиной свадьбы. Пешнев, обрадованный столь счастливой находкой, поделился своей радостью с собутыльниками, и гулянка вспыхнула с новой силой, ибо заберегцы отличались удивительным свойством: засыпали, когда уже все было выпито, и немедленно просыпались, едва снова появлялась на столе дармовая выпивка.

Елистрат Петрович слег.

От болезни его снова спас все тот же Сутулов. Когда он узнал утром о новом несчастье Елистрата Петровича, он так огорчился, что не смог даже допить своей кружки пива.

— Проходимцы! — чуть не плача, ругался он. — Пусти вас в приличный дом, дак вы... А я, — он схватился за голову. — Я денатурат этот проклятый пил...

И так велико было его возмущение бесчинством заберегских пьяниц, что он пошел к Терехову выразить свои соболезнования.

И Елистрат Петрович, только увидев Кешку, — о чудо! — как юноша-спортсмен вскочил со своей постели, и, не выпрыгни Сутулов в окно, не миновать бы ему снова больницы.

Но это будет наутро, а сейчас, расставшись с Елистратом Петровичем, тщетно призывая на помощь запропастившуюся куда-то милицию, брел Кешка по освещенной рассветным светом улочке и тут-то Коммунар Орестович прямо из окна и окликнул его.

— Космонавтов, Иннокентий Алексеевич, запустили! — сказал он радостно.

Коммунар Орестович был не таким уж большим любителем космонавтики, чтобы ночи напролет не спать из-за нового космического корабля, — просто не выдерживали нервы ждать, пока придет, как говорили бабы, Савунькин и убьет его, и ему хотелось сейчас поговорить хоть с Кешкой, ни в милицию, ни в Савунькина не верящим.

— Чего? — не сразу понял Кешка, пребывающий в горестных размышлениях о тщете добрых дел и нерадивости заберегской милиции.

— Космонавтов, говорю, запустили, Иннокентий Алексеевич! — повторил Коммунар Орестович, улыбаясь.

— Вся жизнь запущена! — ответил Кешка и побрел дальше. Но скоро вернулся назад.

— А не знаете, Коммунар Орестович? — спросил он. — Сколько денег этот «Восток» стоит?

— Точно не знаю, — раздумчиво сказал Коммунар Орестович. — Но миллионов, должно быть, много...

— Вот! — горестно вздохнул Кешка. — Так я и знал. А если бы продать его, сколько бы можно было выпить?

Этот неожиданный поворот мысли, существенно расширяющий возможности использования космоса в интересах всего человечества, настолько поразил Коммунара Орестовича, что он предложил Сутулову немедленно прикинуть это на бумаге. Сутулов согласился. Правда, согласился после того, как Коммунар Орестович выставил на стол бутылку денатурата, приготовленную им на случай внезапного появления Савунькина.

ДНЕВНИК ПРОХОРОВА

Прохорова в тот вечер, когда запустили космонавтов, Кешка затащил к Елистрату Петровичу. Ничего страшного с Тереховым не случилось, и сотрясения мозга, которого особенно опасался Кешка, не было, и Прохоров сразу же и ушел на свою половину. Вернее, не ушел, а вырвался. Его не отпускали, а Кешка Сутулов истошно кричал, что это явное нарушение клятвы Гиппократа, что нельзя больного в таком состоянии оставлять без врачебного присмотра. Тем не менее Прохоров вырвался...

Закрывшись у себя, он порылся в бумагах, разбросанных на столе, вытащил толстую общую тетрадь.

Это был его дневник.

Рассеянно — лишь бы убить время! — Прохоров начал перелистывать его, читая свои записи, но скоро увлекся, принялся читать все подряд, взял в руки карандаш, начал подчеркивать слова, иногда целые фразы.

«Народ-то не запретить», — подчеркнул он слова, услышанные им от вознесихинской старушки на приеме, и задумался.

— Народ... А кто, собственно говоря, знает, что такое народ? — пробормотал Прохоров, прислушиваясь к голосам из-за стены.

Мужики, перебивая друг друга, спорили сейчас: от кого ребенок у Терешковой...

И Прохоров хотел было усмехнуться, но что-то вдруг свершилось в нем, ясной сделалась голова. Прохоров еще не знал, что он напишет, но знал, что напишет что-то очень нужное, он перевернул несколько страниц и склонился над тетрадью.

«Что это такое — народ? — писал он. — В каких индивидуальностях может выразиться его существо? Спившийся учитель Вознесихинской восьмилетки — это народ? А может, народ — такие люди, как Заморозков? Может быть, народ — Питерцев? В каждом из них осуществляется какая-то одна грань народного характера. Она и освещает всю их жизнь... Вот Заморозков... Я несколько раз беседовал с ним по работе и, когда он начал рассказывать, какие приспособления можно сделать в палатах, я приятно удивился. Поразительно талантлив русский народ...»

Прохоров на секунду задумался и потом решительно зачеркнул слово «поразительно», а сверху написал: «самородно».

«Я был и на квартире у этого самородка, и ближе познакомился с его жизнью. Ощущение необычности и талантливости этого человека укрепилось во мне. Хотя, конечно, нельзя не отметить и того, что уже сейчас Заморозков душевно болен. Маниакальное ощущение какой-то опасности мучит его, и он спасается от болезни только в оптимистичном смирении своей теории о волновой сущности судьбы человека...»

Карандаш Прохорова легко скользил по бумаге, он исписал уже не меньше десятка страниц и не замечал, как посветлело окно, как распелись в палисаднике птицы.

Прохоров перечитал свою запись: «Заморозков с его энергией и его талантом вытесняется сейчас из поселковой жизни и, не умея объяснить себе эту несправедливость, он и придумал теорию, по которой несправедливость не зависит ни от кого: ни от его начальников, ни от характера самой жизни, она есть как данность, как неизбежность любой жизни вообще. Эта теория освобождает его не только от необходимости бороться, но и от соблазна обозлиться на всех».

Мысль эта Прохорову понравилась. Сущность заморозковской теории, а так же причины, обусловившие ее появление, Прохорову удалось вскрыть глубоко и убедительно.

Уже совсем наступило утро. На хозяйской половине, притихшая было, похоже, снова разгоралась гулянка — слышались неразборчивые выкрики, звон посуды. Конечно, этого не могло бы быть, если бы не уехала погостить к дочери Елена Ивановна. Она живо бы прекратила беспорядки. Но ее не было...

— Ее не было... — пробормотал Прохоров и посмотрел на часы. Ложиться уже не имело смысла. Через полчаса, как и договаривались, должен заехать Питерцев. Но о сие, о Питерцеве Прохоров подумал вскользь — другая мысль занимала его сейчас. Он снова склонился над дневником.

«Я не знаю чего нет... — писал он. — Не знаю, что исчезло в здешней жизни, но чего-то главного нет. Есть талантливые, сильные, смелые люди, есть удивительная, богатейшая природа, но все идет так, словно эти люди живут, мучаясь от собственного таланта, и от того богатства, которое вокруг них...»

В дверь постучали.

— Открыто! — крикнул Прохоров, не поднимая головы от тетради. Карандаш его лихорадочно скользил по бумаге: «Какой болезнью, каким вирусом поражены эти люди? Какая злая сила проникла в них, что живут они, словно бы и не замечая самой жизни?»

Раздалось покашливание. Прохоров поднял голову — в комнате стоял Питерцев и внимательно смотрел на него.

— Ехать пора! — сказал он. — Если не передумано, конешно... Ну и книжек у тебя, Евгений Петрович...

— Я готов! Извините. Заработался тут... — Прохоров посмотрел на раскрытый дневник и встал. — Я ждал вас.

БЕДНАЯ РОДИНА

Было еще рано, и над рекой дрожал зябкий туман. Под ворчание Питерцева Прохоров забрался в моторку, и вот — потянулись ровные километры пути по заброшенному каналу. Деревья, разросшиеся на бичевнике, затеняли канал, и вода в нем казалась совсем зеленой. Каналом почти не пользовались, редко-редко пробегала сквозь зеленую тишину моторка. Слева, за деревьями на бичевнике, светлело бесконечное озеро...

Но скоро Питерцев свернул в заросшую травой протоку, и моторка, вырвавшись из деревьев, заскользила по бесконечному полю. Прохорову казалось, что сейчас лодка обязательно воткнется со всего разгона в берег, но нет! — Питерцев, не сбавляя скорости, уверенно вел моторку по узкой и извилистой протоке. В густой траве, которой поросла болотина, протока была совсем незаметна... Временами, спугнутые, поднимались с воды утиные выводки, временами раздвигалась трава, и чистая гладь лугового озера открывалась глазам. И снова было не-

понятно, как среди огромной воды находил, отыскивал Питерцев щелочку, и снова мчалась моторка то в кустарнике, щелкающем ветками по бортам, то в высокой болотной траве...

Ехали долго, и только к полудню, когда Прохоров полностью потерял ориентировку, Питерцев заглушил мотор, и лодка, пропустив вперед свою волну, мягко уткнулась в заросший травой берег.

— Дальше пешо! — сказал Питерцев, привязывая цепь к стволу больного жучками дерева.

Одуревший от воды, солнца и стрекота моторки, Прохоров вылез на берег.

— А ноги-то не приделают, а? — по-свойски кивая на мотор, спросил он.

— Некому тут ноги приделывать, — глуховато ответил Питерцев.— Одни мы тут...

Прохоров, стоявший в стороне, чуть поежился. Места, действительно, были глухие, дикие... Уже два года он жил в Заберегах, но и догадаться не мог, что рядом есть такое. Осторожно ступая по земле, подошел к кустам и выглянул из-за них — дальше открывалась бесконечная луговина, где гнал ветер травяные волны, и только на горизонте темнел угрюмый гребешок леса... А посреди луговины, сказочным островком, радостная, возвышалась на холмике березовая роща, белели там стены церкви, по склонам холма темнели крыши домов...

Так вот оно, значит, как... Так вот оно какое Шимозеро... Прохоров облизнул пересохшие губы. Кто, кто живет теперь здесь, посреди этой сказочной красоты: бог или черт?

— Родина моя это... — сказал из-за спины Питерцев. Неслышно он подошел сзади и тоже смотрел на деревеньку.

— А красиво у вас, — осторожно сказал Прохоров. — Такая даль... Церковь эта...

— Красиво... — Питерцев косо усмехнулся. — Время сейчас такое, что на церкви лучше издаля смотреть...

Прохоров кивнул, хотя и не понял, о чем говорит Питерцев. А Питерцев уже принялся разводить костер.

— А чего не там? — спросил Прохоров, кивая в сторону Шимозера.

До «тама» еще дойти надо... — ответил Питерцев. — Это кажется только, что близко...

И действительно, после привала долго шли по лесу, шли сквозь кустарник, заглушивший старые делянки, спотыкались о защербившиеся еловые пни и только к вечеру переправились через тенистую речку. И вот — распахнулся перед глазами тихий луговой мир...

Оказалось, что обошли по дуге вокруг, и подошли к Шимозеру с другой стороны. Отсюда поселок выглядел еще красивее... Прямо по пути лежало озеро, и в его прозрачной воде отражалось вечернее небо. На другом берегу шумела над погостом густая зеленая роща. В верхних окошках церкви полыхали багровым огнем стекла.

Обошли озеро и по заросшей травой дороге вошли в поселок. Заухала встревоженная сова. Тяжело хлопая крыльями, она пролетела почти над головами, и снова Прохоров поежился — страшно было здесь... Поселок, когда они поднялись на церковный холм, оказался теперь внизу, и хотя Прохоров и не видел никогда войны, он сразу подумал, что так вот и должно быть после бомбежки. Полуобвалившиеся избы стояли над озером. Они казались еще ниже, чем были, потому что бурьян, заглушивший дворы, пожирал эти избы, и только флюгер, нечаянно сохранившийся в годах, тоскливо дребезжал в высоком небе.

— Ну, вот, значит, и пришли... — сказал Питерцев, и голос его задрожал. Махнул он рукой, сел на трухлявое бревно, пытаясь прикурить, но гасла спичка в дрожащих руках...

— Бедная ты моя родина!

Сколько таких позабытых поселков рассеяно в твоих пространствах. Сколько тебя позабыто, искалечено безвинно в наших железных днях!

Говорил Питерцев...

Жили здесь люди смелые, гордые, и никакого к ним подступу не было, но тогда приехали люди на грузовиках, погрузили в машины всех жителей и свезли на станцию, где уже ждал пустой эшелон. Так и не стало Шимозера. Высаживали из эшелона кого сразу за Уральским хребтом, кого везли чуть не до Комсомольска. Там и потерялись шимозере. Немногие вернулись назад...

— Без меня это было... — сказал Питерцев и затушил папироску, тыкая ее в трухлявое дерево. — Я тогда срок свой тянул, вот и подфартило. А то бы тоже на том свете околачивался.

Бедная родина! Прохоров смотрел на избы, и жутко становилось ему. В этих домах, где все осталось на месте: и столы, и печи, и стулья; где в темных углах заливались тьмою Богоматери и Спасители — кто жил в этих обителях? Что это? — ползло оттуда, дрожало в кустах над озером.

Глубокой ночью, когда заснул Прохоров, Питерцев выбрался из палатки. Оглянувшись по сторонам, зашагал к погосту. Здесь, среди крестов, снова оглянулся кругом, вынул из кармана зеркальце, долго смотрел в него, наведя на небо. Только тени облаков мелькали вначале, плыл туман, иногда ярким светом вспыхивала в зеркальце луна — шевелил тогда Питерцев тяжелыми бровями, но, хоть и болели глаза, не мигая смотрел, и вот — светло стало в зеркальце словно днем, поплыли лица, замер тогда Питерцев, стараясь не пропустить того, которого ждал, напрягся весь, словно коршун. Сдвинул брови.

Не испугался он, когда зашевелилась в стороне земля, не вздрогнул, когда метнулось что-то к кустам, зашумело сухой травой, ломая сучья, пошло туда, в сторону далеких Забереги.

Но вот вылез из палатки Прохоров.

— Где вы? — боязливо окликнул он кладбищенскую темноту.

Вздрогнул тогда Питерцев. Упало из рук зеркальце, брызнуло по сторонам, ударившись о камень, и погасло.

— Ну, чего тебе? — скрипнув зубами, спросил Питерцев. Темный, вышел из ночи и встал перед Прохоровым.

Побелел тот. Задрожали ноги в коленях. Не лицо было сейчас у Питерцева — земля... Отвел глаза Прохоров.

— Я... я, — заикаясь, проговорил он. — Этого... я спросить хотел. Где у вас т-тут в туалет можно...

— Везде можно, — глухо отвечал Питерцев. — Заходи в любую избу и прямо на пол делай.

— Вы не сердитесь, — сказал Прохоров. — Мне сон страшный приснился... Будто иду я по лесу незнакомому, и вдруг деревня... Ну деревня как деревня, только людей нигде не видно. И вот я вошел туда, иду по улице и вдруг, понимаешь, начинаю дома узнавать. Вот сутуловский дом, вот Самогубовых... То есть все Забереги и есть. Только это совсем не Забереги, а лишь дома оттуда. Ну я вспоминаю, что про полигон слышал. Думаю, так оно и есть, свезли сюда дома пустые, построили учебную деревню... А тут следующий наш дом, где я у Тереховых квартирую... И так жутко сделалось. Стою я перед домом, а войти боюсь. И уйти тоже страшно... Тут и проснулся. А вас нет...

— Ложись иди, спи... — проговорил Питерцев. — Не бойся, и никаких снов не будет.

— Да? — глуповато спросил Прохоров и полез назад в палатку.

Устроился поудобнее и скоро заснул, думая о Питерцеве, о деревне, которую заглатывает ненасытный бурьян. Скоро уже все упадет здесь, только волки будут рыскать по старым погостам, выть по ночам над озерами. И далеко будет слышен их вой. Донесется он и до Забере...

А в Заберегах была ночь... По задворкам, мимо ям, тускло поблескивающих дурною водой, сквозь заросли бурьяна и крапивы, к темным, пошатнувшимся заборам Выселок быстро шла огромная женщина, и длиннополая черная юбка развевалась за нею.

Завыл на самогубовском дворе Урван, загремел цепью, но женщина словно и не слышала его. Сторонясь света, схоронилась за банькали, бледной рукой ощупывая закоптелые стены. Потом пошла дальше, просочилась к темной воде реки, села на мостках, щурясь от лунного света, начала смотреть на самогубовский дом. Страшным было ее лицо, покрытое крысиной шерсткой.

И долго в ту ночь выл Урван. Заслышав его вой, заворочалась в постели Вера, опираясь на локоть, приподнялась, посмотрела на часы.

— Что там? — спросил сквозь сон Самогубов.

— Крысы, наверное, с хлебозавода пришли, — ответила Вера. — Слышишь, как Урван воет?

И снова заснули они, а женщина с оловянными глазами продолжала смотреть на притихшие Выселки, выбирая себе что-то... Потом услышала, как заскрипела в тереховском доме дверь, как возникла в светлом проеме фигура человека. Испугалась. Кто-то с ведром шел на берег.

Притворилась дохлой кошкой...

Вышел из темноты Миша. Переступил через дохлую кошку, прошел на конец мостков, зачерпнул воды. Задумался. Потом, как был одет, прыгнул в воду, выскочил тотчас же, схватил ведро и, повизгивая, побежал к дому. Опять сомкнулась темнота.

Снова сидела на пристани...

Расплетала мышиные хвостики косичек, сушила в лунном свете волосы, смотрела на приглянувшийся ей самогубовский дом.

И только когда стало светлеть небо, встала, просочилась на задворки, мелькнула за черными баньками, снова показалась на пустыре, прихватила там дохлую кошку, и все — скрылась в ольховом кустарнике, в дурной болотной воде...

СЕНОКОС

Отец понимал больше, чем знал, а знал куда больше, чем говорил. Лешка чувствовал это и молчаливо улыбался ему, когда мать особенно яростно нападала на отца.

— Сходи в лесхоз-то, — уговаривала она мужа, когда возвращались вечером с пожен. — Пусть простят половину...

Аркадий Павлович только вздыхал тяжело и крутил головой.

— Сами накосим, — отвечал он. — Зря что ли я отпуск брал?

Его твердость и невозмутимость особенно раздражали Серафиму. Обычно спокойная, она вдруг срывалась на крик, начинала вспоминать старые обиды.

— Лешеньку бы пожалел, — говорила она. — Совсем вона парня заездили...

И снова вздыхал Аркадий Павлович. Он тоже видел, как живет Лешка, и не меньше Серафимы жалел его. Каждый вечер уходил сын в Вознесиху и возвращался только на последнем катере или вообще под утро. Аркадий Павлович попробовал было не будить его по утрам, но получилось еще хуже — раз проспав до обеда, сын приучился просыпаться от малейшего шороха...

А Серафима не умолкала... Уже дома, позабыв про недоеную корову, она плакала, выговаривала мужу, что не учится сын в институте, словно и в этом виноват был Аркадий Павлович.

И снова нечего было ответить Аркадию Павловичу. В Заберегах, благосостояние семьи определялось количеством выученных в институтах детей, поэтому обидно было Серафиме, что они младшего, любимого сына выучить как положено не смогли, не вывели, как считалось в Заберегах, в люди.

Понимал ее Аркадий Павлович, только понимал и другое. Года два назад услышал он в столовой разговор Кешки Сутулова о городской жизни...

«Вы думаете, — говорил тот, — ума я набрался в городе? Как бы не так... Блох одних... Три дня потом в бане парился...»

И такую горечь, пробившуюся сквозь обычные Кешкины ужимки, различил тогда Свиридов, что страшно стало ему. Крепким, ой каким крепким надо быть, чтобы к городу привыкнуть. Видел Аркадий Павлович, как возвращаются в Заберегн студенты. Словно сквозь машину всех пропустили, подровняли, подчистили и только тогда выпустили гулять по улицам. И мысли у них какие-то ровные делаются... Одним, конечно, и хорошо это. Как все, так и ты, а тем, которые всегда сами собой пытаются быть? Тем-то каково? И поэтому не убеждал Аркадий Павлович сына, не уговаривал, и, может быть, за это и улыбался ему Лешка, и становилось тогда Аркадию Павловичу легче.

А сенокос получился просто замечательный. Все две недели стояла чудесная погода.

Днем Серафима не ругалась. Тюкала своей косой возле кусточков — глаза, дескать, страшатся, а руки делают, и следом за нею размашисто махали косами мужики.

Славно было на пожнях.

Уполномоченный где-то ловил Савунькина, фронтовой товарищ рыскал по озеру, а здесь — гудела пчелами, пряным разнотравьем пахла вечная земля.

Господи! Да и жить бы так всегда, чтобы идти вперед, размахивая косой, чтобы заливал лицо едкий пот, чтобы впереди ясно и просто, как самая заветная цель, голубел бочажок со студеной водой. Всегда бы и жить так, чтобы и не ты был главным, а то, что движется впереди тебя: коса или плуг, то, в чем никогда не придется сомневаться, как сомневаешься в себе! Жить бы так, чтобы они вели тебя за собою по надежной, веками проверенной дороге...

Так думал и так жил в то лето Аркадий Павлович, и вот — о, это вечное чудо! — поднялись золотистые стога на бедной, кочковатой земле...

А у Лешки голова шла кругом.

За время сенокоса он осунулся, загорел дочерна. Только на минуту забегал домой после сенокоса и сразу в Вознесиху, а оттуда через лес, к развалинам финской лесопилки, где уже ждала его Алевтина.

Густо-синими сделались ночи. Когда заходило солнце, в лесу становилось сумрачно, смолкали в малиннике птицы, наступала на короткое время тишина, но вместе с густой полночной темнотой, ползущей из-за деревьев, раздавались первые ночные крики.

В стороне, на старых болотах, всю ночь плакал, звал кого-то кулик, иногда там страшно ухал филин, и — нет-нет — раздавался смертельный, такой тоскливый, что сжималось сердце, крик незнакомой птицы.

Стояли звездные, теплые, удивительно тихие ночи... Забившись в духоту сарая, слышал Лешка, как шуршал кто-то всю ночь в траве, как кто-то большой, ломая сучья, шел по лесу в сторону старых болот.

Эти ночи, переполненные живущей темнотой, всю жизнь потом вспоминала Алевтина и вздыхала: не будет, больше никогда не будет такого.

Они расставались, когда поднималось солнце и со стороны старых болот медленно расползался между стволами деревьев туман, впрочем, даже и не туман, а так — зеленоватый дым... И Алевтина говорила что-то, но Лешка не слышал ее слов, смотрел на припухшие любимые губы, обнимал Головешкину... Они были одни, совсем одни здесь,

...Но вот и сложили в стога теплое сено. В последний раз пошли на пожни, чтобы загородить стога, и все — кончился сенокос.

Аркадий Павлович отправил Лешку домой, а сам, сказавшись, что надо вырубить удилище, остался возле стогов, смотрел на желтеющую в лучах вечернего солнца стерню и вздыхал. Казалось ему, что кончаются в его жизни, может быть, самые светлые дни...

И случилось так, что выскочил из кустарника заяц, сторожко присел на меже, обнюхивая воздух. Был он совсем близко, и различались даже бусинки его глаз. Вздохнул Аркадий Павлович, и заяц, распластавшись серым пятном, скрылся в деревьях, в которых уже пробивалось сквозь зелень вздрагивающее золото осин.

Кончился сенокос. Угадали в самый раз. Уже к вечеру небо затянулось тучами и зашумел в палисадниках тяжелый дождь...

ЯБЛОНЕВЫЕ СТРАСТИ

Наступил август...

В садах, тесных от травы и разросшихся веток, набухали яблоки. И вот пришла ночь, которой так боялись в Заберегах — всю ночь Шилихе снился царь, а утром она проснулась и увидела в окне пустой, обобранный сад.

Шилиха сидела на скамеечке и, всхлипывая, рассказывала бабам, что чуяла воров во сне, но царь не давал ей проснуться.

— Ро́стила, бабоньки, — голосила она. — Все лето ро́стила, а они даже сучья обломали, шимозеры бессчастные!

Елена Ивановна, прослышав про Шилихино горе, совсем перебралась жить в сад. С котом на коленях она сидела на табуретке под яблонями и ждала воров. Наконец смутные тени мелькнули за деревьями.

— Жадобненькие! — окликнула их Елена Ивановна. — За яблочками пожаловали-то?

— Мы — Савунькин! — грозно ответили ей из-за деревьев, но Елена Ивановна не испугалась.

— Барсик, — сказала она, — а ну, поцарапай их!

Лже-савунькиным послышалось, что на них спускают собаку, и они поспешили скрыться. Сад Тереховых уцелел, но для других хозяев яблоневые страхи сделались еще сильнее.

Мужики посмеивались над этими страхами, у них хватало забот и без яблонь. Неугомонный Валько после неудавшейся засады проехал по реке, и на всех, кто рыбачил продольниками, составили акты.

Вообще продольниками рыбачили в Заберегах всегда, и все смеялись над Валько — тоже вот нашел браконьеров! — но, с другой стороны, акты... Бумага все-таки страшноватая.

Об этом и думали мужики, что сидели на крылечке столовой.

Разговор не клеился.

— Ишь мошка какая, — сказал кто-то. — Едри ее в душу...

— Липке пора бы быть, — ответили из темноты. — А тепло. Вот и нету липки. Вместо ее — мошка.

Августовская темень так плотно облегала поселковые улицы, что даже уличные фонари не могли проломиться сквозь нее — шага на три под фонарем было еще светло, а дальше снова неразличимо скрывалась дорога.

Мужики сидели на крылечке, и с дороги было видно только, как разгораются маленькие огоньки папирос.

— Обидно, конечно... — вздохнул Веня Самогубов, который, вместо того чтобы устроиться в рыбинспекцию, сам залетел с продольниками. — А с другой стороны, девочки, техника такая сейчас, что только волю нам дай, и плотвички худой через год не заудите.

— Это да... — согласно закивали ему. — Народ теперь такой, что полное отсутствие совести намечается.

— Ага! — ехидно сказал Петя Пешнев. — Вас послушаешь, мужики, так можно сказать, что вы по радио выступаете. Ишь какие сознательные стали. Вот впаяют вам по четвертаку штрафу, тогда будете знать, как философию разводить.

Заморозков, сидевший тут же, на крылечке, даже заерзал, так захотелось ему поговорить.

— Я вот чего, мужики, думаю... — сказал он. — Напрасно вы собачитесь между собой. У нас ведь чего не сделаешь, а все равно это на других отзовется. Вот нам бы и не ругаться, а понять это надо, чтобы не мучиться... А то выходит, что у меня одна правда, у тебя — другая, у третьего — тоже своя имеется, а когда сложишь их между собой, уже и не правда, а хрен знает что получается. Зыбь какая-то...

— Тебе одно, Заморозков, надо... — сказал Пешнев. — Чтоб все по волнам качались. Вот тогда бы ты счастливый был...

— Я про другое говорю... — нахмурился Ваня Павлович.— Счастье тут ни при чем. У нас такое счастье, что если оно для тебя счастье, то другому обязательно боком выходит. А настоящее счастье, которое никому не во вред, может, раз в миллион лет и бывает при нашей-то жизни.

— А чего ж делать тогда?!

— А что ты сейчас делаешь?

— Так ведь пью, Заморозков, помаленьку.

— Ну вот и дальше пей!

— Целый миллион лет пить?! — в притворном ужасе Петя Пешнев схватился за голову. — Дак ведь водки-то столько для меня не заготовить. Разве только все стиральные машины в мире мобилизовать!

— Да ну тебя! — сказал Заморозков. — Балаболишь, сам не знаю чего...

Но его уже никто не слушал. Посмеиваясь, мужики начали вставать. Вот ведь, тоскливо всем было, тревожно, а развеселились все. Долго еще слышно было, как посмеиваются мужики над Пешневым, расходясь по домам.

— А ты-то, Иннокентий, — спросил Заморозков, когда они остались на крылечке одни. — Ты-то что, тоже про стиральные машины думаешь?

— А чего я? — отозвался Кешка. — Я и не думаю ничего, уже три дня, как пить бросил. Только вот, знаешь, не нравится мне твое рассуждение. Счастье... При чем тут, мешает оно кому или не мешает? Был у меня, например, козел. Ну, приду я к нему, обниму за шею. «Борис Григорьевич, — скажу, — Борис Григорьевич...», и знаешь, легче становилось. При чем тут общесть твоя? При чем миллионы лет?

— Прав ты, Иннокентий, — вздохнул Заморозков. — Только ведь я про другое. И ты прав, и я прав, и все правы, а если вместе, то наша жизнь и получится... Потому как главного не понимаем. Ни ты, ни я, никто не понимает. Поодиночке живем.

Может быть, один только Самогубов и не посмеялся тому, как ловко отшил Заморозкова Петя Пешнев. Последнее время Самогубов ждал чего-то. Чего? Этого он и сам не знал, но ждал, совершенно точно ждал. Хотя и не ладилось с совместительством, ощущение приближающихся радостных перемен не проходило...

Вернувшись домой, он попробовал было почитать газету, но читать не хотелось, и он несколько раз прошел по комнате из угла в угол, потом полез в шкаф, где на верхней полке хранились охотничьи припасы.

Самогубов поставил на столе маленькие аптекарские весы, настроил их, насыпал на чашку пороха, чтобы сделать мерку, — ружье было новое, и он еще не привык к нему.

Над столом ярко горела стосвечовая лампа, и в комнате, даже в

дальних углах, было светло. В открытой двери, на кухне, возилась с посудой Вера.

— Ты бы солью патрон зарядил... — попросила она. — Вчера воно опять лазали!

— Еще чего, — буркнул Веня. — Ружье портить.

Брякнула в сенях дверь.

— Кого еще там несет? — всполошилась Вера.

Дверь открылась, и на пороге возникла фигура Аркадия Павловича Свиридова.

— Можно? — пригибаясь в дверях, спросил он.

Аркадий Павлович зашел к Самогубовым по делу. Не дожидаясь Прохорова, он решил отнести плащ прямо хозяину — Вене Самогубову.

— Вот, значит, и плащ... — сказал Аркадий Павлович, расправляя его на свету.

— И вы с ним мучитесь? — удивился Веня. — Да его выбросить и еще раз плюнуть.

— Тебе только выбрасывать все! — забирая у Аркадия Павловича плащ, сказала Вера. — Он еще почти и неношеный.

— А! Нужен очень этот плащ, — презрительно сказал Веня.—Мне, может, казенный выдадут. Чтобы народ штрафовать сподручнее было.

— Идешь, значит, в совместители? — спросил Аркадий Павлович.

— Иду... — закручивая пыж, сказал Веня. — Только я пока сам в браконьерах числюсь. Он на меня тоже акт составил, с продольником поймал...

— Я ему говорил про тебя... — растерянно сказал Аркадий Павлович. — Может, и возьмет... Он вообще-то ищет человека. А ты чего? На охоту собираешься?

— Да... Надо сходить бы завтра...

— Прошу вот, — сказала Вера, — солью хоть один патрон зарядить...

— А что?

— Да яблоки же воруют!

— А-а... — сказал Аркадий Павлович и встал.

— Во, народ, а? — Веня тоже встал. — Они из-за кислятины этой удавиться готовы.

— Ага, — ответила Вера. — Кислятина... Если бы до половины октября провисели, так и не кислые бы были.

— Я вам милиционеров пришлю, — улыбнулся Аркадий Павлович. —А плащик, значит, у вас останется. Вот расписочку, пожалуйста, что нашелся.

Самогубов засмеялся и подписал бумажку.

— Ну, так давайте чайку, — сказал он.

— Не... — Аркадий Павлович надел фуражку. — В другой раз.

— Вы в темноте-то аккуратнее, — посоветовала Вера, провожая Свиридова на крыльцо. — Не ушибитесь.

— Ничего, — уже из темноты отозвался Аркадий Павлович. — Не страшно...

А ночь была темная-темная. Мимо, по реке, с приглушенным мотором прошла самоходка. В темноте она сливалась с рекой, и только огни — зеленый на мачте и желтые в каютах — выдавали ее движение.

Уже с дороги Аркадий Павлович обернулся на самогубовские окна. Веня убирал со стола патроны. Потом потянулся, прошел по комнате, наконец выключил свет. Аркадий Павлович вздохнул и зашагал по дороге в поселок.

А Вера долго еще стояла в желтом проеме двери и смотрела на сад. Когда она вернулась в дом, муж уже спал.

Веня спал, и ему снилось то далекое и счастливое время, когда приехал сюда после речного училища и так же вот лазал по садам за яблоками. С оттопырившейся на животе рубашкой возвращался к реке,

и из темноты блестели ему девичьи глаза. А потом долго сидели на берегу, морщась, грызли кислые яблоки и целовались.

Вера посмотрела на спящего мужа, и ей тоже захотелось спать. Она разделась, потушила свет и на кухне, но не легла, присела к окну. Ей тоже припомнилось то время, когда вот такими же ночами сидела с Самогубовым на берегу реки, морщась, грызла кислые яблоки и целовалась.

Подперев ладонью щеку, она замечталась. Взошла из-за туч луна, и деревья в саду засеребрились.

Вера вздрогнула, когда пошевельнулась ветка и из густой темноты выступила на лунный свет фигура человека.

«Пароходные!» — Вера испуганно вскочила. Бросилась будить мужа, но передумала. Схватила ружье и выскочила с ним на крыльцо.

— Ага! — закричала она. — Попались!

И так вскинула ружье, что стволы его зловеще сверкнули в лунном свете.

— Ай! — закричали из сада. — Не стреляй, тетка!

Послышался треск сучьев, чьи-то тени метнулись к невысокому штакетнику.

— Ага! — прокричала им вслед Вера. — Вот сейчас как дам дуплетом, чтоб у вас яйца на луну улетели! Привяжу потом по яблоку — идите свататься!

Потом, когда исчезли грабители в ночи, вернулась домой. Улыбаясь, села на кровати.

— Слышь! — сказала она мужу, когда тот сонно заворочался. — За яблоками лазали...

— Да? — не просыпаясь, переспросил Веня. — Ну ладно, я тоже.

Вера засмеялась и поцеловала его. Муж видел сейчас сон про кислые яблоки.

— Слазай, — сказала она, забираясь под теплое одеяло.

Глава седьмая

Медленно несут свои воды уставшие за лето реки, и темнеет к концу августа вода в них...

Ночью опять пошел дождь, и Аркадий Павлович проснулся от его шума. Встал, неодетый сел к окну. Неохотно светлело небо, но дождь не прекращался. «Видно, теперь на весь день», — подумал Аркадий Павлович и потянулся за папиросами. Как раз в это время и зафыркал под окнами газик.

Распахнулась дверка, и из машины выскочил уполномоченный по Савунькину. Поддерживая рукой ворот плаща, он прыгал по двору через лужи. Аркадий Павлович торопливо набросил на плечи китель и пошел открывать.

— Поймали?

По лицу уполномоченного стекали дождевые капли, но он, казалось, не замечал этого.

— В городе взяли поганца такого!

— Фу! — сказал Аркадий Павлович. — Слава те, господи...

А уполномоченный все еще продолжал говорить, и Аркадий Павлович, добродушно прищурившись, дивился на него: куда только исчезла летняя самоуверенность? Впрочем, тут же одернул себя, представив, что пережил за эти полтора месяца уполномоченный, и зябко передернул плечами.

— Чайку? — спросил он, но уполномоченный отрицательно покачал головой.

— Не, — сказал, — мне еще в райотдел надо успеть.

А сам продолжал сидеть посреди кухни на табуретке. Дождевая вода прозрачной лужицей скапливалась возле ботинок.

— Ну, вы не забывайте нас, — протягивая руку, сказал Аркадий Павлович. — Вы приезжайте к нам рыбку половить, а то, знаете, сейчас не то впечатление от поселка...

— Не забуду, — засмеялся уполномоченный. — Я ваших мест, черт подери, никогда не забуду.

Снова зафыркал под окнами газик, уполномоченный уехал.

Аркадий Павлович выглянул в окно, и — надо же! — разорвалась на небе мутная пелена, и сверкающей синевою хлынул на землю солнечный день.

Совсем весело стало Свиридову. Замурлыкал, достал из комода пистолет, сел к окну, чтобы почистить его.

Лешка проснулся от голосов на кухне. Полежал еще в кровати, но спать больше не хотелось, и он встал. Сегодня он, как и отец, выходил на работу — отпуска у них закончились в один день.

Одевшись, Лешка вышел на кухню. Покосился на разобранный пистолет, усмехнулся — было у отца смешное обыкновение чистить по праздникам оружие. Хотел спросить, что сегодня? Потом передумал: мало ли память какая, которую и он должен бы помнить... Достал из холодильника молоко, сел завтракать.

— На работу? — спросил, не отрываясь от дела, Аркадий Павлович.

— Ну! А тут приходил кто?

— Приходил... А что, разбудили?

— Нет, — Лешка пожал плечами. — Чего же? Все равно на работу.

Было еще рано. По тихим, сверкающим дождевой водой улочкам Лешка добрался до мастерских. Там, конечно, никого не было, только на ступеньках конторы сидел, обнимая ружье, сторож Клепиков. Он дремал, завернувшись в тулуп.

Лешка оглянулся кругом, но клепиковской овчарки нигде не было видно, и тогда он на цыпочках подкрался к Клепикову и вынул из его рук ружье. Отошел на несколько шагов и, вскинув вверх, выстрелил из обоих стволов.

Словно подброшенный пружиной, вскочил Клепиков. Неизвестно: то ли мил-друг Питерцев привиделся во сне, то ли, может, в Лешкином лице ему что померещилось, только заметался он, пока заливистый хохот не вернул его к действительности.

Клепиков зло сплюнул и сел на ступеньки, вытащил что-то изо рта.

— Детство в яйцах играет, да?

— Да не бери ты в голову! — Лешка сел рядом с Клепиковым. — Ты не подумай, что я напугать тебя хотел... Просто отпуск у меня кончился. Надо же салют организовать по такому поводу.

— Салют, салют, — проворчал Клепиков. — А у меня вона протез из-за тебя сломался. Что я теперь делать буду? Ведь с голоду, парень, помру.

— Какой протез? — осматривая Клепикова, поинтересовался Лешка. — Вроде у тебя все протезы на месте.

— Зубной... — Клепиков показал лежащую на ладони челюсть. — Видишь, зуб отстал?

— Так давай приварю, — легкомысленно предложил Лешка.

— Трепись больше, — угрюмо проворчал Клепиков и хотел было убрать челюсть, но Лешка выхватил ее.

— Да точно тебе говорю, приварю...

Потом, когда Лешка уже прикручивал к баллонам манометры, он пожалел, что хвастанул так, но отказываться было поздно, и он решительно чиркнул спичкой, разжигая горелку.

— Испортишь, так ухи оборову! — бубнил рядом Клепиков, а Лешка прикинул, что если чуть-чуть подогреть зуб и совсем осторожно проволочку, то, пожалуй, и выйдет... Убавив пламя, он осторожно придвинул к зубу синий клинышек.

— Это тебе не труба... — слышал он еще клепиковский голос, но вот: время остановилось. Медленно-медленно росла крохотная, скорее угадываемая, нежели видимая ванночка, потом — также медленно — пламя само передвинулось к проволочке и сбросило крохотную каплю металла в ванночку. Лешка отвел от работы пламя.

— ...какая-нибудь, а зуб человеческий, — закончил свою мысль Клепиков.

Лешка вытер со лба пот — за эту секунду он вспотел так, словно тащил на себе ацетиленовый баллон с другого конца поселка.

— Готово! — сказал он. — Носи, Клепиков, на здоровье.

— Готово? — удивился Клепиков и схватил челюсть. — Да ты ж ювелир, парень!

Он медленно всунул челюсть в рот и пощелкал зубами...

— Точно — ювелир!

К обеду вся мастерская знала о зубе Клепикова, который все еще не уехал домой, заставляли поминутно открывать рот, засовывали туда грязные пальцы и щупали зуб. Вероятно, некоторые делали это только потому, что лестно было подержать палец во рту знаменитого гангстера, но Лешкиной славе это, разумеется, не вредило. Тщательно ощупав клепиковский зуб, рабочие шли к Лешке, чтобы — «Молоток!» — хлопнуть его по плечу. Плечо начало болеть.

Так проходил первый после отпуска рабочий день Лешки.

А часам к трем появился в мастерских Заморозков. Он катился, загребая воздух руками, а за ним, словно на буксире, двигалась полнотелая Шилиха. Замыкал же шествие конюх Петя Пешнев.

— Вот, — сказал Пешнев, забегая вперед Заморозкова. — Оградку просит пенсионерка соорудить.

— Да уж,— запричитала Шилиха.— Не откажи, милой... Тесно на кладбище-то делается. Боюсь, как бы мое место не заняли.

— Сделаем, бабка, — заверил ее Пешнев. — Точно по твоим габаритам и сделаем. А может, на всю фамилию, если хочешь?

— Да уж лучше на фамилию... — проговорила Шилиха и смолкла. — Только вот...

— А чего вот? — Пешнев засмеялся. — Полсотни дашь, и никаких «вот» не надо...

— Да ты чего? — Шилиха вытаращила глаза. — Ошалел? Креста на тебя нету.

— Нету, красавица, нету, — ответил Пешнев. — Атеисты мы. И ты бы, чем Бога вспоминать, лучше политэкономию бы почитала. Трубы-то, думаешь, валяются? И глаз пялить нечего. Мы тебе их, может, ниже цены продаем. Против совести прем, державу грабим.

— А, лембуй бы тебя... Державу приплел. Совести нет — пенсионерку обирать.

— Все столько платят, — сказал Заморозков. — Цена-то известная.

Шилиха задумалась. Действительно, это она в точности знала: за оградки платили пятьдесят рублей.

— Ладно, — вздохнула она. — Заплачу́. Только вы уж ее солнушками сделайте. Жалостливее солнушками-то.

— Можно и солнушками... — согласился Пешнев. — Заморозков,

конечно, волнами бы сделал. Но раз ты солнушками заказываешь, значит, будут тебе солнушки. А хочешь, так и подсолнухами изобразим. Прямо из могилы семечки клевать будешь.

И он хлопнул Шилиху по заду.

— От, бесстыдник, — замахала она руками, — Лукерье все расскажу.

— Гы-гы-гы... — сказал ей вслед Пешнев и повернулся к Лешке.— Слышал? Водка-то, говорят, опять подорожает.

— Ну? — сказал Лешка.

— Вот и «ну» будет, как подорожает,— передразнил его Пешнев и, наклонившись, прошептал на ухо:— Как ты думаешь, волнений не произойдет?

— Это ты у самого себя спроси, — сказал Лешка. — Иди давай, за прутьями... Куда они у тебя запрятаны?

Петя ушел добывать прутья, а сидевший рядом на бухте с проводами Заморозков сказал:

— Во, живем! Как в сказке... Правильно Кешка говорит — все наперед знаем, что будет... И живем!

И зачем-то поднял вверх указательный палец.

С оградкой провозились до вечера.

Потом погрузили ее на Андромеду и повезли на кладбище.

Поставили оградку, сели покурить.

К вечеру поднялся ветер, сгибал траву на могилах, шумел в верхушках кладбищенских деревьев.

С кладбища возвращался Лешка вдвоем с Заморозковым. Пешнев, чтобы не ехать порожним рейсом, остался в лесу — нарубить кольев.

Дорога с кладбища круто спускалась вниз, и с вершины пригорка хорошо было видно весь поселок: крыши домов, мачты антенн, вылинявший флаг над поселковым Советом и черную трубу зареченского лесозавода. Отсюда, с пригорка, когда вышли из леса, торжественно и далеко открылся берег озера со светлыми пятнами луговин и само озеро. По озеру шла самоходка, и шла, наверное, полным ходом, но отсюда, издалека, казалось, что самоходка неподвижно замерла, словно бы влитая в этот пейзаж.

Багровели в лучах заходящего солнца крыши поселковых домов — перехватило у Лешки дыхание: сколько раз он видел это? бесчисленно... Но всегда казалось, что — в первый и последний раз...

ВЕРА

Вера еще раз перечитала повестку... Все правильно — ее мужа вызывали в нарсуд, вызывали в качестве ответчика.

«Что он еще натворил?» — подумала Вера. Последние дни Веня и правда стал каким-то странным. То сядет угрюмо и сидит, а то вдруг начнет насвистывать про своего кондуктора, который все ждет и ждет кого-то... А кого ждать? Надо придумывать, как теперь жить дальше... Раньше все-таки он получал больше двухсот, она — сто двадцать, на троих и хватало, можно было не экономить. А теперь? И у нее меньше выходит, а про мужа и говорить нечего. Ставка диспетчера сто рублей в месяц, и живи тут, как хочешь.

Вера пыталась объяснить мужу, что теперь придется поэкономнее жить, но он, едва разговор заходил о деньгах, хмурился.

— Ты не кусай, мама, пальцев! — строго сказала Наташа. — Тетя Нина Марусина говорит, что ногти от этого портятся.

— Не буду, — Вера погладила дочку по голове. — Ты у них гостила-то?

— Ага... Собираются уже.

Вера вздохнула. Вот ведь тоже забота. Просится Наташка отпустить с теткой, посмотреть город, и Нина Марусина согласна вроде бы взять Наташку, да только ведь хоть и на дорогу, а тоже денег нет — совсем нищими стали.

Деньги, завернутые в носовой платок, лежали в комоде. Вера пересчитала их, хотя точно знала, что там двадцать девять рублей. Так и было — двадцать девять. Не богато... Если двадцать Наташке дать, останется всего девять. Можно занять, конечно...

— Я за молоком пойду! — ворвался в эти размышления голос дочери.

— Погоди... — перекладывая на столе рубли и трешки, проговорила Вера. — Не пришла еще корова.

— Да, наверно, пришла...

— Сядь, тебе говорю, ерунда такая! Сейчас папа придет, обедать сядем.

Нет... Ничего не получалось. Занять нетрудно. Только с чего потом отдавать?

Наташа шмыгнула носом, но поставила бидончик на пол, подошла к окну и принялась — вот ведь тоже нашла себе игрушку! — пересыпать из одной стеклянной банки в другую жучков-короедов.

Может занять все-таки? В сентябре можно клюкву походить побрать. Может, будут ее в этом году принимать?

Хлопнула дверь.

Вошел муж. Покосившись на деньги, хрипловато сказал: «Дай-ка трешницу!» — засмеялся деланно, засунул бумажку в карман. Двадцать шесть рублей осталось.

— Вень... У нас ведь денег совсем нет...

— А это что? — муж кивнул на стол. — Не деньги? Да... — Веня погладил прильнувшую к нему дочку. — Наташка в город просится. Что ты жадничаешь? Пускай съездит девка.

— Так ведь денег нет... В будущем году съездит...

— Ага — в будущем... — заплакала Наташа. — У нас в классе уже все по два раза в городе были, а я опять: в будущем году...

— Ну, доченька... Что же делать, если у нас совсем денежек нет...

— Заладила! Деньги-деньги! В деньгах что ли счастье? Подумаешь! Вон, как Кешка говорит, деньги навоз. Сегодня нет, а завтра — воз.

— Давай обедать будем... — устало сказала Вера.—Я суп сварила.

Бесполезно было и заводить этот разговор. Если и закричать сейчас, все равно никто ее не услышит, ни до кого не докричится она...

— Тебе там повестка в суд... Чего они, ошалели совсем?

— Это за продольник... — Веня шумно подул на ложку. — Привязался этот придурок на реке, будто я сетку закинул. Да ты не волнуйся. Ничего страшного. Рублей двадцать пять штрафу дадут, и пускай они ими подавятся.

— Двадцать пять?!

— Да что ты, в самом деле, заладила про рубли! — Веня бросил на стол ложку. — Только и разговору у тебя про эти деньги несчастные!

Лицо его стало злым, чужим.

Он встал из-за стола.

Прошел в комнату и там засвистел: «Кондуктор не спешит, кондуктор понимает...»

Вера заплакала.

Самогубов перестал свистеть. Снял с гвоздя фуражку и направился к двери.

Вера проглотила слезы.

— Садись... — сказала. — Суп-то остыл совсем.

— В столовой перекушу! — ответил Веня. Как будто по щеке ударил — так ответил.

— Постой! — проговорила с трудом. — Сядь.
Он хохотнул неприятно, но испугался.
— Чего говорить-то? Ну, говори.
А Вера и сама не знала, что говорить. Не говорить же о том, что сама не понимает: откуда в ней появилась за это лето такая скучность, что выть хочется...
— Зачем ты меня мучаешь?
На тонких, красиво очерченных Вениных губах мелькнула усмешка.
— А ты не мучаешь меня? — Он зло прищурился.— С этими своими деньгами — не мучаешь?
— Так ведь жить-то надо, Веня...
— Ну и живи! — совсем чужими стали глаза.— Что мне, задавиться теперь из-за твоих денег?
Снова заплакала Вера.
Снова засвистел Самогубов про кондуктора, который не спешит, который все понимает. Наверное, минута прошла. Вера подняла голову, сквозь слезы посмотрела на мужа. Чужой, совсем чужой человек стоял и смотрел на нее в упор.
— Все сказала? Ничего не забыла?
— Все... — Вера вытерла слезы и как-то мельком подумала, что она, наверное, сходит с ума... Что она делала? Зачем? Он же уходит от нее, навсегда уходит! — Помнишь, Веня, как я любила тебя? Я все мечтала тогда, чтобы спился ты, чтобы ногу тебе отрезали, только чтобы не смотрел на тебя никто. Такая глупая была...
Вера говорила быстро, словно стремилась нагнать уходящего куда-то далеко-далеко мужа. Но он уходил быстрее ее слов. Совсем далеким стало его лицо. Совсем чужим.
Сказал, словно бы сглатывая слова:
— Так, значит, не подхожу, значит, без денег? Такие дела, значит, девочка?
Вера видела в окошко, как вышел он на улицу. Жалко стало, захотелось бежать следом, но не успела... Расправил муж плечи, сдвинул на затылок фуражку, снова, должно быть, засвистел про кондуктора, пошел прочь.
И кого тут жалеть?
Уронила Вера голову на кухонный стол, захлебываясь слезами.
— Мам! — Наташа осторожно погладила ее волосы. — Ну, не плачь, а... Совсем я и не хочу в город ехать, если у нас с денежками не получается...
Еще горше стало от такого утешения.

ЛОВЛЯ САВУНЬКИНА

В пятницу должен был состояться суд над заберегскими браконьерами, и накануне Аркадий Павлович долго не ложился спать.
Вот и кончилось лето... Еще эта нелепая комедия суда, затеянного Валько, и считай, что все... Савунькин пойман. Клепиков с Питерцевым больше не стреляются, плащ Прохорова разыскан, Сутулов вылечен, пристань уплыла в город, но как-то все устроились и без нее, вроде бы собираются строить цеха... Все налаживалось само собою.
«Что ж... — Аркадий Павлович усмехнулся, вспоминая слова Заморозкова,— жить можно, только привыкнуть трудно. Да. Трудно, конечно... Но ведь привыкли. И это хорошо, правильно.
Аркадий Павлович вздохнул, снял очки и, заложив ими страницу, отложил книгу в сторону. Надо спать. Завтра хлопотный день.
Выключил свет.
Ничего, все нормально. Кончилось лето, а там спокойнее, там разъедутся отпускники, тихо снова будет в Заберегах. Лежанку топить будут, хорошо станет. Спокойно. Даже и непонятно, чего же он струхнул так этим летом? Впрочем, чего же не понять — старость.

«Ох-хо-хо...» — вздохнул Аркадий Павлович и заворочался в постели.
Только к утру забылся он нехорошим сном.
И странно было. Кто-то ходил весь сон с топором, с которого — красная — стекала кровь.
«Топорик-то откуда?» — поинтересовался Аркадий Павлович и попытался заглянуть в глаза этому, с топориком.
Только у того и глаз не было...
— А оттуда... — загадочно отвечал безглазый и исчезал — жутко и страшно исчезал.
Судорожно дергался Аркадий Павлович в постели, пытаясь выдернуть из кобуры свой, ненужный в Заберегах пистолет.
Таким и проснулся.
В окошко стучали.
Аркадий Павлович вскочил с постели и бросился к окну. Там стояла Шилиха.
— Поймали Савунькина! — крикнула она. — Поймали разбойника!
— Да ведь давно уже поймали, едрит вашу мать!—закричал Аркадий Павлович, но Шилиха не слушала его.
— Везут уже... — убегая со двора, крикнула она.
Торопливо натянув штаны, на ходу застегивая китель, бежал Аркадий Павлович к паромной переправе. И только там, на причале, до отказа забитом заберегцами, сообразил, что уехал уполномоченный и никого, кроме него, не предупредил, что не надо больше ловить Савунькина. Вот они когда начали работать, фотографии! Нехорошо стало на душе у начальника заберегской милиции, снова обильным потом набух воротничок рубашки...
Паром двигался еще на середине реки, и в ожидании его собравшиеся деятельно обсуждали вчерашнюю новость: буфетчица Дуська Савунькина обварила кипятком Коммунара Орестовича.
По словам Лукерьи, дело это случилось так: Коммунар Орестович, измучившись ждать Савунькина, пошел к Дуське, и предложил ей выйти за него замуж, но Дуська отказалась и даже более того — облила невинного директора школы кипятком.
— Вот ведь стерва, а! — воскликнула Лукерья.— Ведь ёй даже с женой сулился развестись! А она?!
Не все однако соглашались с Лукерьей.
Шилиха, например, прямо обвинила во всем Коммунара Орестовича, что, дескать, тот решил еще напоследок перед смертью побаловаться, но Дуська решительно отказала ему, а когда Коммунар Орестович полез в окно, облила кипятком.
— Ну и правильно сделала! — сказала Шилиха и поджала губы.— Чего, если у ее сын — фулиган, так и с ей можно все делать? Матерь за сына не ответчица...
— Правильно, правильно, — закивали, соглашаясь с Шилихой, другие старушки. — У ее, небось, на окнах красных занавесок не повешено, чтобы ходить к ей...
Трудно пришлось Лукерье.
Озираясь, увидела она в толпе мужиков своего мужа — Петю.
— Да вот же, — выдергивая его на середину причала, закричала она. — Он ведь все видел, не даст соврать.
Пешнев действительно сидел вчера в столовой, когда туда пришел Коммунар Орестович. И действительно видел, как директор школы, наливая себе кипятку из титана, обварил руку. Об этом, собственно говоря, он и рассказал вчера своей уважаемой супруге. Но объяснять все это сейчас Пете совсем не хотелось. Ему ничего не хотелось сейчас, кроме как опохмелиться, и он ничего не говорил, только почесывался и, ухмыляясь, рассматривал спорящих баб.

— Да чего его слушать-то! — сказала Шилиха. — Чего он знает, кроме пьянки? Вчера с меня писят рублей содрал за оградку.

— Че-е-во?! — Лукерья сделала шаг к Шилихе, но Аркадий Павлович решительно заступил ей дорогу.

— А ну, по местам, бабоньки! — скомандовал он, и Лукерья ворча отступила назад.

Из-под руки стала она рассматривать приближающейся паром.

— Везут фулигана, — прокомментировала она. — Ишь, и связанный. Сопротивлялся небось.

Паром был уже близко, и там, в кузове машины, действительно что-то сидело. Рядом, с обнаженным наганом, стоял Жиганов.

Паром только ткнулся в причал, а Аркадий Павлович уже вспрыгнул на палубу и, сжимая кулаки, направился к заместителю.

— Савунькина поймали! — выпрыгивая из машины, отрапортовал тот. — Скрывался под именем Лукерьина племянника, а я Ваську, должен сказать, очень хорошо помню. Никакого сходства. И внешность другая, и возрастом, должно быть, побольше будет.

Очень хотелось Аркадию Павловичу обматерить Жиганова, при всем народе, обматерить, но сдержался. Просипел: «Убери наган-то!», заглянул в кузов.

Дело, между тем, принимало весьма неприятный оборот. Лукерья подошла к машине.

— Никак, и вправду Васька, — сказала она, таращась на племянника. Как-то странно было ей видеть в кузове на месте долгожданного Савунькина своего родного племянника. — А где Савунькин-то?!

— Васька-Васька, — передразнил ее племянник. — Что вы все тут, с ума посходили?

Лукерьина племянника можно было понять. Часа два назад он сошел с поезда и, не дожидаясь рейсового автобуса, вскочил в попутку. По дороге он рассказывал Коле Рощину разные небылицы и, как видно, весьма преуспел. Перепуганный Коля отмалчивался всю дорогу и только настороженно косился, а когда проезжали через Вознесиху, подкатил прямо к дому Жиганова. Вместе они и скрутили незадачливого рассказчика.

Лукерья раскрыла рот и несколько времени стояла так, похожая на какую-то диковинную рыбу, а потом...

— Люди добрые! — завопила она. — Да что же это делается-то?! Ишь каку силу шимозеры забрали, что людей хватают!

— Э! — сказал Аркадий Павлович, деланно улыбаясь. — Ты не шуми, пожалуйста, Луша. Видишь, ошибка вышла. Больно уж на Савунькина твой племянник похож!

Веселым глазом смотрел он на Лукерью, а зря... Не стоило шутить-то.

— Я не пошумлю тебе, — запинаясь от возмущения, закричала Лукерья. — Да я в Москву поеду, к Брежневу пойду, чтобы на тебя, шимозера, управу найти.

— Бабка! — весело подзуживал Лукерью Коля Рощин. — У тебя ведь и денег небось не хватит, чтобы в Москву съездить?

— Да чтоб у тебя карбюратор отсох! — ответила ему Лукерья. — Что вы думаете, если я простая уборщица, так, значит, и племянников моих хватать можно?!

Неожиданная подмога явилась Аркадию Павловичу в лице Лукерьиного мужа.

— Ну-ну! — прикрикнул Петя на супругу. — Ты чего кричишь-то, а? Чего кричишь на хорошего человека? Он, может, ночей не спит, может, он полбутылки мне поставить хочет, а ты кричишь! — И мутными с перепоя глазами уставился на Свиридова. Тот кивнул.

— Ну, вот! — обрадовался Пешнев. — А ты кричишь... А ну, марш домой, дура такая!

Коля Рощин даже застонал при таком повороте дела.

— Да за что тебе поллитру-то?!

Пешнев грустно посмотрел на него.

— За поп-ра-ни-е че-ло-веко-о-бра-зи-я, — по слогам проговорил он. — Вот за это, значит, самое.

ПЛЕМЯННИКИ

В мастерских сегодня давали получку, и после обеда работы там прекратились сами по себе. Вернулся домой и Лешка Свиридов. Он хотел хоть ненадолго заснуть, но пришел отец с пьяными Пешневым и Жигановым.

— А я, Петро, вот и не признал твоего Васюху, — каялся Жиганов. — Ваньку-то я хорошо, ой, хорошо помню. Любит выпить, только уж очень образованный.

— Да! — подтвердил Пешнев.—Тот образованный. Дальше некуда. На философа кончает учиться...

— Ишь ты... — уважительно сказал Жиганов. — Гегелем станет...

Петя не стал спорить.

— Может, и Гегелем, — легко согласился он.—А может, и в райком куды положат.

— Я помню его, — заговорил было Жиганов, но снова Пешнев перебил его.

— А письма-то, — загудел он. — Ты знаешь, какие он письма пишет? Что ты! Без словаря и не разобрать ничего. Все время иностранным словарем пользуемся. Так и называется — словарь иностранных слов. Библиотекарша воно уже милицию грозилась за ним послать. А как мне без словаря? Кешке бутылок-то не наставишься.

— Дак а вы бы свой завели словарь,—посоветовал Аркадий Павлович.

— А где купить-то? — горестно спросил Петя. — К нам в магазин они не поступают. А библиотекарша зря лается. У их три словаря таких есть. Один Коммунар Орестович держит, ну, ему, ладно, ему положено. А другой Фридман заныкал... Этому-то зачем словарь? Может, у него тоже философы знакомые есть? С кем он там по-иностранному шпарить будет? Пускай с его высуживают, а мы как помрем, так сразу словарь в целости и вернется в библиотеку.

— А умный он, Ванька-то... — снова вставил свое слово в разговор очнувшийся от дремоты Жиганов.

— Ух, умный какой... — Пешнев вздохнул. — Слова по-простому не напишет. Ты, говорит, дядя Петя, это про меня значит, экилектик. За всем, дескать, свой интерес только и видишь, а Лукерью цицероном забeрегским величает. Не знает только, что Лукерья так нацицеронит, хоть в лес потом от нее сбегай. Но ум есть, ум-то, понятное дело, чувствуется.

— Потом-то, значит, по партийной части пустят? — уязвленно спросила Серафима.

— Да ведь должно быть... — Пешнев почесал в бороде. — Пишет, что инструктором или... Вот из головы вылетело. Ну, должно быть, секретарем, раз не инструктором...

— Да, — уважительно сказал Жиганов. — Важный у тебя племянник будет.

— А как же! Выучили. Бились с Лукерьей как проклятые, а племянников выучили. Потому как весь смысл жизни в их видели.

— Наш-то, — тяжело вздохнула мать, но Лешке совсем неинтересно было слушать, как она будет жалеть его, и он, схватив пиджак, выпрыгнул в окошко.

Идти к Алевтине было еще рано, и он потихоньку пошел по берегу реки к переправе.

«И чего они привязались? — хмурясь, подумал он. — Ну, не маленький ведь. Знаю сам, как жить...»

ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА

На пустыре за парикмахерской, возле деревянной катушки из-под проводов, сидели на пустых ящиках Кешка Сутулов и Ва Павлович Заморозков. Они что-то переливали из маленьких пузырьков в поллитровую банку. Издали все это походило на детскую игру в магазин.

Времени было еще достаточно, и Лешка подошел к ним.

— Хочешь с нами в компанию? — спросил Кешка, не отрывая глаз от банки, в которую сливал Заморозков содержимое пузырьков.

— Не-е, — Лешка покачал головой.—А ты ж, говорят, пить бросил?

Кешка задумчиво посмотрел на него.

— Хороший ты парень, Лешка, — тихо и проникновенно сказал он. — А только и тебя обманули. Садись лучше с нами. Если одеколону не любишь, так у нас и политура есть.

Лешка засмеялся, а Ваня Павлович поднял голову и поверх очков серьезно посмотрел на него.

— Ты не смейся, — попросил он. — От смеху одеколон может испортиться.

Лешка засмеялся еще громче — ну, невозможно было не смеяться, глядя на грустное Кешкино лицо. Сутулов смотрел на него и печально качал головой.

— Что, Кеша, загрустил? — поинтересовался Лешка. — Опять козла своего вспомнил?

— О козле, Леша, даже женщины на картинах плачут, — назидательным и скорбным голосом сказал Кешка. — Вот ты зайди в столовую, поинтересуйся. Висела там одна. Сейчас ее Дуся в кладовку спрятала, но тебе покажет.

— Зайду, — пообещал Лешка.

Уже на пароме, он снова вспомнил о Кешке и о Заморозкове и вздохнул: чудные люди...

Паром сильно сносило течением. Выехали на фарватер, и река раздвинулась, направо — неоглядная — открывалась даль озера с темнеющим на рейде дымком буксира.

Странно было смотреть на Забереги с реки. Низенькие домишки, выцветшие пристанские склады... Что еще? Еще моторки, бегущие вдоль низких берегов к озеру. Позабытость, бедность...

И эти люди на пустыре...

Ну что ж делать? Жизнь, такая жизнь...

Кроме Лешки, переправлялся на пароме еще Коля Рощин со своим грузовиком.

— Вот черти! — пожаловался он. — Утром в райцентр ездил, а сейчас снова едь. В Петрозаводск. Да что ж такое? Утром назад возвращаться?

— А у меня одноклассник живет в Петрозаводске, — задумчиво разглядывая берег, сказал Лешка. — Обещался к нему в отпуск приехать, а нет... Не получилось с сенокосом...

— Так давай со мной поехали! — предложил Коля. — У него и заночуем, а вечером, в воскресенье, назад?

— Не, — Лешка покачал головой. — В другой раз.

— Да ну тебя, — обиженно сказал Коля. — Поехали...

Но так и не уговорил парня.

Едва стукнулся паром о причал, сорвалась Колина машина, понеслась, поднимая пыль, по Заречному тракту.

Свернул Лешка от пыли в лес. А здесь уже совсем наступила осень... Лесное озерко, мимо которого бежала тропинка, было засыпано желтыми листьями, и в заволокнутых травой затонах кричали, предчувствуя скорую — завтра открывалась — охоту, утки.

АЛЕКСЕЙ ДА АЛЕВТИНА

Головешкина ждала Лешку у развалин старой финской лесопилки, где сохранился только леспромхозовский сарай да цементный фундамент пилорамы, заросший розовыми цветами иван-чая и белыми, гибкими стеблями лесной малины. Место было совсем дикое, даже грибники не заглядывали сюда, и поэтому-то и выбрали его для свиданий наши влюбленные.

И ходить было удобно. Алевтине — вдоль запущенной узкоколейки, а Лешке — напрямик с Заречного тракта.

Догорал день в малиннике, из кустов тянуло душным теплом и запах иван-чая густыми волнами шел по вечернему воздуху. Алевтина сидела спиной к тракту и что-то пела. Когда хрустнула под ногой ветка, она обернулась и стремительно, с еще непогасшей на губах песней, встала навстречу.

— Ты пришел...

— Пришел...

И уже поздно вечером, когда горели над развалинами лесопилки колючие звезды, показалось Лешке, что вся предыдущая жизнь и была для этого лета.

Они лежали на сеновале и в прорехи крыши было видно небо, лунный свет снопами врывался под крышу, серебрил сенную пыль. Совсем близко сорвалась звезда, упала за деревьями в старые болота, погасла там в горьковатой, сухой траве.

— Ты загадал что-нибудь? — спросила Алевтина, и Лешка подумал, что ничего, ничего не хочется загадывать сейчас, лучше уже не будет...

А когда рассвело, он пошел провожать Алевтину, довел ее до осинника и там отстал — хотелось посмотреть на дерево, которое он недавно разыскал здесь, — самое высокое в здешних краях.

Алевтина ушла, а Лешка долго еще стоял, задрав голову, смотрел на вершину, стремительно несущуюся в рассветное небо...

ЗАБЕРЕГСКИЕ РЫБОЛОВЫ

Долго бушевали страсти в тот вечер в здании заберегского клуба. Долго не мог народный судья уяснить себе причину обвинения. Дело в том, что по правилам рыболовства была запрещена ловля на перемет. Но обвиняемые дружно отрицали свою причастность к переметам — они удили только на продольники.

Народный судья лениво перелистал книжку «Орудия рыбного лова», которую захватил из города, и, конечно, не нашел там описания продольника.

— Нету продольников, — сказал он. — Так у вас называются переметы.

Тогда на сцену поднялся главный теоретик заберегского рыболовства Коммунар Орестович. Облокотившись забинтованной рукой на трибуну, — обварил ее кипятком в столовой — он заявил, что продольник является разновидностью донной удочки и встречается только у заберегских рыбаков. Он описан лишь в одной, к сожалению, пока неопубликованной книге, автором которой оратор имеет честь быть.

Далее Коммунар Орестович начал пересказывать свое сочинение, и неизвестно, сколько времени продолжалось бы это, но судья догадался заглянуть в книгу «Орудия рыбного лова».

— Ну, что вы говорите?! — рассерженно перебил он заберегского теоретика. — Тут черным по белому написано, что донная удочка имеет два-три крючка, а у вас... — судья заглянул в акты. — У вас от восьми до двенадцати.

— Не в крючках дело, гражданин судья! — подняв вверх палец, сказал Коммунар Орестович. — Дело в принципе. Перемет ставится поперек реки и преграждает путь всей рыбе. А продольник ставится вдоль реки, и, чтобы заловить на него хоть одну рыбину, надо проявить немалое искусство. Поэтому-то и следует считать продольник спортивным орудием лова.

Зал дружно зашумел, выражая свое одобрение.

После получасового совещания суд вынес решение, из которого явствовало глубокое понимание законов диалектики и которое в корне разрушало рыболовную концепцию Коммунара Орестовича. Продольник, имеющий менее десяти крючков, был признан донной удочкой, а имеющий более десяти крючков — заклеймен званием перемета.

— А как же я? — спросил, поднимаясь со своего стула, Елистрат Петрович Терехов. Его продольник имел десять крючков.

После непродолжительного совещания был оправдан и он. В звании браконьера остался один Веня Самогубов. Это было тем более обидно, что любой пацан в Заберегах знал: восемь или двенадцать крючков на продольнике — в принципе, безразлично.

Весь красный, Самогубов стоял посреди зала и вертел в руках бумажку, по которой был обязан внести в сберкассу штраф — двадцать пять рублей. Но не штраф заботил его. Большие деньги — двадцать пять рублей. Плевать он хотел на этот штраф... Нет. Заботило другое. Теперь уже точно придется расстаться с мыслями о должности рыбинспектора, с теми мыслями, к которым он так привык за лето... Теперьто Валько уже точно не возьмет его на работу. И Самогубов шагнул было к сцене, чтобы объяснить судье, рассказать по-человечески, что лишние два крючка он привязал по глупости — некуда было деть их. Ведь это так просто!

И, может быть, и подошел бы Самогубов к судье, и объяснил бы, и судья раздвинул бы размеры продольников до двенадцати крючков... Все могло быть, но тут случился скандал.

Валько — его колотило от возмущения! — поднялся на сцену и, указывая на Клепикова, во весь свой неприличный голос заорал на судью:

— Вот кого посадить надо было, разявы!

Гремя орденами и медалями, Клепиков вскочил.

— Меня?! — вращая своим единственным глазом, выкрикнул он. — А это дерьмо шимозерское... — он кивнул на Питерцева. — Его что?! Если ты с ним вместе рыбачишь, так его и прикрывать можно?!

Вскочил и Питерцев.

— Да таких, как ты, в Шимозере из глины лепили! — закричал он.

Началась сутолока.

Столик с судьей сдвинули куда-то в угол, все сгрудились на сцене, махая руками, крича, хватая друг друга за грудки...

О Самогубове все сразу позабыли. Он засунул в карман бумагу и вышел на улицу. Он не пошел домой, сразу направился к лодке, в носовом отсеке которой была закрыта пол-литра и ружье — Веня собирался сегодня на охоту.

Мотор застрекотал, и лодка мягко устремилась в ночную темноту. Где-то на середине реки Самогубову захотелось закурить и он полез в карман за сигаретами, нащупал пальцами исполнительный лист, удивленно — что это? — вытащил из кармана, потом вспомнил и снова обидой скривилось лицо. Сам не понимая, что делает, швырнул скомканный листок в воду и на четвереньках полез в носовое отделение за бутылкой. Тут же в лодке и выпил ее одним духом, не чувствуя горечи. Моторка ткнулась в берег, Самогубов размахнулся и — вот вам! — швырнул о камни бутылку. Брызнуло по сторонам стекло.

Хмель навалился сразу.

Веня шел сквозь лес, спотыкаясь о корни, падал, вставал, шел напролом, грудью ломая ветки.

Господи! Зачем хлещут по лицу колючие ветки, зачем ночь и темень вокруг, зачем земля выскользает из-под ног, а? И этот лес пройдешь, и буреломом, но откроется ли, откроется ли ясная даль? Господи...

К утру Самогубов опомнился.

Лес стоял кругом. Он был незнаком. Он был исхожен вдоль и поперек с ружьем, но таким страшным Веня его не помнил. Он заблудился. Только к рассвету удалось выйти к старым болотам. Отсюда уже рукой подать до Заречного тракта.

Что ж? Видно, прав Заморозков, прав, и ничего нет, кроме волн. Что ж... Надо жить и так.

Самогубов вздохнул и вдруг противно задрожали колени — чуть в стороне различил он пробирающуюся сквозь кустарник фигуру. Савунькин!

Самогубов испугался было, но вдруг озаренно догадался, что это и есть его шанс, его спасительный шанс, та удача, которую так долго ждал он! Нет, Веня не упустит шанс, он поймает, приведет в поселок опасного преступника, поймать которого не могут и милиционеры. И пусть тогда Валько попробует не взять его на работу!

Самогубов еще не успел додумать до конца свою мысль, а сам, хоронясь за кустами, начал скрадывать расстояние, чтобы внезапно вырасти на пути беглеца и пленить его. И было уже совсем близко, совсем рядом было, когда Савунькин вдруг, по-видимому, почувствовав погоню, неожиданно метнулся в сторону. И Самогубов понял, что — еще мгновение — и уйдет он в старые болота, этот великолепный, быть может, самый последний шанс отличиться...

Веня вскинул ружье и мягко нажал на спусковой крючок.

Так бывает на осенней реке, когда моторка, сворачивая с быстрины, на полном ходу влетает в тихую заводь, и вспугнутые утки, тяжело махая крыльями, еще бегут по зеркалу воды, но уже гремит выстрел, и, не успев ни нырнуть, ни взлететь, покачивается мертвая птица на поднятой моторкой волне.

Как эта птица, упал на осеннюю землю Лешка. Он сделал еще один шаг, ломая грудью густой ольшанник, но он уже был мертв... Он умер, не успев понять, что умирает, не успев испугаться смерти.

Только через три часа возвращающийся из Петрозаводска Коля Рощин заметил пиджак, нелепо чернеющий в придорожных кустах, и привез Лешку в Забереги...

ПЛАЧ

Странный наступил день. Еще не успел причалиться паром, а уже распространилась по поселку недобрая весть. Скорбно закричала «Лиза Чайкина» и, покачнувшись на волне, побежала вниз к Вознесихе, тревожа утреннюю реку горьким криком.

И даже у оравнодушевшего ко всему Клепикова потекли из единственного глаза слезы. Щупая языком приваренный зуб, весь день просидел он на мостках возле дома и бултыхал железной ногою в воде, не замечая, что она ржавеет.

— Зачем, зачем ты стоял, сыночек, над темной водой! — плакала, заходилась в крике Серафима. — Зачем, когда прикипело, сыночек, твое сердце к глухой полночи, к черным сентябрьским ночам?

А Аркадий Павлович не кричал, не плакал. Он был спокоен и только как-то нехорошо задумчив. Он выполнил все дела — отправил в райцентр на экспертизу тело, сходил в мастерские и заказал гроб, дого-

ворился о могиле. Но все это время не уходила, не пропадала мысль, что случившееся — это просто расплата.

«Расплата... — думал он и тряс быстро седеющей головой. — За все расплата».

Ближе к вечеру привезли Лешку из райцентра назад. Лукерья, которая обмывала всех заберегских покойников, пришла и к Свиридовым. После она сидела на кухне и пила чай.

— А погода-то вон какая славная! — говорила она. — Аккуратный был парень, аккуратно и похороним... А Веньку-то, убивца, говорите, так и не нашли?

И хотя Аркадий Павлович ничего не говорил про Самогубова, не удивился он вопросу. Покачал отрицательно головой. Нет. Не нашли Веньку. Отыскали на той стороне самогубовскую моторку, а самого, нет, не нашли.

— Цветы-то вынести бы надо... — покачав головой, сказала Лукерья. — Покойники-то портятся от цветов.

А ее мужа постигло в этот день горькое разочарование. Опомнившись, Петя первым делом побежал к Шилихе, чтобы стребовать с нее Лешкину долю. Шилиха, однако, была осведомлена о поселковой жизни не хуже Пешневых, и наотрез отказалась платить Пете.

— Я за его, горемычиого, лучше помолюсь... — сказала она. — А оградка, которую он старухе сделал, зачтется ему.

— Да где зачтется-то?!

— Там зачтется, где уж нам с тобой точно не встретиться! — ответила Шилиха и захлопнула дверь.

Пешнев, испытывая прилив атеистических сил, изматерил на чем свет стоит и Шилиху, и Шилихины молитвы, но так ни с чем и отступился.

ПОХОРОНЫ

Хоронили Лешку воскресным утром. Неяркое солнце сияло в чистом небе, и лучи его высветляли и серые лица заберегцев, и невзрачные домики.

И не было никакой тягости, словно собрались все не на похороны, а на воскресную прогулку.

Хрипел магнитофон Миши Терехова. Мишу пытались было урезонить, но он отвечал: «А любил покойничек музыку!»—и от него отступились.

А Прохоров и сегодня сумел попасть в мучительное при его-то совестливости положение. Он пришел к Свиридовым, чтобы выразить Аркадию Павловичу соболезнования, но тот не понял его, подумал, что Прохоров пришел за плащом... Свиридов вытащил даже зачем-то расписку, подписанную Самогубовым, и сказал, что самолично отнес плащ, сам заходил к Самогубову, он тогда еще патроны сидел заряжал. Вот и расписка, пожалуйста...

«При чем тут плащ?» — хотел спросить Прохоров. Он совсем не за плащем шел к Свиридовым! Но объяснить это Аркадию Павловичу Прохоров не сумел. Спрятав расписку, тот, кажется, и позабыл про Прохорова.

Прохоров пожал плечами и вышел на улицу.

— Чего ж неловко? — сказал ему Жиганов, которому пожаловался Прохоров на недоразумение. — У нас, в органах, работа такая. Хошь в беде, хошь в горе, а все равно нам на посту стоять положено. На службе то есть находиться. Благополучие, мать вашу, охраняем. Чего ж... Тебе надо, вот ты и спросил про плащ... Все законно. Не имеем права расписку не предъявить...

Не по себе стало Прохорову от такого утешения.

Он вернулся домой и попробовал было закончить описание Шимозера, но, полистав дневник, понял, что про Шимозеро ему не хочется сегодня писать... Перевернув несколько листов, он написал: «Сегодня убили сына начальника поселковой милиции — Лешу Свиридова, красивого, молодого парня... Я хорошо знал его... Он был похож на... — Прохоров задумался, кусая карандаш. Потом дописал, — ... одного моего хорошего товарища. Мы как-то сразу, только я приехал в поселок, сошлись с ним... И вот его-то и убили... Отец парня, кажется, сходит с ума от горя. Я зашел, чтобы выразить свои соболезнования, а он начал говорить про плащ, который украли у меня на танцах. Плащ — не мой. Плащ этот — самогубовский. Того самого человека, про которого все говорят, что это он убил Лешу...»

Прохоров хотел записать и слова Аркадия Павловича, что тот занес плащ Самогубову, когда... когда тот сидел и заряжал патроны, но карандаш задрожал в его руке... Прохоров встал, не видя ничего, — на ходу он задел плечом за стопку книг, и книги посыпались на пол,— прошел к окну, застыл там, боясь пошевелиться, боясь додумать до конца открывшуюся ему мысль...

А Аркадий Павлович и позабыл уже о Прохорове. Изредка он взглядывал на лица людей, заполнивших комнаты, — они туманились... И, досадуя, Аркадий Павлович вертелся на стуле — все лица были немного похожи на сыновье, но Лешкиного нигде не было. И все время думал Аркадий Павлович о расплате. Она рисовалась теперь его уму в облике все новых и новых Савунькиных, бегущих откуда только можно бежать... Что-то страшное происходило с ним.

«Может, это не Лешка? — думал он и украдкой приподымал уголок покрывала.— Нет... Леша... Он...— но через минуту снова: — Может, не он?..»

Насилу увели его с кладбища, но скоро он снова ушел из дома.

Пригибаясь, прошел под окнами, огородом выбрался на пустырь.

Легкий ветер клонил пожелтевшую траву, в синеватых вечерних сумерках дымились кустарники, лес, топографический знак в лесу...

С двух сторон пустырь был выгорожен заборами домов по Береговой и Кладбищенской улицам, в конец которой и бежала до последнего камушка знакомая тропинка. Сколько раз было хожено по этой тропинке на сенокос! А с двух других сторон пустыря — только кустарник, переходящий в мелкий лес. Там стоял топографический знак, и все — дальше, до самого Ленинграда, тянулась пустая, бесчеловечная жизнь с торопливо вырубленным лесом.

Аркадий Павлович думал, что он пройдет тропинкой на кладбище, но пошел зачем-то к кустарнику, где поблескивал неяркий огонь костра.

Но и к костру не стал подходить. Остановился, из-за кустарника наблюдая за людьми. Это были Заморозков и Кешка Сутулов, а с ними еще какой-то незнакомый, удивительно похожий на сына парень.

— Каждый на своем месте, каждый делает, что должен делать, — глуховато заговорил Заморозков. — И вместе они круг, и никуда из круга, из волны этой, не денешься.

— Да, — отвечал ему незнакомый парень, — вырубили леса, вот и не стало Лешки.

Стараясь не зашуметь, обошел Аркадий Павлович костер и еще успел услышать, как забулькало разливаемое в стаканы вино и Кешка Сутулов сказал негромко:

— Не то нынче стало «Южное» вино.

И кто-то откликнулся ему Лешкиным голосом:

— Не то...

Аркадий Павлович не оборачивался. Налетел ветер, и тревожно зашумели деревья в лесу — туда и уходил Аркадий Павлович, хоронясь за кустами.

ЭПИЛОГ

Откричали, отголосили над Заберегами перелетные птицы. Уже совсем наступила осень, и поминальными свечками отгорели на краю поселка осины. Паутинка, промерзая на заре, становилась прозрачней и легче. Дымкою затягивало озерные берега.

В один из осенних дней уезжала в Ленинград Аля Головешкина. Провожал ее причесанный, облаченный в отглаженный костюм, совсем не похожий на прежнего Кешку, — Сутулов.

Они стояли у тонких перил, и ветер с озера раздувал волосы Алевтины.

— Зачем ты уезжаешь?—спрашивал Сутулов. — Оставайся, а?

Только покачала головой Головешкина.

Сутулов помог занести на теплоход чемодан и уже собрался уйти, но на перроне столкнулся с Прохоровым.

— Ты что, уезжаешь?! — вытаращился тот.

— Я? Ну, конечно, я уезжаю! — обрадовался Сутулов. — Ты знаешь, Прохоров, ты за домом моим приглядывай, а если хочешь, то сам и живи.

Он успел вбежать по трапу на теплоход, и через минуту Прохоров увидел его на верхней палубе.

— Скажи, чтобы документы выслали! — крикнул он. — На главпочтамт, до востребования...

Совсем пусто стало в поселке.

Недели через две после похорон — ходили бабы за клюквой — нашли в старых болотах тело Вени Самогубова. Видно, бежал он напрямик, увяз и захлебнулся в тинистой воде.

А начальник районной рыбоохраны Валько влип по осени в такую историю, что и врагу не пожелаешь.

Дело было так. Не щадя ни времени, ни здоровья, Валько из ночи в ночь караулил Питерцева и наконец укараулил. В рассветных сумерках увидел он, как грузится Питерцев в лодку и отплывает в озеро.

Опыта Валько хватало. Неслышно подобрался он к браконьерской лодке и накрыл субчиков с сетками в руках. Только Питерцева почему-то там не оказалось. В лодке сидел перепуганный Фридман и какой-то незнакомый Валько человек в кожаном пальто.

Валько не первый раз брал браконьеров. Ни крики, ни угрозы не испугали его, и он доставил браконьеров в Забереги. И даже когда увидел, как испуганно вытянулось лицо у нового начальника заберегской милиции Жиганова при виде человека в кожаном пальто, все равно ничего не понял и составил акт по всей форме.

А между тем весть, что инспектор заловил какого-то бобра из обкома, уже облетела Забереги. Фридман, как вы сами понимаете, был тут лицом эпизодическим, и он вроде бы и не пострадал. Бестолковые бабы из нарсуда умудрились потерять составленные Валько акты, и дело замяли. Тем более что самого начальника районной рыбоохранны отправили на пенсию, чему все заберегцы, с несвойственным им злорадством, шумно порадовались.

А тем временем и последние отпускники разъехались.

По вечерам повадился ходить к обелиску, что стоит возле канала, Заморозков. И случайный прохожий мог слышать его пьяные речи: «Петрову мысль Мария совершила... Эх, Мария, Мария! Не ведала ты, что творила...»

Глухая осень наступила в поселке.

И всю осень шуршали на Лешкиной могиле бумажные венки, а металлические медленно ржавели.

ПОЭЗИЯ



ГЕННАДИЙ СТУПИН



ДНИ НЕЗАКАТНЫЕ

* * *

Мглисто небо перед утром в феврале,
И земля под ним пустынна и темна...
Что за время на родной моей земле?
Незнакомо все в угрюмой полумгле,
Свет неверен и обманна тишина.

Что за тени по низинам там снуют?
Что за звуки долетают сквозь туман?
То в нужде и горе жившие встают,
Безутешно опочившие поют,
И росою, как слезой, блестит бурьян...

Что за свет потусторонний, неземной
На востоке из-под низких туч горит?
То ли брезжит жизнью новою, иной,
То ли бредит ночью ядерной, зимой —
Ледяной, он ничего не говорит.

Чутко город в тесноте, в обиде спит.
Глухо спит, как будто вымерло, село.
И во сне зубами пьяница скрипит,
И безмужняя жена в окно глядит...
Ночь проходит, но еще не рассвело.

И таится цепко сутемь по углам
И жует, глотает судорожно свет.
Истекает сон с дурманом пополам,
И огни бессчетных вывесок, реклам
Истончаются, болотные, на нет...

Отдыхают истощенные поля,
За заводом просыпается завод...
Вся израненная русская земля
Развидняется во все свои края
И зовет богатырей своих, зовет...

В предрассветной застоялой полумгле
Свет упорен и сурова тишина...
Что за время на родной моей земле?
Что так ясно в полуяви-полусне
Вспоминается ли, грезится ли мне
После ночи нескончаемой без сна?..

✦✦✦

СТУПИН Геннадий Леонтьевич родился в 1941 году в городе Аткарске Саратовской области. Служил в армии, работал каменотесом, охотоведом, грузчиком, кочегаром. Автор поэтических книг «Тени тихие по полю» и «Ясная моя судьба». Член Союза писателей СССР. Живет в Наро-Фоминске.

Видение

Ночи-то стали темные,
Долгие и холодные...
Как-то теперь бездомные,
Бездельные и безродные?

Что они думают, странные,
От счастия отлученные,
Глядя в поля туманные,
Глядя на тучи черные?

Холодно им и долго
Под низким протяжным небом,
На целом свете — не дома,
С полной свободой — без хлеба.

Видно, случилось что-то,
Что больше им не нужны
Дом, и семья, и работа,
А милостыни — страшны.

Пойти, умолять вернуться
Под крыши, в тепло, в уют —
Ни словом не отзовутся,
Лишь в темноту уйдут.

Не проблеснет зарница
В ночи глухой и немой,
И мне не спится — все мнится:
Ходят они за стеной...

Рушится дождь. И ветер
Выдавливает окно...
Долгая ночь на свете.
Холодно. И темно.

Дурак

Напился Иван и свалился
От скуки в глубокий овраг.
Но вылез и похмелился.
А что ему станет? Дурак.

В красивую Ваня влюбился,
Она ему: как бы не так!
Он взял тогда и удавился.
Спасли, оклемался дурак.

На нищенке Ваня женился,
И ей подарил он пятак.
И женушкой очень гордился.
Известное дело, дурак.

Детишек они наплодили.
И жили они натощак
И еле одеты ходили.
А он улыбался, дурак.

Все с Ванею водочку пили,
А как доходило до драк,
Всегда выходило, что били
Его, потому что — дурак.

Пошли у Ивана внучата
Курносые — целый косяк.
И все как один дурачата.
Силен был, однако, дурак.

Всё грузчиком Ваня работал,
Ворочал мешки, как ишак.
И грыжу себе заработал.
И рано он помер, дурак.

Без музыки похоронили.
И, выпивши, Ванин шуряк
Гвоздем написал на могиле:
«ЛИЖИТ СДЕСЬ ВИЛИКИЙ
ДУРАК».

* * *

Веет снежная дымка
С темнотой пополам.
Спит народ-невидимка
По стандартным домам.

Спит. И птицею-тройкой
Никуда не летит.
Утомлен *перестройкой,*
Как убитый он спит.

Сон о мертвом тиране
Не свербит ему глаз.
И, литовцы-армяне,
Ваш далек ему глас.

Погруженному в сонность,
Ему невдомек
Ни *московская новость,*
Никакой *огонек.*

На трибуны и сцены
Не глядят его сны.
Как на зелие цены —
И на хлеб не страшны.

Всех витий и пиитов —
Как метелицы визг.
Между *сои* и *спидов*
Спит, измотанный вдрызг.

И сквозь снежную замять,
Что вовсю шебаршит,
Не докличется *память*
До храпящей души.

Ни на что не надеясь,
Ни назад, ни вперед,
Спит великий мой демос,
То бишь русский народ.

К телевизору задом,
Где беснуется *рок,*
Спит ногами на Запад,
Головой на Восток.

И покуда не утро,
И будильник молчит,
Поступает он мудро,
То есть попросту спит.

Он устал, ему рано
Надо завтра вставать.
Так что лучше не надо
К нему приставать.

Все совиное племя,
Все смутьяны и власть,
Не будите, не время,
Дайте выспаться всласть.

Клоп, что кровушку тянет,
Ерихона ль труба...
Сам он, выспавшись, встанет,
И на место всё встанет.
А иначе — труба.

* * *

Я долго спал и все заспал.
Проснулся: в мире тишина,
И матовая белизна,
И заснежённый чер отал...

И в нем, осколками зари,
Отряхивая снег с ветвей,
С хрустальной песенкой своей
Перетекают снегири...

И, неподвижны и темны,
На белом рукаве реки
Как будто дремлют рыбаки..
В подводные уставясь сны...

И разбрелися далеко
За белой кисеей зимы
Дома, деревья и дымы,
Забывшиеся глубоко...

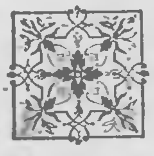
Все точно так же, как тогда,
В счастливых отроческих снах,
В благословенных тех краях
В те незабвенные года!

Ужели это здесь, сейчас,
В районе новом под Москвой,
Где я пока еще живой,
Но век не открывал бы глаз?

Где у последних рыбарей
Вовсю клюет один ротан,
И в реве трассы чернотал
Давно не слышит снегирей.

Я все заспал и резко встал.
И поплыло́ передо мной
Видение земли родной,
А типовой исчез квартал.

Как будто бы уже я там,
В тиши родных моих степей,
Душой измученной своей
Уже для незакатных дней
От этой бренной жизни встал...



. ПРОЗА

Отечественный архив

БОРИС ШИРЯЕВ

НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА

РОМАН

Часть пятая

НА ТРОПЕ К КИТЕЖУ

Глава 21
ПРИХОД ОТЦА НИКОДИМА

Впервые я увидел отца Никодима в казарме Преображенского собора, куда прямо с парохода загоняли еще не рассортированные прибывающие партии. Вернее, не увидел, а услышал его. Увидеть было трудно. Высоко вверху, под опаленными, закопченными сводами древней храмины мутно желтело несколько слабых лампочек, а внизу, в тумане испарений от мокрой одежды и дыхания сбитых в сплошную кучу двух тысяч человек, неясно вырисовывались столбы тянущихся вдоль стен и между поддерживающими свод колоннами трехъярусных нар. Между ними к на них — густая, растекающаяся, как грязевая жижа, копошащаяся, гудящая толпа.

— Как черви в гнилом падле... Вам приходилось видеть? — спросил мой спутник по поиску знакомых среди новоприбывших, в прошлом земский ветеринар. — В таком месиве и брата родного не угадаешь. Все на одно лицо. Вернее, совсем без лиц. Протоплазма какая-то вместо людей...

Протоплазма однотонно гудела, жужжала, как гнездо потревоженных шмелей. Но у одной из ближних к поломанному иконостасу толстых четырехгранных колонн было тише, хотя сгусток безликих человеческих тел там был плотнее. Нам были видны только наползающие одна на другую спины, а из-за них слышался ровный, шуршащий, как камешки в глинистой осыпи, голос:

— Сказку тюремную похабную кто-то рассказывает. Вы такие слыхали? — сказал мой спутник.

— Записал даже пару. Хотел и дальше этот фольклор собирать, но бросил — все на один лад.

Мерный шорох глинистой осыпи вдруг зазвенел серебристыми колокольцами, всплеснулся с ними и заиграл, как весенний ручей.

— И дошел,— ликующе воскликнул кто-то,— дошел всё-таки! В язвах весь... в струпьях, значит. Ноги, конечно, в кровь сбил,— место там каменистое, босому плохо. А всё-таки дошел до дому и стал на коленки... Вот! Завтра утром посмотрите, так увидите. Аккурат сзади меня, на этом столбе весь вырисован. На коленках стоит — это сын, а руки вверх поднял — это отец. Радуется, значит, и Господа благодарит.

— Есть за что благодарить,— отозвался другой голос,— пропойца, сукин сын, обормот,— загрохал он увесистыми булыжниками.— Такого надо поганой метлой от порога гнать!..

— Вот и нет, — всплеснул в ответ ручеек,— совсем даже по-другому вышло. Отец-то велел самого первого во всем стаде телка зарезать, гостей позвал, чтобы все радовались. Сына, конечно, в баню сводил, прибрал, как полагается, и показывает гостям,— добавил он полушепотом.— Вот он, глядите! — ликующе выкрикнул первый голос.— Вот он у меня какой! Везде побывал; сквозь огонь, воду и медные трубы прошел; в какой только грязи не валялся, а из этого смрада восстал и ко мне опять возвратился! К отцу своему! Как из мертвых воскрес. В том и радость великая...

— Это по Писанию, конечно, так выходит, как вы, батюшке, наставляете,— снова грохнули булыжники,— а в жизни совсем наоборот следоват,— по-костромскому обрубая окончания, не унимался басовитый спорщик,— такоге потанца и в избу не надо пускать... Я б его...

— Вот и врешь! И ты бы пустил. Что ж ты, сына родного не пожалел бы? Нет, врешь, пожалел бы! Сын он.

— Ну, може пустил бы,— помягчали булыжники,— а перед тем поучил бы.

— Аккурат и поучил его отец. Наилучшим способом выучил — любовью. Твоя баба как корову к дойке приучает? Чтобы она, значит, стояла без брыка? Как? Пойлоев ей соберет, да поставит... Так? Значит, угощенье ей, любовь. А если боем?..

— Боем никак невозможно,— согласился булыжный бас,— от боя молоко пропасть могёт. Такого нельзя. Скотина, оне тоже понимат...

— А ты человека, да еще сына родного ниже бездушной скотины располагаешь.

— Зачем ниже,— совсем притих басовитый,— душа, это, конечно... без души быть невозможно. А всё же...

— Ну тебя к... Слушать не даешь,— закричал кто-то из тесноты.— Дальше, поп, сказки крути!

— Ну, дальше пошло обыкновенно. Сели за стол, поздравили родителя. Другому сыну обидно стало. «Что ж ты, говорит, папаня, сколько я на тебя трудился, а ты меня не награждаешь, а его вон как уважил!»

— Конечно, обидно, — словно его самого обидели, прогудел бас.

— Опять врешь. Никакой тут обиды нет. Ты, примерно, если рупь там или полтинник затерял, а потом найдешь, так радуешься? Обязательно радуешься, хотя у тебя, кроме того рубля, может, еще и десятка есть. А найденный целковый против нее всё-таки веселее станет. Не было его — и получился!

— Фарт! Ясно-понятно, веселей! — выкрикнул опять кто-то из гущи.— Потом что было? Крути, поп!

— Потом по-хорошему зажили. Все свои убытки вернули, овец приумножили и прочей скотины... Это на другой стороне обрисовано. Овцы, там, козы... А на этой, где я сижу, тут только возвращение его и пирование.

В тесноте кто-то завозился, протискиваясь сквозь гущину.

— Пусти! Сейчас бумагу запалю, все увидят.

Вспыхнул бледный отсвет спички, а за ним по темной стене суетливо забегали красноватые блики от зажженного бумажного жгута. Но, втиснувшись сам в толпу, я увидел только чью-то седую бороду, а над ней — затасканную буденовку со споротой звездой. Ни лица рассказчика, ни фрески притчи о блудном сыне, писанной кистью какого-то давно ушедшего из мира художника, рассмотреть я не смог.

И то и другое я увидел лишь на следующий день, придя в обеденный перерыв в казарму Преображенского собора. Рассмотреть фреску было трудно — полки верхних нар затемняли ее, а рассказчик, отец Никодим (я узнал уже его имя) сидел на краю нижних нар, и солнце, пробиваясь сквозь узкое, как бойница, окно собора, ударяло прямо ему в глаза. Старик жмурился, но головы не отклонял. Наоборот, подставлял лучу то одну, то другую щеку, ласкался о луч и посмеивался.

Продолженне. Начало в №№ 4—7 за 1991 год.

— Вы ко мне за делом каким? Или так, для себя? — спросил он меня, когда, бросив рассматривать фреску, я молча стал перед нарами.— Ко мне, так садитесь рядком, чего на дороге стоять, людям мешать.

— Пожалуй, что к вам, батюшка, а зачем — сам не знаю.

— Бывает и так,— кивнул головой отец Никодим,— бредет человек, сам пути своего не ведая, да вдруг наскочит на знамение или указание, тогда и свое найдет. Ишь, солнышко-то какое сегодня! — подставил он всё лицо лучу. Будто весеннее. Радость! — старик даже рот открыл, словно пил струящийся свет вместе с толпою танцующих в нем пылинок.— Ты, сынок, из каких будешь? По карманной части или из благородных?

— Ну, насчет благородства здесь, пожалуй, говорить не приходится. Каэр я, батюшка, контрреволюционер.

— Из офицеров, значит? Как же не благородный? Благородиями вас и величали. Правильное звание. Без него офицеру существовать нельзя. Сколько ж тебе сроку дадено?

— Десятка.

— Многонько. Ну, ты, сынок, не печалься. Молодой еще. Тебе и по скончании срока века хватит. Женатый?

— Не успел.

— И слава Богу. Тосковать по тебе некому. Родители-то живы?

— Отец умер, а мать с сестрой живет.

— Опять хвали Господа. Значит, и тебе тоски нет: мамаша в покое, а папашу Сам Господь блюдет. Ты и радуйся. Ишь, какой герой! Тебе только жить да жить!

— Какому черту тут радоваться в такой жизни!

Отец Никодим разом вывернулся из солнечного луча. Лицо его посерело, стало строгим, даже сердитым.

— Ты так не говори. Никогда так не говори. От него, окаянного, радости нету. Одна скорбь и уныние от него. Их гони! А от Господа — радость и веселие.

— Хорошенькое веселье! Вот поживете здесь, сами этого веселья вдосталь нахлебаетесь. Наградил Господь дарами.

— Ну, и выходишь ты дурак! — неожиданно рассмеялся отец Никодим.— Совсем дурак, хотя и благородный. А еще, наверное, в университете обучался. Обучался ведь?

— Окончил даже, успел до войны.

— Вот и дурак. Высшие философские премудрости постиг, звезды и светила небесные доставать умудрен, а такого простого дела, чтобы себе радость земную, можно сказать, обыкновенную добыть,— этого не умеешь! Как же не дурак?

— Да где она, эта обыкновенная радость? — ощетинился я.— Где? Вонь одна, грязь, кровь с дерьмом перемешана — вот и все, что мы видим. Кроме ничего! И вся жизнь такая.

— Не видим,— передразнил меня отец Никодим,— ты за других не говори! Не видим!.. Ишь, выдумал что, философ. Ты не видишь, это дело подходящее, а другие-то видят. За них не ответствуй. Вот, к примеру: родит иная баба немощного, прямо сказать, урода, слепого, там или хроменького... Над ней все скорбят: несчастная, мол, она, с таким дитем ей одна мука.. А оно, дитё это, для нее оказывается самый первый бриллиант. Она его паче всех здоровых жалостеует, и от него ей душе умиление. Вот и радость. А ты говоришь — дерьмо. Нет, сынок, такое дерьмо превыше нектара и всякой амброзии. Миро оно благовонное и ладан для души. Так и здесь, хотя бы в моем приходе.

— Да какой же у вас теперь приход, батюшка? — засмеялся на этот раз я.— Были вы священником, приход имели. Это верно. А теперь вы ничто, не человек даже, а номер, пустота, нихиль...

— Это я-то нихиль?! — вскочил с нар отец Никодим.— Это кто же меня, сына Господнего, творение Его и к тому же иерея, может в нихиль, в ничто обратить? Был я поп,— поп и есть! Смотри, по всей форме поп!

Старик стал передо мной, расправил остатки пол своей перелатанной всех цветов лоскутами ряски и поправил на голове беззвездную буденовку.

— Чем не поп? И опять же человек есмь, по образу и подобию Божьему созданный. А ты говоришь — нихиль, пустота! — даже плюнул в сторону отец Никодим.— И прихода своего не лишен. Кто меня прихода лишал? Вот он мой приход, вишь какой,— махнул он рукой на ряды нар,— три яруса на обе стороны! Вот какой богатый приход! Такого поискать еще надо.

— Хороши прихожане, — сыронизировал я. — Что ж, они у вас исповедуются, причащаются? Обедни им служите?

— А как же? Врать тебе не буду: к исповеди мало идут, разве кто из вашей братии да мужики еще. Но душами примыкают многие. И служу по возможности.

— Здесь? В бараке?

— Здесь мы всего третий день. Еще не осмотрелись. А когда везли нас, служил.

— Разве вас не в «столыпинском» вагоне везли? Не в клетках по трое?

— В нем самом.

— Как же вы служили? Там, в этих клетках, и встать нельзя.

— Самая там служба,— залучился улыбкой старик и, снова всунув голову в солнечную струю, прижмурил глаза,— там самая служба и была. Лежим мы, по одну сторону у меня жулик, а по другую — татарин кавказский, мухамед. Стемнеет, поезд по рельсам покачивает, за решеткой солдат ходит... Тихо... А я повечерие творю: «Пришедши на запад солнце, видевши свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа»... Татарин враз понял, что хвалу Господу Создателю воздаем, хотя и по-русски совсем мало знал. Уразумел и по-своему замолился. А жулик молчит, притулился, как заяц. Однако цигарку замял и в карман окурок спрятал. Я себе дальше молитствую: «От юности моея мнози борют мя страсти, но Сам мя заступи и спаси, Спасе мой... Святым духом всяка душа живится», а как дошел до Великого Славословия (это я всё шепотом молил, татарин тоже тихо про себя), на Славословии-то я и в полногласие вступил: «Господи Боже, Агнче Божий, вземляй грех мира, приими молитву нашу». Тут и жулик закрестился. Так ежевечерне и служили все девять ден, пока в вагоне нас везли. Чем тебе не приход? Господь обещал: где во имя Его двое соберутся, там и Он промеж них, а нас даже трое было... Мне же радость: пребываю в узилище, повернуться негде, слова даже громко сказать боюсь, а духом своим свободен — с ближними им сообщаюсь и воспаряюсь с ними.

— Ведь они не понимали вас, молитвы ваши.

— Как это так не понимали? Молились, значит, понимали. Ухом внимали и сердцем разумели.

— Я вчера ваш рассказ о блудном сыне здесь слушал. Верно, шпаны к вам набралось много. Но они всегда так. И похабные сказки тоже слушать всю ночь готовы, лишь бы занимательными были.

— А ты думаешь, ко Христу, человеколюбцу нашему, все умудренными шли? Нет, и к нему такие же шли, одинаковые. Ничего они не знали. Думаешь, они рассуждали: вот Господь к нам пришел, спасение нам принес? Нет, браток. Прослышат, что человек необыкновенный ходит, слепых исцеляет, прокаженных очищает, они и прут на него глазеть. Придут, сначала, конечно, удивятся, а потом Слово Его услышат и подумают: стой, вот оно в чем дело-то! Телесные глаза, конечно, каждому нужны, но, окромя них, и духовное зрение еще существует. Как они это самое сообразят, то и сами прозревать начнут. Вроде котят. И с проказой тоже: одному Он, Человеколюбец, чудом ее с тела снимал, а сотням — с душ словом своим. Так и в Евангелии написано.

— Где же это там написано, батюшка? Я Евангелие читал, а этого не помню...

— Значит, плохо читал,— снова сердито буркнул старик,— на каждой страничке там это значится.

Отец Никодим встал с нар, сделал два шага в сторону, поправил сбившуюся на затылок буденовку и потом снова обернулся ко мне. Теперь из его глаз лился свет и словно стекал из них по лучащимся морщинкам, струился по спутанной бороде и повисал на ней жемчужными каплями.

— Ты, дурашка, телесными глазами читал, а душевными-то в книгу святую не заглядывал,— ласково проговорил он и погладил меня обеими руками по плечам.— Ничего. Потому это так получилось, что ты, чуда прозрения не видавши, сам не прозрел. Очищенных от проказы не зрил.

— Какие теперь чудеса,—с досадою отмахнулся я,—и прокаженных тепарь нет. Исцелять некого.

— Нет? Нет, говоришь? Прокаженных нет? — быстро зашептал, тесно лепя слово к слову отец Никодим. Улыбка сбежала с его лица, но оно по-прежнему лучилось ясным и тихим светом.— Ты не видал? Так смотри,— повернул он меня за плечи к рядам трехъярусных нар,— кто там лежит? Кто бродит? Они! Они! Все они прокаженные и все они очищения просят. Сами не знают, что просят, а молят о нем бессловесно. И не в одном лишь узилище, в миру их того больше. Все жаждут, все молят...

Лучащееся светом лицо старого священника стало передо мною и заслонило от меня всё: и ряды каторжных нер, и копошащееся на них человеческое месиво, и обгорелые, закопченные стены поруганного, оскверненного храма...

Ничего не осталось. Только два глаза, опушенные редкими седыми ресницами, и на них, на ресницах, — две слезы. Мутных старческих слезы.

— Вот он, приход мой, недостойного иерея. Его, Человеколюбца, приход, слепых, расслабленных, кровоточивых, прокаженных, бесноватых и всех, всех, чуда Его жаждущих, о чуде молящих.

Две мутные слезы спали с ресниц, прокатились по тропинкам морщин и, повиснув на волосах бороды, попали в последний отблеск уходившего зимнего солнца. Зарозовели в нем, ожили двумя жемчужинами и растеклись.

Отец Никодим повернул мою голову к темной фреске, по которой тоже стекали капли сгустившейся испарины, такие же мутные, как его слезы. Скатывались и растекались. Рисунка уже совсем не было видно. На темном фоне сырой стены едва лишь брезжили две ликующе вздетых руки обретшего блудного сына отца. Только.

— Зри, прозри и возрадуйся! — шептал отец Никодим.

Глава 22
«УТЕШИТЕЛЬНЫЙ ПОП»

Фамилии его я не помню, да и немногие знали ее на Соловках. Она была не нужна, потому что «Утешительного попа», отца Никодима, и без нее знали не только в кремлевском муравейнике, но и в Муксоломском богоспасаемом затишье, и в Савватиеве, и на Анзере, и на мелких, затерянных в дебрях командировках. Так сложилась его соловецкая судьбина — везде побывал.

Ссыльное духовенство — архиереи, священники, монахи,— прибыв на остров и пройдя обязательный стаж общих работ и жительства в Преображенском соборе, обычно размещалось в шестой роте, относительно привилегированной, освобожденной от поверок и имевшей право выхода из кремля. Но для того, чтобы попасть в нее, одного духовного сана было мало, надо было запастись и соответствующей статьей, каравшей за антисоветскую агитацию, преступное сообщество, шпионаж или какое-нибудь иное контрреволюционное действие, а отец Никодим был осужден Полтавской тройкой НКВД за преступление по должности. Вот именно это отсутствие какой-либо контрреволюции в прошлой жизни отца Никодима и закрывало ему двери в тихий, спокойный приют.

Получался анекдотический парадокс: Владимир Шкловский, брат известного литератора-коммуниста Виктора Шкловского, пребывал в окружении иереев и высших иерархов, как «тихоновец», хотя по происхождению и был евреем. Он взял на хранение церковные ценности от своего друга-священника[1], а священствовавший более пятидесяти лет иерей, отец Никодим, кружил по всем командировкам то в качестве лесоруба, то скотника, то рыбака, то счетовода.

К политике он действительно не имел никакого отношения ни в настоящем, ни в прошлом.

— Кого-кого только в нашем селе не побывало,— рассказывал он,— и красные и белые, и немцы, и петлюровцы, и какие-то еще балбачановцы... всех повидал... Село-то наше стоит на тракту, что от Сум на Полтаву идет. А мне — всё единственно, что белые, что красные. Все сыны Божие, люди-человечки грешные. Господь на суде Своем не спросит, кто красный, кто белый, и я не спрашивал.

[1] К концу отбывания срока В. Шкловский крестился и не скрывал этого. С Соловков он был отправлен в Восточную Сибирь на «вольную» высылку.

— А не обижали вас, батюшка?

— Нет. Какие же обиды? Ну, пасеку мою разорили... Что ж, это дело военное. Хлебает солдат свои щи... Год хлебает, другой хлебает, так ведь и медку захочется,— а где взять? А они, пчелки-то, твари Божие, не ведают, кому медок собирают — мне ли, солдату ли? Им единственно, на кого трудиться, ну и мне обиды быть не может.

— Не смеялись над вами?

— Это бывало,— засмеется сам отец Никодим, и мелкие морщинки, как резвые детишки, сбегутся к его выцветшим, с хитринкой, глазкам,— бывало даже часто. Один раз большой какой-то начальник у меня на ночь стал. Молодой, ловкий такой.

— Поп, а поп,— говорит,—я на ночь бабу к себе приведу. Как ты на это смотришь?

— Мне чего смотреть,— отвечаю,— я за семьдесят-то лет всего насмотрелся. Дело твое молодое, грешное. Веди, коли тебе без того невозможно.

— Может, и тебе, поп, другую прихватить?

— Нет, сынок, обо мне,— говорю,— не беспокойся. Я пятнадцатый год вдовствую, а в этом не грешен.

— И не смущал тебя бес?

— Как не смущать? Смущал. Ты думаешь, поп не человек? Все мы — люди, и всему людскому не чужды. Это и латинскими мудрецами доказано. Бесу же смущать человеков и по чину положено. Он свое выполнять обязан. Он меня — искушением, а я его — молитвою... — Так поговорили с ним, посмеялись, а бабы он всё же не привел. Один спал, и наутро две пачки фабричной махорки мне дал, заусайловской.

— Этим грешен,— говорю,— сынок! Табачком занимаюсь. Спасибо!

А в другой раз на собрание меня потребовали, как бы на диспут. Оратор ихний меня вопрошает:

— Ответьте, служитель культа, подтверждаете ли, что Бог в шесть дней весь мир сотворил?

— Подтверждаю,— говорю,— в Писании так сказано...

— А современная наука доказывает, что за такой малый срок ничего создано быть не может. На этот процесс миллионы тысячелетий требуются, а не дни.

— А какие дни? — вопрошаю.

— Как какие? Обыкновенные. Двадцать четыре часа — сутки.

— А ты по науке читал, что на планиде Сатурне день больше двух лет выходит?

— Это,— говорит,— верно. Астрономия подтверждает.

— А у Господа, Творца вселенной, какие дни? Это тебе известно? Земные человеческие или сатурнальные? Его день-то, может, в сто миллионов лет вскочит! Что ж он, Бог-то, по гудку, что ли, на работу выходит? Эх ты, философ, не решивший вопросов, хотел надо мною посмеяться, а вышло ему самому посрамление.

— За что же вас всё-таки посадили?

— Правильно посадили. Должностное преступление совершил.

— Да какая же у вас должность была?

— Как какая? Своя, иерейская, по чину положенная: рожденных — крестить, во плоти укрепившихся — венчать, Господом прибранных — отпевать и напутствовать. Дела хватало! Я его и выполнял по старинке: крещу, венчаю, хороню и в свои книги церковные записываю. Ан, новая-то власть новой формы требует: без свидетельства из города не венчать, без врачебного удостоверения не хоронить.. Ну а мое положение каково? Люди всё обладили, кабана зарезали, кур, гусей, самогону к свадьбе наварили, гостей назвали, одно осталось — «Исаия, ликуй» отпеть! А тут на тебе — в Полтаву ехать! Виданое ли дело?

— Батюшка,— говорят,— обвенчай! Да разве ты Оксанки с Грицьком не знаешь? Сам ведь их крестил! Какое тебе удостоверение? Ну, и венчал.

А с покойниками еще труднее, особенно в летнюю пору: жара, а тут доктора ожидай трое суток... Входил в положение — хоронил. Новые правила должности своей нарушал, конечно. За то и осужден.

Свои пастырские обязанности отец Никодим выполнял и на Соловках. Напере-

ный крест серебряный, епитрахиль, ризу и камилавку отобрали в Кеми при последнем перед Соловками обыске. Евангелие оставили, это служителям культа разрешалось. Последняя камлотовая, подбитая ватой ряска изорвалась на лесных работах до непристойности. Пришлось полы обрезать. Священническая шляпа, в которой он попал в тюрьму, давно уже пришла в полную негодность, и седую голову отца Никодима покрывал подаренный кем-то красноармейский шлем с ясно видневшимся следом отпоротой красной звезды.

Посылок с воли отец Никодим не получал. Но он не унывал. Сгорбленный под тяжестью последних лет восьмого десятка, он был необычайно бодр и крепок для своего возраста. Рубить дерево под корень он, правда, уже не мог, но при обрубке сучьев топор в его руках ходил лучше, чем у многих молодых, а скотником на Муксоломской ферме он считался незаменимым.

Лохмотья обрезанной рясы и мало подходящий к его сану головной убор не смущали отца Никодима.

— Попа и в рогоже узнаешь,— говорится в народе, а меня-то и узнавать нечего, без того все знают. Кроме того, не рогожа на мне, а материал знатный, в Киеве купил. Починить бы толком — век служил бы еще... Всё же «нужное» у меня в исправности.

Это «нужное» составляли: искусно вырезанный из дерева наперсный крест на веревочке, носившийся под одеждою, епитрахиль суконная, короткая, подбитая легким слоем ваты, и дароносица из плоской немецкой солдатской кружки с ловко подогнанной крышечкой.

— Зачем же вы епитрахиль-то ватой подстегали?

Отец Никодим хитро улыбался.

— От соблазну. В случае обыск — чекист ее отобрать обязан. А я в грех его не введу, на себя грех возьму — нагрудничек по древности моей от кашля, а в кружечке — лекарство. Ему и свободно будет всё мне оставить.

С этим «нужным» для его перевалившего за полвека служения отец Никодим никогда не расставался. Святую литургию он совершал ежедневно, встав раньше всех и забравшись в укромный уголок. Спал он по-стариковски, не более двух-трех часов.

— Потому при себе ношу, что служение мое всегда может потребоваться. В Господа же веруют в тайниках своей души все. Раз заехал к нам важный комиссар, с орденом. Закончил он свои дела и в сад ко мне идет, а садок у меня был любительский, редкие сорта я развел, пасека там же...

Комиссар со мною вежливо... всё осмотрел, похвалил. Чай со свежим медком сели пить, разговорились.

— Как это вы,— говорит,— в садоводстве, в пчеловодстве и прочей ботанике столь сведущий, предпочитаете мракобесием своим заниматься, людей морочить? Шли бы к нам в земотдел инструктором — полезным бы человеком стали...

— А вы,— спрашиваю,— господин-товарищ, действительно в Господа не веруете?

Он даже обиделся.

— Странный вопрос! Как же я веровать буду, раз я коммунист, а кроме того, человек сознательный, интеллигентный...

— Так вы никогда, ни разу, сознательным став, Имя Его святое не призывали?

Смутился мой комиссар.

— Было такое дело,— говорит,— наскочили казаки ночью на наш обоз. Я как был в подштанниках,— под тачанку. А казак приметил. Кружится на коне окрест тачанки и пикой меня достать норовит. А я, как заяц, то к передку, то к задку перескакиваю. Тут-то я и Бога, и Богородицу, и Николу Угодника, всех вспомнил. Махнул на меня рукой казак и ускакал. Тут я перекрестился. Верно. Но ведь это от страха, а страх есть основа религии...

— Отчего же вы от страха иное имя не призвали?

— Пережитки...— потупился мой комиссар.

Все в Господа веруют, и все приобщиться к Телу Его жаждут. Не всегда только дано им понять это. Вы Губичева знавали? Нет? Быть не может! Человек приметный, ростом — Петр Великий и характером крут; из бандитов был. Дня за три до кончины раздатчика чуть не задушил: порцию будто тот ему неправильную дал. Матерщинник и к тому же богохульник. Владычицу Небесную беспрестанно поносил.

Так вот, с неделю назад сосною его придавило, прямо поперек грудей ударила. Лежит на земле и хрипит:

— Амба! Попа зовите! — а у самого уже смертные пузыри изо рта идут. Ребята за мной сбегали. Я приспел, и солдат уж тут. Как быть? А Губичев глаза под лоб подкатывает. Я — солдату:

— Отвернись, господин-товарищ, на малое время и не сомневайся. Видишь, человек помирает.

— Вали,— говорит,— поп, исполняй свою обязанность,— и к сторонке отошел.

Я Губичева епитрахилью накрыл, прегрешения ему отпускаю, а он хрипит:

— Три души...

Больше понять ничего невозможно было. Приобщил я его Святых Тайн, дернулся он разок, и душка отлетела.

Вот вам и вера. Значит, была она у него, у смертоубийцы и богохульника! А солдат-то, думаете, зря отошел? Нет, и он под своей политграмотой искру Божию таил.

От выполнения своего служения отец Никодим никогда не отказывался. Служил шепотком в уголках молебны и панихиды, исповедовал и приобщал Св. Тайн с деревянной струганой лжицы. Таинство Евхаристии он совершал над водой с клюквенным соком.

— Вина где ж я достану? А клюковка, она есть тоже виноград стран полуночных и тот же Виноградарь ее произрастил. Нет в том греха.

По просьбе группы офицеров он отслужил в лесу, на могиле расстрелянных, панихиду по ним и Царе-Искупителе. Его же под видом плотника проводили в театр к пожелавшим говеть женщинам. Шпана ухитрялась протаскивать его через окно в лазарет к умирающим, что было очень трудно и рискованно. Никто из духовенства не шел на такие авантюры. Ведь попадись он — не миновать горы Секирной. Но отец Никодим ни ее, ни прибавки срока не боялся.

— Что мне могут сделать? Ведь восьмого-то десятка всего один годик мне остался. Прибавляй, убавляй мне срок человеческий, Господнего срока не изменишь! А с венцом мученическим перед Престолом Его мне, иерею, предстать пристойнее,— скажет отец Никодим и засмеется дробным стариковским смехом. Побегут к глазам лучистые морщинки, и поверишь, что так — со светлою, веселою радостью переступит он предельную черту.

С этою радостью прошел он весь свой долгий жизненный путь. С нею не расставался он и в дни свои последние, соловецкие. Этой же радостью своей стремился он поделиться с каждым, плеснуть на него водой жизни из сосуда Духа своего. За то и прозвали его «утешительным».

Долгие зимние вечера на командировках много отличны от кремлевских. Нет ни театра, ни кино, ни яркого электрического света. Нет возможности пойти в другую роту, послушать беспрерывно обновляющуюся информацию «радио-парашу».

На командировке раздадут ужин пораньше, построит команду дежурный, просчитает и запрет барак. Чадит тюлений жир в самодельных коптилках... Кое-кто ругается с тоски...

Случаев самоубийства в кремле я не знаю, а на глухих командировках кончали с собой многие. Затоскует человек, добудет обрывок веревки... вот и всё. Или на сосне найдут, или утром висящим в углу барака обнаружат.

Такого затосковавшего отец Никодим разом узнавал своими бесцветными, с хитринкой глазами. Вечерком в бараке, а то и днем на работе будто невзначай с ним разговорится. Начнет совсем про другое, расскажет, как он, будучи в киевской семинарии, яблоки в архиерейском саду воровал и попался на этом деле. Посмеется. Или попадью свою вспомнит, садик, пасеку. Смотря по собеседнику. И тот повеселеет. Тут ему отец Никодим и шепнет тихонечко:

— Ты, сынок, Николе Угоднику помолись и Матери Божией «Утоли моя печали». Так и так, скажи, скорбит раб Божий имярек, скорбит и тоскует... Прими на себя скорбь мою, Заступница, отгони от меня тоску, Никола Милостивый... И поможет. Да почаще, почаще им о себе напоминай... У Святителя дела много. Все к нему за помощью идут. Может и позабыть. Человек он старый. А ты напомни!..

Как ручеек из-под снега, журчит тихая речь Утешительного попа. Смывает с души тоску ручеек... Светлеет чадная тьма барака.

— Ты молодой еще. Кончишь срок — домой поедешь, а не домой, так в Сибирь, на «вольную»... Что ж, и в Сибири ведь люди живут. Даже похваливают. Жена к тебе приедет...

Вспыхивала радужным светом Надежда. Загоралась пламенем Вера, входили они в черное, опустошенное, перегорелое сердце, а из другого, светлого, лучисто улыбалась им Любовь и Мудрость немудрящего русского деревенского Утешительного попа.

Был и другой талант у отца Никодима. Большой, подлинно милостью Божией талант. Он был замечательный рассказчик. Красочно, сочно выходили у него рассказы «из жизни», накопленные за полвека его священнослужения, но еще лучше были «священные сказки». Об этом таланте его узнали еще в дороге, на этапах, а в Соловки он прибыл уже знаменитостью, и слушать его по вечерам в Преображенский собор приходили и из других рот.

— Ну, батя, начинай «из жизни», а потом и про «священное» не забудь!

«Из жизни» бывало всегда веселым и забавным.

— Чего там я буду о скорбях вам рассказывать! Скорбей и своих у каждого много. Лучше повеселее что, а у меня и того и другого полные чувалы...

«Священные сказки» были вольным пересказом Библии и Евангелия, и вряд ли когда-нибудь был другой пересказчик этих книг, подобный отцу Никодиму.

Строгий догматик и буквоед нашел бы в них, может быть, много в Библии не упомянутого, но всё это были детали, фрагменты, не только не затемняющие, но выделяющие, усиливающие основной смысл рассказа, а главное, отец Никодим рассказывал так, словно он сам не далее, как вчера, сидел под дубом Мамрийским, у шатра... нет, не у шатра, а у крепко, навек сколоченной избы Авраама. И сам патриарх был под стать избе, смахивал малость на тургеневского Хоря, только писанного не мирским легкодумным художником, а твердою кистью сурового суздальского иконописца. Живыми, во плоти и в рубище одетыми были и ангелы-странники. Жила и «бабка» Сара, подслушивавшая под дверью беседу мужчин...

Ни капли казенного елея, ни буквы сухой книжной премудрости не было в тихоструйных повестях о рыбаках неведомой Галилеи и их кротком Учителе... Всё было ясно и светло до последнего камешка пустыни, до малой рыбешки, вытащенной сетями из глубин Генисаретского озера.

Шпана слушала, затаив дыхание... Особенным успехом пользовалась притча о блудном сыне. Ее приходилось повторять каждый вечер.

Я слушал «священные сказки» только в крикливой сутолоке Преображенского собора, но и оттуда уходил очарованный дивной красотой пересказа. С какой же невероятной силой должны были они звучать в чадном сумраке нескончаемой ночи лесного барака?

Но Секирки и мученического венца отец Никодим не миновал. На первый день Рождества вздумали всем лесным бараком — человек двадцать в нём жило — обедню отслужить затемно, до подъема, пока дверей еще не отперли. Но, видно, припозднились. Отпирает охрана барак, а там отец Никодим Херувимскую с двумя казаками поет. Молившиеся успели разбежаться по нарам, а эти трое были уличены.

— Ты что, поп, опиум здесь разводишь?

Отец Никодим не отвечает — обедню прерывать нельзя — только рукой помахивает.

Все трое пошли на Секирку.

Весной я спросил одного из немногих, вырвавшихся оттуда, знает ли он отца Никодима?

— Утешительного попа? Да кто же его не знает на Секирке! Целыми ночами нам в штабелях «священные сказки» рассказывал.

— В каких штабелях?

— Не знаете? Не побывали еще в них? Ну, объясню. Зимой Секирная церковь, где живут штрафные, не отапливается. Верхняя одежда и одеяла отобраны. Так мы такой способ изобрели: спать штабелями, как балансы кладут. Ложатся четыре человеке в ряд, на бок. На них — четыре поперек, а на тех еще четыре, снова накрест. Сверху весь штабель имеющимся в наличии барахлом укрывают. Внутри надышат, и тепло. Редко кто замерзнет, если упаковка тщательная. Укладывались же мы прямо

после вечерней поверки. Заснуть, конечно, не можем сразу. Вот и слушаем «священные сказки» Утешительного попа... и на душе светлеет...

Отца Никодима у нас все уважали, епитрахиль ему соорудили, крест, дароносицу...

— Когда же он срок кончает?

— Кончил. На самую Пасху. Отслужил ночью в уголке Светлую Заутреню, похристосовался с нами. Потом в штабель легли досыпать, он же про Воскресение Христово «сказку» сказал, а наутро разобрали штабель — не встает наш Утешительный. Мы его будим, а он холодный уже. Надо полагать, придушился,— в нижний ряд попал. Это бывало. Сколько человек он у нас за зиму напутствовал, а сам без напутствия в дальний путь пошел...

Впрочем, зачем ему оно? Он сам дорогу знает.

Глава 23
ВАСИЛЕК — СВЯТАЯ ДУША

Каждая прибывающая на Соловки партия попадает сначала в первичную обработку. В первый год жития Соловецкой каторжной обители первый повелитель острова Ногтев встречал новых ставшим теперь пословицей окриком:

— Здесь вам власть не советская, а соловецкая!

Потом, став у окна сторожевой будки на пристани, «шлепал» из карабина одного или двух, остановивших на себе его внимание.

Приехавшая из Москвы комиссия «шлепнула» самого Ногтева. Такое неписанный закон всех революций.

«Первичная обработка» приняла иной вид. Всех прибывших, проверив их по списку, загоняли в одно из отделений Преображенского собора и тотчас же, разбив на группы, усылали в лес на работу. Проработав 5—6 часов, они возвращались; ели, спали четыре-пять часов, затем их снова угоняли на работы, снова возвращали, и так в течение 10—15 дней. В это время на острове стояли белые летние ночи. Главные многочисленные партии прибывали в июне — июле,— солнце едва скрывалось за горизонтом и снова выныривало... День? Ночь? Представление о времени терялось... На измученных, истомленных тюрьмою и следствием людей накатывалось раздавливавшее их волю бремя беспрерывного бессмысленного труда. Ими овладевала безнадежность. Такова была цель «первичной обработки».

В эту обработку попал тот, кого я условно называю вымышленным именем Василий Иванович, т. к. не уверен в его смерти и никоим образом не хочу нанести какой-либо вред этому светлому во всех днях его жизни человеку.

Василий Иванович был русским интеллигентом в полном и лучшем значении этого слова. Более того, он был носителем той специфически московской культуры, которая сто с лишним лет гнездилась и выводила птенцов в лабиринте переулков Арбата и Пречистенки, в тихой заводи Собачьей площадки, где над одинокой урной пахнущие медом липы и теперь шепчут имена живших здесь Хомяковых, Аксаковых и здесь же их посещавших Пушкина, Гоголя, Герцена...

Последнее поколение этой славной плеяды не покинуло своего родового пепелища, и его азиатским именем назвал Андрей Белый одну из своих симфоний. Это поколение можно было видеть на премьерах Художественного театра, на симфонических концертах в скромном зале консерватории, в редакциях толстых московских журналов и «Русских ведомостей», на кафедрах университета, на средах литературно-художественного кружка... и мало ли где еще... Оно носило на себе неповторимый отпечаток гармоничного сочетания московской фрондирующей чаадаевской барственности с лучшими традициями искреннего и истинного народничества. К этому поколению принадлежал и Василий Иванович.

Окончив Московский университет в блестящую эпоху Ключевского, Муромцева и Трубецких, он, под эгидой одного из крупнейших адвокатов того времени, вступил защитником прав человека в храм законности и суда правого, скорого и милостивого, лучшего и гуманнейшего в мире суда Российской Империи.

Ко времени революции он сам уже был видным адвокатом, бравшимся, как говорили, только за «чистые» дела. Это было правдой. Компромисс со своею со-

вестью был чужд, противоречив всему кристаллически-ясному духовному складу Василия Ивановича.

Революция коснулась его лишь поверхностно. Он не был политиком, и ни одно из политических течений не вовлекло его в свой круговорот.

Время катилось... Октябрьский сквозняк сдул с игорного стола революции карточные домики прекрасных слов, благородных устремлений, буквенной, книжной премудрости. Один за другим стали пустеть арбатские и пречистенские уюты.

Василий Иванович имел полную возможность эмигрировать, но не сделал этого, потому что всем существом своим верил в человека, в его совесть и волю к добру. Наступавшее безвременье казалось ему, как и многим тогда, лишь краткими часами похмелья народной души, после которого она неизбежно должна воскреснуть очищенной и обновленной. Но в отличие от многих, мысливших одинаково с ним, он не считал себя вправе даже временно оторваться от народных масс вздыбленной, мечущейся Руси. Он остался, не изменив своего пути служения праву и справедливости, но стал лишь называться правозаступником, а не адвокатом или присяжным поверенным.

В те годы уголовный кодекс СССР еще не был разработан. В судах сидели не бездушные роботы, тупые выполнители постановлений ЦК ВКП(б), а малограмотные, обалделые, порою даже осатанелые, но всё же люди, поставленные судить «по революционной совести».

С одним из таких судей я был приятелем на Соловках. Это был одноногий матрос-инвалид, бузотер и матерщинник, разудалая головушка.

— Вышел нам приказ из ЦИК'а за перевод зерна на самогон полный бант в десятку давать, а в особых случаях и шлепку,— рассказывал он мне.— Вот сделают облаву на селе, приведут ко мне десяток стариков да солдаток, вещественных доказательств ведер пять представят. Я и сужу по революционной совести: дюжина вас? Вот и получайте себе сто лет на всех да сами и делите! Через неделю всех их из тюрьмы амнистирую по разгрузке, а вещественное доказательство в срочном порядке ликвидирую. Потому мне так моя революционная совесть велит. У солдаток дома ребята кашки просят, да и самогон не гидра-контра. Может, там у Ленина совесть стрелять таких позволяет, а у меня — своя...

Эта своя личная революционная совесть совместно с усиленной ликвидацией спиртуозных вещественных доказательств и привела на Соловки красу и гордость революции, ее искреннего партизана.

Василий Иванович в своей новой судебной практике безошибочно находил верный путь к этой, порою уродливой, искривленной, но еще жившей тогда в сердцах людей совести, к чувству личной ответственности перед живым человеком, а не перед мертвой буквой постановления ЦК, и легко прокладывал к ней дорогу. Уродливость и кривизна путей не отталкивала, а привлекала его.

— Люблю я неправильных людей,— признавался он после задушевного разговора с рецидивистом или чекистом-«шлепальщиком».

Он говорил с ним без брезгливости, не снисходя, не осуждая, но и не впадая в слезливость, подлаживание, своеобразную елейность, столь обычную в разговоре интеллигента с простым человеком.

Этот прирожденный внутренний такт, соединенный с нерушимой уверенностью в наличии зерен добра в каждом человеческом сердце, открывал ему, казалось бы, наглухо замкнутые двери.

В бытность правозаступником ему пришлось хлопотать за какого-то уже приговоренного к расстрелу, но совершенно чуждого политике арбатского москвича. Пользуясь старыми связями с революционным подпольем, Василий Иванович чуть ли не накануне казни пробился к Дзержинскому и с той же верой в наличие совести в тайных глубинах его темной окровавленной души стал убеждать «принципиального палача» не в невинности осужденного (это знал и сам Дзержинский), но в ненужности казни.

— Он мне о неизбежности революционного террора толкует, а у самого глаза вот так, вот так крутятся,— рассказывал об этой встрече Василий Иванович, и не осуждение, не гадливость, а тот же огромный интерес к «неправильности» звучал в его словах. Словно в темный, глубокий колодезь заглянул и дно его увидел.

Он на самом деле достал тогда до дна этого колодца: казнь была отменена.

Казалось бы, спокойному бытию Василия Ивановича, не причастного ни к каким формам контрреволюции, лояльно выполнявшего свою работу правозаступника в рамках революционной законности, ничего не угрожало, но никогда не покидавший его бесенок юмора ввел лояльного советского адвоката во грех перед советской властью. Он подтолкнул его руку написать в час досуга сатирическую поэму на тогдашнюю советскую действительность, даже не злобную, а только меткую, остроумную и забористую, изложенную прекрасным русским языком, которым Василий Иванович владел безупречно. Списки ее пошли по рукам и, конечно, попали на Лубянку. Остальное понятно без слов.

Популярность Василия Ивановича среди уголовников создалась еще во время его сидения в Бутырках. В общей камере его как правозаступника, конечно, завалили просьбами писать всякого рода заявления, на которые так падка шпана. От части таких просьб Василий Иванович отказывался как от явно безнадежных, что умел просто и убедительно разъяснить своим «клиентам».

— Ну, что ж из того, что ты «без дела» задержан? А «на рояли» сколько раз играл?[2] Приводов сколько? Судился сколько раз?

— Приводов четырнадцать, а судился четыре раза,— смущенно признавался шпаненок.

— Ну вот. Как же ты не рецидивист? Всё это там зафиксировано. Чего же зря писать?

Но несколько написанных им заявлений имели успех и упрочили за ним славу.

С этой славой заступника, которого и «сам Катанян слушает», Василий Иванович прибыл в Преображенский собор и попал в «первичную обработку». Несомненно, что ему, физически слабому, даже хилому и малорослому, она была очень трудна, а еще труднее сама жизнь в беспрерывной сутолоке, гаме, вони сбитой в провшивевший войлок толпе людей, потерявших право носить имя человека.

Вот тут-то и определилось то назначение, которое суждено было выполнить арбатскому интеллигенту Василию Ивановичу, каторжнику Соловецких лагерей особого назначения, труднику обители Зосимы и Савватия, святителей русских, просветителей Полуночной дебри.

* * *

Однажды два уголовника подрались из-за какой-то спорной вещи. Их растащили, но один, намного сильнейший другого, отъявленный буян и драчун, вырвался из рук державших его и, схватив тяжелую скамью, ринулся на своего врага. Защитники его врага метнулись в стороны. Получить удар скамьей ни у кого не было охоты, и быть бы бедняге в братской могиле, если бы перед буяном неожиданно не оказалась тщедушная цыплячья фигура Василия Ивановича.

— Что ты? Что ты? Ведь так ты его и убить можешь! Надо толком, толком всё разобрать!..

Эти слова были сказаны без тени патетики, так же просто, как «держи чашку крепче, а то уронишь». В этом и была сила их убедительности, тот безошибочный путь к человеческой совести, который находил Василий Иванович потому, что беспредельно верил в нее.

Буян отбросил скамью, и разбор дела «толком» состоялся тут же: Василий Иванович, соблюдая судебный порядок, допросил свидетелей, дал слово тяжущимся и поставил свое «резюме председателя» на решение всех присутствующих. Голосовали в буквальном смысле голосом и присудили спорную вещь слабейшему. Буян отдал ее беспрекословно.

Второй известный мне случай того же порядка, произошедший за время пребывания Василия Ивановича в Преображенском соборе, был много труднее и сложнее.

Уголовный мир дореволюционного времени имел собственную этику и собственные, твердо выполнявшиеся в тюрьмах, законы. Теперь эта «законность» утратила в тюрьмах и концлагерях СССР свою силу, так как и сам уголовный мир своеобразно «разложился», утратив свой кастовый характер. Кражи вросли в повседневность,

[2] Давал отпечатки пальцев в сыскном отделении или уголовном розыске. — Б. Ш.

в быт. Грань между вором и обывателем стерлась, и в силу этого само воровство перестало быть замкнутой профессией «отверженных».

Но в те годы «блатной закон» был еще крепок. Одной из самых жестоких, самых звериных его статей была статья, присуждавшая к «динаме». «Динама» — пария среди париев, отверженный среди отверженных. Он спит только около зловонной «параши», даже когда в камере есть место; каждый может его ударить, плюнуть ему в лицо, в пищу, отнять пайку хлеба или обидеть каким-либо иным способом. Камера всегда встанет на сторону обидчика против «динамы»... Случится что-нибудь, подлежащее наказанию от начальства,— виновником будет «динама», и все покажут на него. Все грязные и тяжелые работы по камере будет нести он же, «динама».

Ни вор, укравший у товарища пайку хлеба, ни предатель-«стукач» к «динаме» не присуждаются. Но не уплативший карточного долга неизбежно становится «динамой».

Игра в карты, в «святцы» — самое яркое, самое острое из переживаний, возможных в тюремном быту, и ее законы очень строги. Шулер наказанию не подлежит, он даже в почете — мастер своего дела! Играют на затыренные (спрятанные при обыске) деньги, на «барахло», на «пайки», на «службу», на «палец», на «очко»... Последнее — сексуальная тюремная гнусность, «служба» — безоговорочное рабство на условленный срок, полное безобразнейших издевательств, «палец» — отрубание себе пальца или нескольких, причем рубить должен сам проигравший. Отрубивший — герой, струсивший — «динама».

Вот на таком-то суде по поводу двух неотрубленных пальцев и пришлось выступать Василию Ивановичу на этот раз в качестве защитника. Он понимал, что преодолеть, разрушить звериный закон ему не под силу, и прибегнул к аргументу, доступному пониманию «присяжных».

«Саморубы», не наказывавшиеся в тюрьмах, на Соловках неминуемо шли на Секирку как дезертиры труда. Таким образом, к потере проигранного пальца должник добавлял непроигранные полгода страшного изолятора, а быть может, и жизнь.

Создавался казус, подобный тому, которого не смог преодолать Шейлок:

— Фунт мяса, но без крови! Палец, но без Секирки!

И так же, как некогда в далекой Венеции, примитивная логика здравого смысла победила букву волчьего закона. «Камера», на этот раз большое отделение Преображенского собора, где размещалось несколько сот человек, оправдала отказавшегося рубить. «Прецедент» получил силу, и в последующие годы (я имел сведения о двух годах: 1926 и 1927) следственная часть УСЛОН не отметила ни одного случая саморубства из-за проигрыша.

* * *

Друзья нажимали все пружины, чтобы вызволить Василия Ивановича из адского котла, в котором он варился. Это было нелегко. В следственную часть, куда охотно брали опытных беспартийных юристов, поручая им расследование уголовных преступлений, он идти не захотел. Наконец, подвернулась спокойная вакансия сторожа разведенного на лесной поляне огорода. Но беда в том, что туда требовался не только добросовестный, чуждый «блату» охранник, но и физически сильный человек, способный дать отпор похитителям картошки и репы. Всё зависело от решения Баринова, который захотел сам видеть рекомендованного кандидата.

Властный начальник 1-го отделения УСЛОН критически осмотрел представшую перед ним тщедушную фигурку и недоверчиво спросил:

— А как же ты, брат, шпану погонишь, когда она наскочит?

Василий Иванович напряг все силы, чтобы сделать свое лицо страшным и даже кулаком потряс:

— А я им крикну...— прозвучало неожиданное, диссонирующее всему облику Василия Ивановича грубое «крылатое» слово. В эту минуту он удивительно был похож на... царя Феодора Иоанновича в исполнении Москвина:

— Да, я суров, грозён... весь в батюшку...

Вероятно, наивно-трогательный комизм этой сцены коснулся каких-то сокровенных струн огрубелого, обросшего колючей щетиной, но всё же русского, мужицкого

сердца Баринова. Василий Иванович получил назначение и переселился в лесную землянку, где жил тихо и спокойно вместе с одним из самых экзотических соловчан — бывшим обершталмейстером и начальником конюшен корейского императора, одноглазым колчаковцем, выплеснутым из пределов родной земли и вернувшимся в Россию только потому, что незримые нити, связывавшие его с ней, революция порвать не смогла.

Шпана быстро нашла дорогу в лесной уют. Авторитет совести, приобретенный Василием Ивановичем, не снизился, а возрос, и нередко по протоптанной между густыми папоротниками тропинке пробирались искавшие правосудия, иногда даже целыми группами. Здесь, под густыми лапами пятисотлетних елей, слышавших еще зовы убогого била над землянкой-часовенкой первых соловецких трудников-иноков, творился суд «скорый, правый и милостивый», твердо стоявший на основе закона совести, гуманнейшего в мире закона Российской Империи. Последний суд совести в забывшей ее и свое имя России...

Злопыхатели и завистники — были, конечно, и такие у Василия Ивановича — с усмешечкой называли его «доктором блатного права».

Шпана дала ему другое имя — «Василек — Святая душа».

Его сторожевка на огороде прошла благополучно. Первые воры, накопавшие там ночью картошки, были уличены в своем же бараке и крепко побиты. Этот самосуд был своеобразным, уродливым откликом совести, разбуженной призывными ударами убогого одинокого «била» нового соловецкого трудника «Василька — Святой души», совести — Света Божьего, в чью силу верил он тою же нерушимой верой, с которой шли на далекий остров его первые древние трудники...

Глава 24
ФРЕЙЛИНА ТРЕХ ИМПЕРАТРИЦ

По строгому уставу Соловецкого монастыря женщины на остров не допускались. Они могли поклониться святыням лишь издали, с крохотного «Заячьего островка». От пристани до него — верста с небольшим, и весь кремль с высящимися над ним куполами виден оттуда, как на ладони.

Традиция сохранилась. Новый хозяин острова отвел «Зайчики» под женский изолятор, куда попадали главным образом за грех против седьмой заповеди и куда в качестве представителя власти был допущен лишь один мужчина — семидесятилетний еврей, Бог весть какими путями попавший на службу в хозяйственную часть ЧК, проштрафившийся чем-то и угодивший в ссылку. Возраст и явная дряхлость ставили его, как жену Цезаря, вне подозрений.

Каторжницы, ни в чём не провинившиеся на Соловках, жили на самом острове, но вне кремля, в корпусе, обнесенном тремя рядами колючей проволоки, откуда их под усиленным конвоем водили на работы в прачечную, канатную мастерскую, на торфоразработки и на кирпичный завод. Прачечная и «веревочки» считались легкими работами, а «кирпичики» — формовка и переноска сырца — пугали. Чтобы избавиться от «кирпичиков», пускались в ход все средства, и немногие выдерживали 2—3 месяца этой действительно тяжелой, не женской работы.

Жизнь в женбараке была тяжелей, чем в кремле. Его обитательницы, глубоко различные по духовному укладу, культурному уровню, привычкам, потребностям, были смешаны и сбиты в одну кучу, без возможности выделиться в ней в обособленные однородные группы, как это происходило в кремле. Количество уголовных здесь во много раз превышало число каэрок, и они господствовали безраздельно. Притонодержательницы, проститутки, торговки кокаином, контрабандистки... и среди них — аристократки, кавалерственные дамы, фрейлины.

Выход из барака строго контролировался; даже в театр женщины ходили под конвоем и сидели там обособленно, тоже под наблюдением.

Женщины значительно менее мужчины приспособлены к нормальному общежитию. Внутренняя жизнь женбарака была адом, и в этот ад была ввержена фрейлина трех императриц, шестидесятипятилетняя баронесса, носившая известную всей России фамилию.

Великую истину сказал Достоевский: «Простолюдин, идущий на каторгу, приходит в свое общество, даже, быть может, более развитое. Человек образованный,

подвергшийся по законам одинаковому с ним наказанию, теряет часто несравненно больше него. Он должен задавить в себе все свои потребности, все привычки; должен перейти в среду для него недостаточную, должен приучиться дышать не тем воздухом... И часто для всех одинаковое наказание превращается для него в десятеро мучительнейшее. Это истина»... («Мертвый дом», стр. 68).

Именно такое, во много более тяжелое наказание несла эта старая женщина, виновная лишь в том, что родилась в аристократической, а не в пролетарской семье.

Если для хозяйки кронштадтского портового притона Кораблихи быт женбарака и его среда были привычной, родной стихией, то чем они были для смолянки, родной стихией которой были ближайшие к трону круги? Во сколько раз тяжелее для нее был каждый год, каждый день, каждый час заключения?

Беспрерывная, непрекращавшаяся ни днем, ни ночью пытка. ГПУ это знало и с явным садизмом растасовывало казрок в камеры по одиночке. С мужчинами в кремле оно не могло этого сделать, в женбараке это было возможно.

Петербургская жизнь баронессы могла выработать в ней очень мало качеств, которые облегчили бы ее участь на Соловках. Так казалось. Но только казалось. На самом деле фрейлина-баронесса вынесла из нее истинное чувство собственного достоинства и неразрывно связанное с ним уважение к человеческой личности, предельное, порою невероятное самообладание и глубокое сознание своего долга.

Попав в барак, баронесса была там встречена не «в штыки», а более жестоко и враждебно. Стимулом к ее травле была зависть к ее прошлому. Женщины не умеют подавлять в себе, взнуздывать это чувство и всецело поддаются ему. Слабая, хилая старуха была ненавистна не сама по себе в ее настоящем, а как носительница той иллюзии, которая чаровала и влекла к себе мечты ее ненавистниц.

Прошлое, элегантное, утонченное, ярко проступало в каждом движении старой фрейлины, в каждом звуке ее голоса. Она не могла скрыть его, если бы и хотела, но она и не хотела этого. Она оставалась аристократкой в лучшем, истинном значении этого слова; и в Соловецком женбараке, в смраде матерной ругани, в хаосе потасовок она была тою же, какой видели ее во дворце. Она не чуждалась, не отграничивала себя от окружающих, не проявляла и тени того высокомерия, которым неизменно грешит ложный аристократизм. Став каторжницей, она признала себя ею и приняла свою участь как неизбежность, как крест, который надо нести без ропота, без жалоб и жалости к себе, без сетования и слез, не оглядываясь назад.

Тотчас по прибытии баронесса была, конечно, назначена на «кирпичики». Можно представить себе, сколь трудно было ей на седьмом десятке носить на лотке двухпудовый груз. Ее товарки по работе ликовали:

— Баронесса! Фрейлина! Это тебе не за царицей хвост таскать! Трудись по-нашему! — хотя мало кто из них действительно трудился до Соловков.

Они не спускали с нее глаз и жадно ждали воплей, жалобы, слез бессилия, но этого им не пришлось увидеть. Самообладание, внутренняя дисциплина, выношенная в течение всей жизни, спасли баронессу от унижения. Не показывая своей несомненной усталости, она доработала до конца, а вечером, как всегда, долго молилась, стоя на коленях перед маленьким образком.

Моя большая приятельница дней соловецких, кронштадтская притонщица Кораблиха, баба русская, бойкая, зубастая, но сохранившая «жалость» в бабьей душе своей рассказывала мне потом:

— Как она стала на коленки, Сонька Глазок завела было бузу: «Ишь ты, Бога своего поставила, святая какая промеж нас объявилась», а Анета на нее: «Тебе жалко, что ли? Твое берет? Видишь, человек душу свою соблюдает!» Сонька и язык прикусила...

То же повторялось и в последующие дни. Баронесса спокойно и мерно носила сырые кирпичи, вернувшись в барак, тщательно чистила свое платье, молча съедала миску тресковой баланды, молилась и ложилась спать на свой аккуратно прибранный топчан. С обособленным кружком женбарачной интеллигенции она не сближалась, но и не чуждалась, и, как и вообще не чуждалась никого из своих сожительниц, разговаривала совершенно одинаковым тоном и с беспрерывно вставлявшей французские слова княгиней Шаховской и с Сонькой Глазком, пользовавшейся в той же

мере словами непечатными. Говорила она только по-русски, хотя «обособленные» предпочитали французский.

Шли угрюмые соловецкие дни, и выпады против баронессы повторялись всё реже и реже. «Остроумие» языкатых баб явно не имело успеха.

— Нынче утром Манька Длинная на баронессу у рукомойника наскочила, — сообщала мне вечером на театральной репетиции Кораблиха,— щетки, мыло ее покидала: крант, мол, долго занимаешь! Я ее поганой тряпкой по ряшке как двину! Ты чего божескую старуху обижаешь? Что, тебе воды мало? У тебя где болит, что она чистоту соблюдает?

Окончательный перелом в отношении к бывшей фрейлине наступил, когда уборщица камеры, где она жила, «объявилась».

«Объявиться» на соловецком жаргоне значило заявить о своей беременности. В обычном порядке всем согрешившим против запрета любви полагались Зайчики, даже и беременным до седьмого-восьмого месяца. Но бывших уже на сносях отправляли на остров Анзер, где они родили и выкармливали грудью новорожденных в сравнительно сносных условиях, на легких работах. Поэтому беременность тщательно скрывалась и объявлялась лишь тогда, когда можно было, минуя Зайчики, попасть прямо к «мамкам».

«Объявившуюся» уборщицу надо было заменить, и по старой тюремной традиции эта замена производилась демократическим порядком — уборщица выбиралась. Работа ее была сравнительно легкой: вымыть полы, принести дров, истопить печку. За место уборщицы боролись.

— Кого поставим? — запросила Кораблиха. Она была старостой камеры.

— Баронессу! — звонко выкрикнула Сонька Глазок, безудержная и в любви и в ненависти.— Кого, кроме нее? Она всех чистоплотней! Никакой неприятности не будет...

Довод был веский. За грязь наказывалась вся камера. Фрейлина трех всероссийских императриц стала уборщицей камеры воровок и проституток. Это было большой «милостью» к ней. «Кирпичики» явно вели ее к могиле.

Я сам ни разу не говорил с баронессой, но внимательно следил за ее жизнью через моих приятельниц, работавших в театре: Кораблиху и ту же Соньку Глазок, певшую в хоре.

Заняв определенное социальное положение в каторжном коллективе, баронесса не только перестала быть чужачкой, но автоматически приобрела соответствующий своему «чину» авторитет, даже некоторую власть. Сближение ее с камерой началось, кажется, с консультации по сложным вопросам косметических таинств, совершающихся с равным тщанием и во дворце и на каторге. Потом разговоры стали глубже, серьезнее... И вот...

В театре готовили «Заговор императрицы» Ал. Толстого — халтурную, но игровую пьесу, шедшую тогда во всех театрах СССР. Арманов играл Распутина и жадно собирал все сведения о нём у видавших загадочного старца.

— Всё это враки, будто царица с ним гуляла,— безапелляционно заявила Сонька,— она его потому к себе допускала, что он за Наследника очень усердно молитствовал... А чего другого промеж них не было. Баронесса наша при них была, а она врать не будет.

Кораблиха, воспринявшая свое политическое кредо среди кронштадтских матросов, осветила вопрос иначе:

— Один мужик до царя дошел и правду ему сказал, за то буржуи его и убили. Ему царь поклялся за Наследниково выздоровление землю крестьянам после войны отдать. Вот какое дело!

Нарастающее духовное влияние баронессы чувствовалось в ее камере все сильнее и сильнее. Это великое таинство пробуждения Человека совершалось без насилия и громких слов. Вероятно, и сама баронесса не понимала той роли, которую ей назначено было выполнить в камере каторжного общежития. Она делала и говорила что надо, так, как делала это всю жизнь. Простота и полное отсутствие дидактики ее слов и действия и были главной силой ее влияния на окружающих.

Сонька среди мужчин сквернословила по-прежнему, но при женщинах стала заметно сдерживаться, и, главное, ее «эпитеты» утратили прежний тон вызывающей бравады, превратившись просто в слова, без которых она не могла выразить всегда

клокотавших в ней бурных эмоций. На Страстной неделе она, Кораблиха и еще две женщины из хора говели у тайно проведенного в театр священника — Утешительного попа. Таинство принятия Тела и Крови Христовых совершалось в темном чулане, где хранилась бутафория, Дарами, пронесенными в плоской солдатской кружке в боковом кармане бушлата. «На стреме» у дверей стоял бутафор-турок Решад-Седад, в недавнем прошлом коммунист, нарком просвещения Аджаристана. Если б узнали,— быть бы всем на Секирке и Зайчиках, если не хуже...

Когда вспыхнула страшная эпидемия сыпняка, срочно понадобились сестры милосердия или могущие заменить их. Нач. санчасти УСЛОН М. В. Фельдман не хотела назначений на эту смертническую работу. Она пришла в женбарак и, собрав его обитательниц, уговаривала их идти добровольно, обещая жалованье и хороший паек. Желающих не было. Их не нашлось и тогда, когда экспансивная Фельдман обратилась с призывом о помощи умирающим.

В это время в камеру вошла старуха-уборщица с вязанкой дров. Голова ее была укручена платком — на дворе стояли трескучие морозы. Складывая дрова к печке, она слышала лишь последние слова Фельдман:

— Так никто не хочет помочь больным и умирающим?

— Я хочу,— послышалось от печки.

— Ты? А ты грамотная?

— Грамотная.

— И с термометром умеешь обращаться?

— Умею. Я работала три года хирургической сестрой в Царскосельском лазарете...

— Как ваша фамилия?

Прозвучало известное имя, без титула.

— Баронесса! — крикнула, не выдержав, Сонька, но этот выкрик звучал совсем не так, как в первый день работы бывшей фрейлины на «кирпичиках».

Второй записалась Сонька и вслед за нею еще несколько женщин. Среди них не было ни одной из «обособленного» кружка, хотя в нем много говорили о христианстве и о своей религиозности.

Двери сыпнотифозного барака закрылись за вошедшими туда вслед за фрейлиной трех русских императриц. Оттуда мало кто выходил. Не вышло и большинство из них.

М. В. Фельдман рассказывала потом, что баронесса была назначена старшей сестрой, но несла работу наравне с другими. Рук не хватало. Работа была очень тяжела, т. к. больные лежали вповалку на полу и подстилка под ними сменялась сестрами, выгребавшими руками пропитанные нечистотами стружки. Страшное место был этот барак.

Баронесса работала днем и ночью, работала так же тихо, мерно и спокойно, как носила кирпичи и мыла пол женбарака. С такою же методичностью и аккуратностью, как, вероятно, она несла свои дежурства при императрицах. Это ее последнее служение было не самоотверженным порывом, но следствием глубокой внутренней культуры, воспринятой не только с молоком матери, но унаследованной от ряда предшествовавших поколений. Придет время, и генетики раскроют великую тайну наследственности.

Владевшее ею чувство долга и глубокая личная дисциплина дали ей силы довести работу до предельного часа, минуты, секунды...

Час этот пробил, когда на руках и на шее баронессы зарделась зловещая сыпь. М. В. Фельдман заметила ее.

— Баронесса, идите и ложитесь в особой палате... Разве вы не видите сами?

— К чему? Вы же знаете, что в мои годы от тифа не выздоравливают. Господь призывает меня к Себе, но два-три дня я еще смогу служить Ему...

Они стояли друг против друга. Аристократка и коммунистка. Девственница и страстная, нераскаянная Магдалина. Верующая в Него и атеистка. Женщины двух миров.

Экспансивная, порывистая М. В. Фельдман обняла и поцеловала старуху.

Когда она рассказывала мне об этом, ее глаза были полны слез.

— Знаете, мне хотелось тогда перекрестить ее, как крестила меня в детстве няня. Но я побоялась оскорбить ее чувство веры. Ведь я же еврейка.

Последняя секунда пришла через день. Во время утреннего обхода баронессе села на пол, потом легла. Начался бред.

Сонька Глазок тоже не вышла из барака смерти, и души их вместе предстали перед Престолом Господним.

Глава 25
ДУШУ ЗА ДРУГИ ПОЛОЖИВШИИ

Удачных побегов с Соловков не было. Напечатавший в Риге в 1925 или 1926 г. свои очерки «Остров крови и смерти» Мальсагов бежал не с самих островов, а с одной из командировок на Кемском берегу. Но и оттуда его побег был до 1927 г. единственным и, несомненно, героическим.

Три или четыре офицера, выйдя на работу в лес, разоружили и связали конвоира и без карты, без компаса устремились к финской границе. Нужно было идти тундрой и болотистым лесом не менее 300 км., избегая больших поселков. Продовольствия у них не было, оружия — одна винтовка и две обоймы патронов. Питались, очевидно, лишь ягодами да грибами.

Погоня, пущенная через несколько часов по их следу, шла всё время по пятам. Ее вели собаки. Иногда беглецов настигали. Тогда их лучший стрелок маскировался и меткими выстрелами укладывал ближайших преследователей. Говорили, что пятьшесть красноармейцев было убито и ранено.

Беглецы всё же дошли до финской границы, были приняты генералом Маннергеймом и позже переехали в Ригу, где Мальсагов и выпустил свои очерки.

Но попыток к побегу было много. Бежали исключительно уголовники с большим сроком, главным образом бандиты-«мокрятники» (убийцы). Обычно они пытались незаметно проскочить на отходящий пароход и спрятаться где-нибудь в трюме. Проскочить удавалось, но спрятавшихся неизменно обнаруживали при выгрузке в Кеми. Расстреливали их не всегда, чаще гноили на Секирке.

Бывали и трагикомические случаи. Один шпаненок решил укрыться в трубе парохода, но как только затопили печь, конечно, сам выскочил оттуда.

Самой смелой из попыток уголовников был побег бандита по кличке Драгун. Он бежал в одиночку и рассчитывал перебраться на лодке, но захватить ее ему не удалось. Тогда Драгун скрылся в лесу, в тот же день напал на проходившего лесной дорогой охранника и отобрал у него оружие.

Эйхманс выслал погоню, но она не смогла найти Драгуна в дебре. Не помогли и собаки. Драгун появлялся то там, то здесь, нападал на мелкие рабочие посты, отбирал продовольствие и действовал настолько смело, что обобрал даже повариху Эйхманса, несшую продукты в его резиденцию, отстоявшую в двух-трех километрах от кремля.

Взбешенный Эйхманс разнес чекистов-охранников и двинул на Драгуна чуть ли не весь Соловецкий особый полк, который прочесал цепочками весь остров от края до края. Драгун снова ускользнул. Тогда Эйхманс ввел на острове нечто вроде осадного положения, покрыл его сетью застав, пустил патрули, но не помогли и эти меры.

Эйхманс капитулировал. Он снял заставы и разбросал по дорогам объявления, в которых гарантировал «своим честным чекистским словом» жизнь Драгуну, если тот придет с повинной.

Драгун сдался. Эйхманс пытался сдержать свое «чекистское слово». Много странных сплетений было в душе этого чекиста из рижских студентов, захлестнутого русской революцией, и, несомненно, в ней была своя трещина, своя драма, закончившаяся его расстрелом на Новой Земле. Он просил о смягчении приговора Драгуну, мотивируя просьбу тем, что убийств при побеге тот не совершил. Но Москва не сочла нужным посчитаться с его «чекистским словом», и Драгун был расстрелян.

Рассказывали, что, узнав о приговоре, он только крепко выругался, а смерть встретил совершенно спокойно.

Но вряд ли бы удалось Драгуну спастись, даже захватив лодку. Его настигли бы моторные катера или единственный имевшийся тогда на Соловках самолет. Их наличие делало летом побег морем невозможным.

Зимою бежать было еще труднее. Белое море замерзает не сплошь, остаются

широкие пространства чистой воды. Следовательно, надо тянуть с собой лодку. Это требует страшных усилий нескольких человек, так как лед не ровен, а загроможден хаосом глыб.

Самым удобным временем для побега морем была поздняя осень, когда над ним ползут густые туманы. Под их покровами беглецы могли рассчитывать укрыться и от катеров погони и, главное, от зорких глаз самолета. Но в это время года их подстерегал другой страшный враг — шуга.

Море замерзает не сразу. Сначала по нему идут отдельные мелкие льдинки. Потом они скопляются густыми массами и ползут, подгоняемые ветром или течением. Это и есть шуга. Не только лодки, но и промысловые шхуны, попав в нее, не могут вырваться. Соловецкая летопись сохранила предание о нескольких монахах-рыболовах, занесенных шугою на Новую Землю — далекий пустынный Грумонт, где они прожили робинзонами десять лет, пока их не спас норвежский китобой.

Это-то время и избрали для осуществления своего плана несколько морских офицеров. Душою заговора был князь Шаховской, более известный на Соловках под фамилией Круглов, под которой он был захвачен после провала заговора Таганцева, к которому, кстати сказать, прямого отношения не имел.

Все флотские держались особняком, работали обычно, сбиваясь в свои группы. Тяжелых работ не боялись, и странно, что в этих группах и офицеры и матросы не только легко уживались вместе, но стремились к этому объединению и крепко держались друг за друга. От слепой ненависти «братвы» к «драконам», столь ярко вспыхнувшей в первые годы революции, не осталось и следа. Наоборот, в этих морских группах, всегда твердо державших свою внутреннюю дисциплину, было заметно, если не чинопочитание, то во всяком случае признание старшинства и авторитета офицера. Он всегда становился фактическим старшим в группе, даже если назначен был другой. Но чужаков в эти артели и не назначали. После нескольких печально окончившихся попыток начальство решило предоставить флотских самим себе, так как дорожило ими, как лучшими ударниками на самых тяжелых работах.

Характерен такой случай. Позднею осенью на Соловки зашел возвращавшийся в Архангельск ледокол. Капитан пропьянствовал ночь с Эйхмансом, а в то время ударил сильный мороз и бухта разом покрылась толстым слоем льда. Ледокол вмерз, и вмерз безнадежно, так как был построен по системе адмирала Макарова, то есть пробивал себе путь, вползая на лед с разбега и продавливая его своею тяжестью. Лишенный возможности разбежаться по чистой воде, он был бессилен.

Работавший в то время в порту морской офицер Вонлярлярский предложил пропилить путь ледоколу во льду, пользуясь обычными двуручными пилами. На один конец такой пилы привязывался груз, который тянул ее книзу, а за другой пильщик вытягивал ее вверх, действуя по вертикали. Но для успеха дела — пропилки дороги в полтора-два километра — была необходима одновременная работа на всем ее протяжении, так как иначе уже готовые участки замерзали бы снова за время пропилки последующих. Для такой работы нужно было мобилизовать всех дроворубов и побудить эту нестройную хаотическую толпу к одновременному, дружному и напряженному действию в тяжелых условиях.

Чтобы достигнуть этого, Вонлярлярский, которому было поручено руководство работой, использовал именно эту внутреннюю спайку и дисциплину флотских. Он поставил их старшими групп по всей линии и создал этим крепкий передаточный аппарат для утверждения своей воли.

Работа была выполнена быстро и четко, без неразберихи и сутолоки, ругани и избиения, неизменно сопровождавших администрирование грузино-меньшевистской рабсилы.

Только в такой среде мог возникнуть и вызреть рациональный, обладавший шансами на успех план побега. Возможность предательства в ней была сведена к нулю, хотя сексотов, навербованных из самих заключенных, было много. Но среди флотских каждый возможный предатель знал, что он будет узнан и неминуемо убит не самими пострадавшими от него, но коллективом — «братвой». О подготовке к побегу этой группы знали и другие, но тайна была сохранена.

Выполнению плана помог случай. Талантливый молодой инженер Стрижевский сконструировал для морских прогулок Эйхманса глиссер — моторный катер с воз-

душным винтом, развивавший скорость вдвое большую, чем катера обычного типа. Получив пять-шесть часов преимущества, он становился, безусловно, неуловимым для водных преследователей. Но оставался самолет. Он мог догнать глиссер и потопить его одной ручной гранатой. Нужно было избавиться от этой угрозы.

Ангар тщательно охранялся чекистами. Сам летчик уходом за машиной не занимался, называл ее не иначе, как «гробом», чего этот аппарат времен первой Великой войны вполне заслуживал. Кажется, в авиационной механике летчик сам был слаб и поднимался в воздух только в пьяном виде, но летал смело и искусно.

Уход за самолетом вел некто Силин, лицо мало кому известное, инвалид, хромавший на обе ноги. Он помещался при ангаре, под строгим контролем охраны, имел большой срок. Появляясь иногда в кремле, он редко с кем разговаривал, брал помногу книг в библиотеке, закупал продукты в закрытом магазине, куда был допущен, и уходил. Начальство, видимо, им дорожило и даже платило ему какое-то жалованье.

Позже говорили, что это был известный морской летчик, носивший тогда другую фамилию, но точно об этом знали очень немногие.

Силин, этот загадочный человек,— таких немало было тогда на Соловках,— и взял на себя главную роль в осуществлении побега. К намеченному времени, не раньше, не позже, он должен был вывести самолет из строя.

Это был не риск. Это было осознанное обречение себя на гибель. Сам бежать он не мог. Он находился под постоянным наблюдением, и даже отсутствие его на квартире в ночное время, несомненно, тотчас бы вызвало тревогу. Кроме того, можно было предполагать, что при его выходе из ангара за ним направлялся наблюдатель. Следовательно, побег был бы сорван.

Участь его при удаче побега без него тоже была вполне ясна. Непригодность аппарата к полету в нужный момент была вполне достаточной причиной для расстрела, даже при отсутствии других улик.

На сохранение жизни у Силина не было ни одного шанса. Он шел на неотвратимую смерть. И все же он пошел.

* * *

Туманной ноябрьской ночью, после вечерней поверки, из кремля скрылось три или четыре человека. Вероятно, они спустились со стены по веревке, что было нетрудно, потом веревка была кем-то убрана.

Нападение на часового при катерах вынырнувшими внезапно из тумана людьми тоже не представляло большого труда. Он не был убит, а лишь обезоружен и связан. Гораздо труднее было снабдить к этому моменту глиссер большим запасом бензина. Это мог выполнить только Силин, имевший в своем распоряжении горючее самолета. Вероятно, он заранее пронес баки в условленное место.

Отважные беглецы вышли в море ночью. Их отсутствие было замечено только на утренней поверке. В то же время обнаружили и исчезновение глиссера.

Беглецы могли уйти за ночь на 250—300 километров.

— Самолет!

Мотор был разобран для генеральной чистки без приказания пилота. Некоторые части его оказались негодными.

Силин был расстрелян, но, очевидно, не назвал никого при допросах. Несколько моряков было арестовано, но держали их недолго. Улик не было.

Лишь один Силин «положил живот свой за други своя» и совершил этот подвиг, следуя славной традиции Российского Императорского флота. Он был верен ей до конца.

* * *

О дальнейшей судьбе этих единственных беглецов, которым все же удалось вырваться с каторги, сведений нет. Можно сказать с уверенностью лишь то, что они не были пойманы. Вышедшие все же в погоню катера вернулись ни с чем.

Но в эмиграции никто не мог дать сведений об их прибытии, которое не могло пройти незамеченным. Остается предположить лишь одно: отважные моряки погибли в пути. Это вполне возможно. Глиссер был хрупким суденышком. Столкновение

с льдиной в тумане было бы верною гибелью для него. Попав в шугу, он был бы растерт ею в щепки.. Кроме того, вряд ли у беглецов были компас и морская карта.

«Безумству смелых поем мы славу», но высшей славы достоин тот, кто без малейшей надежды на спасение принес себя в жертву их подвигу...

Глава 26
МУЖИЦКИЙ ХРИСТОС

За кремлем, на пригорке, с которого открывается морской простор, стоит каменный столб. Он был поставлен Петром Великим во время первого его приезда на Белое море, при первой встрече с суровыми, гордыми капитанами фрегатов и каравелл, теми, у кого...

Не пылью изъеденных хартий,
Солью моря пропитана грудь...
Кто иглой по разорванной карте
Отмечает свой дерзостный путь.
Или бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так что золото сыплется с кружев
Розоватых брабантских манжет.

Дерзостный юноша-царь, вырвавшись на морской простор из плена дворцовых стен нерушимого Третьего Рима, из тумана банного пара с росным ладаном, из-под низких, давящих сводов Грановитой палаты, увидел здесь иные туманы, клубившиеся над северными пенистыми волнами, а за ними — своды высоких лазурных небес, простертых над дальними, запретными, прелестными странами...

Он, разрывавший свои оковы царственный пленник, увидел здесь путь к мечте...

Тогда он приказал утвердить этот столб и высек на его камне своею могучею рукой:

«До Амстердама-града... (столько-то) верст»[8]
«До Веницин-града... (столько-то) верст.

* * *

Этот столб стоит и поныне. Свищет вокруг него колючий норд-ост, вздымает и несет мириады льдистых игл, колет ими зажимающих уши ладонями куда-то спешащих людей. Свищет он и в кремлевских стенах, злобный, вражеский, воет в зубцах вековечных стен, рвет снежные шапки с угрюмых башен, костенит пальцы, леденит тело, сковывает душу...

Плен. Бессилие. Впереди — тьма...

...Тьма и в переполненном зале соловецкого театра. Не видно и не слышно, как раздвигаются полы занавеса. Тьма и на сцене...

Но вот во тьме раздаются чьи-то голоса. Они звучат грустью:

Занесет нас зимою метель
И запрячет на полгода в щель...
Лишь весною найдут рыбаки
Соловки, Соловки, Соловки...

Один за другим вспыхивают цветные фонарики... Они замирают, снова загораются. Их все больше и больше... в темноте уже вырисовываются неясные силуэты ритмически колышащихся женских фигур, огоньки кружатся, танцуют в уходящей, рассеивающейся побежденной тьме. Ритм песни оживает, она звучит уже лаской, смутной надеждой...

Мило нам из щели соловецной
Вдаль взглянуть с улыбкой ясной, детской...
Приходите к нам и слушайте, как тут
Песенки веселые поют, поют...

Эта пьеска называлась «Светлячки». Она была написана двумя не-поэтами: Н. К. Литвиным и автором этих строк. Мотивом послужила популярная тогда песенка о «Ню, смеявшейся весело и звонко». Пьеска была сценически оформлена и поставлена на первом спектакле ХЛАМ'а в 1925 г. младшим режиссером 2-го МХАТ Н. М. Красовским.

[8] Сколько именно верст — я помнить, конечно, не могу. — Б. Ш.

Когда я заканчивал эту повесть о годах, проведенных на Святом острове, записывая ушедшее уродливое и прекрасное, ничтожное и величавое, безмерно униженное и неудержимо взметывавшееся ввысь прошлое, я прочел уже несколько измененные слова этой песни в повести Г. Андреева.

Г. Андреев был на Соловках позже меня. Он видел лишь некоторых из уцелевших соловчан «первого призыва». Подавляющее большинство уже погибло или рассеялось по разросшимся концлагерям, растворилось в мутных волнах новых «наборов». Но он видел там эту же пьеску, которая, потеряв свое имя, стала, как он отмечает, традицией.

Иные люди... Но песня та же. Почему? Потому, что в ней — мечта узника о свободе, та же мечта, что владела Петром, высекавшим на камне столба:

«До Веницин-града... верст».

Над островом завывала метель и тяготела тьма, а здесь, из рассеянной тьмы, выплывала ярко-оранжевая луна на синем тропическом небе, и сказочный раджа, он же каторжник Ганс-Милованов, грохотал своим потрясающим басом на мотив из «Жрицы огня»:

Соловки открыл монах Савватий,
Был тот остров неустроенный пустырь.
За Савватьем шли толпы черных братий...
Так возник великий монастырь!

Край наш, край, соловецкий,
Ты для кэров и шпаны прекрасный край!
Снова с усмешкой детской
Песенку про лагерь начинай!

Но теперь совсем иные лица
Прут и прут сюда со всех сторон.
Здесь сплелися быль и небылица
И замолк китежный древний звон...

Но со всех сторон Советского Союза
Едут, едут, едут без конца.
Всё смешалось: фрак, армяк и блуза...
Не видать знакомого лица!

Край наш, край соловецкий,
Всегда останется, как был, чудесный край...

Раджу сменяла толпа веселых моряков, плясавших джигу и слушавших в тени банана песню-рассказ старого капитана:

Это было много лет назад.
Порт шумел в вечерний час.
Подошел ко мне слуга-мулат,
Дал письмо и скрылся с глаз...

В той стране, где зелены лианы,
В той стране, где губы так пряны,
Там под тенью манга и банана
Поцелуи призрачны и пьяны...

Не ту ли песню-мечту о свободных просторах и странах пели дерзостному юноше Петру изъеденные солью дальних морей капитаны заморских фрегатов?

Не в память ли ее он водрузил каменный столб?

— И снова свищет и беснуется вокруг столба снежная вьюга...

Над островом — тьма.

— До Веницин-града... верст...

* * *

Давно, 19 октября 1825 года, в жарко натопленной горнице скромного барского домика села Михайловского лицеист первого выпуска Александр Сергеевич Пушкин писал гусиным пером на листе желтоватой бумаги:

Роняет лес багряный свой убор;
Сребрит мороз увянувшее поле;
Проглянет день, как будто поневоле,
И скроется за край окружных гор.

Пылай, камин, в моей пустынной келье;
А ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горьких мук.

Ярко вспыхивали в печке еловые дрова. Проглядывал поневоле осенний день. Оживала пустынная Михайловская келья. «Минутное забвенье горьких мук» уносило опального лицеиста в те дни, «когда в садах Лицея он безмятежно расцветал»...

Через сто лет, 19 октября 1925 года, в жарко натопленной камере шестой роты первого отделения Соловецких концлагерей звучали те же слова. Ярко вспыхивали в печке еловые дрова. Проглядывал поневоле осенний день. Оживала пустынная Соловецкая келья. «Минутное забвенье горьких мук» уносило последних ссыльных лицеистов в те дни, «когда в садах Лицея...» и

Сладкая готовилась отрада
В обнтали пустынных вьюг и хлада...

«Спаси меня хоть крепостью, хоть Соловками»,— писал Пушкин Жуковскому. Думал ли тогда опальный питомец Лицея, что вековые замшелые стены сурового монастыря замкнут и отрекут от мира многих из числа последних питомцев горячо любимого им «Царскосельского отечества», а безвестная братская могила — без креста и гробов,— не смыкавшая своего черного зева на каторжном кладбище, станет последним пристанищем некоторых из них? Мог ли он предположить, что пламенные слова его послания к друзьям юности прозвучат там ровно через сто лет и

Усладят мученья день печальный
И в день его Лицея превратят —

для тех немногих, кто среди непредугаданной поэтом, немыслимой даже для его гениального прозрения России останется верным традициям «царем открытого для них царицыне чертога»?

Стремясь проникнуть в будущее своим вещим взором, Пушкин видел в тот день лишь того из своих однокашников, «кому под старость день Лицея торжествовать придется одному».

Мы не знаем, вспомнил ли эти слова «несчастный друг, средь новых поколений докучный гость, и лишний, и чужой»,— переживший всех лицеистов Пушкинского выпуска светлейший князь Горчаков, но через 42 года после его смерти они с невыразимой трагической силой прозвучали в устах одного из последних питомцев Лицея — Кондратьева, в одной из келий ставшего каторгой Соловецкого монастыря, на потаенном собрании в день годовщины — 19-XI—1925 года.

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен,—

писал Пушкин ровно за сто лет до этого дня,— и вечный дух величайшего из лицеистов витал среди последних из них, загнанных на суровый остров и отринутых обезумевшим народом, тем, в котором «чувства добрые он лирой пробуждал».

Их было немного. Всего 12—15 человек, и страшною правдою прозвучали слова:

Еще кого недосчитались мы?
Чей глас умолк на братской перекличке?
Кто не пришел? Кого меж нами нет?

Так спрашивал поэт немногих уцелевших, собравшихся в день Лицея «в обители пустынных вод и хлада», устами каторжника-лицеиста Кондратьева.

Продолжение следует

ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ

О РАБОТЕ «НАУКА И ПРИРОДА» И ЕЕ АВТОРЕ

Моя цель — сказать несколько слов об авторе нижеследующей работы Андрее Ивановиче Лапине. Задача не простая: слишком плохо он укладывается в привычные нормы и оценки. Не знаешь даже, как его характеризовать. Новый для читателя автор, с первой публикацией которого тот сейчас знакомится? Это почти верно: до сих пор было опубликовано лишь маленькое эссе Лапина «Наследник человека» («Вестник Русского христианского движения» за 1978 г. № 125 перепечатано в «Нашем современнике» № 7 за 1990 г.). Или исследователь, написавший за последние десятилетия множество глубоких и оригинальных работ по истории, философии, истории религии, социологии? И это верно. Только рукописи этих работ, как правило, не доходили даже до машинки, в любом случае циркулировали в узком кругу знакомых автора. Отчасти исключением была работа «Основы марксизма», ходившая в самиздате в начале 70-х годов. Хотя и она не получила широкого распространения: ее критический уровень слишком не соответствовал взглядам большинства тогдашних читателей самиздата, в основном носившихся с идеей о том, что «Сталин извратил законы марксизма». Обсуждался вопрос о ее публикации в журнале «Континент», но и там она оказалась не ко двору.

Однако те, кто мог познакомиться с рукописями Лапина, черпали из них очень много. Об этом я могу судить по собственному опыту, так как был не только читателем его работ, но и собеседником еще с довоенных времен, когда нам было по 15—16 лет. Даже если я не соглашался с автором, и не соглашался кардинально, я всегда находил в его рукописях совершенно новые идеи, точки зрения. Особенно многим обязана ему моя книга «Социализм как явление мировой истории». Когда она вышла в Париже в 1977 г., я не мог отдать ему должное, не навлекая на него серьезных неприятностей. В советском ее издании я надеюсь сказать об этом подробнее. Мне приходилось встречать и другие случаи очевидного влияния рукописей Лапина в опубликованных произведениях — от концепций и мыслей до почти дословных заимствований — «раскавыченных цитат».

Предлагаемая работа «Наука и природа» была написана в первой половине 70-х годов. В ней высказывается парадоксальный тезис: научный, экспериментальный метод вообще неприменим к познанию Природы. Он в принципе способен изучать лишь некоторые абстракции: природу, подогнанную под условия лаборатории. К объектам природы он может быть применен лишь когда они вырваны из системы естественных связей, если были живыми — умерщвлены (в прямом смысле, как раньше умерщвляли клетку, окрашивая ее для исследования под микроскопом, или в расширенном, как Павлов обездвиживал собаку). Все более широкое применение этого метода органически связано с приведением Природы в подобное «неживое» состояние. В этом и заключается, по мнению автора, психологическая, духовная основа как экологического кризиса, так и революции, основанной на «научном понимании истории». Это не неудачные попытки применения «научного метода», а наоборот, особенно удачные, примеры его наиболее последовательного осуществления.

Обоснованию этой мысли посвящена работа. Приведу несколько других соображений в пользу такого, казалось бы парадоксального, тезиса. Прежде всего то, что несколько других авторов, подходя к вопросу с другой стороны, высказывали близкие мысли. Например, известный историк физики Е. Берт в книге «Метафизические основы современной физической науки» пишет следующее: Галилей (как раз основатель экспериментального метода) говорил, что «книга Природы написана на языке геометрии». Обычно это понимают как указание на важность математического аппарата для физики. Но мысль Галилея радикальнее. Он изучает физику не реального, а некоторого «геометрического» мира, где, например, тела движутся без трения и сопротивления воздуха и т. д. Именно этим был предсказан весь дальнейший путь физики.

А вот формулировка А. Ф. Лосева: «Говорили: идите к нам, у нас — полный реализм, живая жизнь; вместо ваших фантазий и мечтаний откроем живые глаза и будем телесно ощущать все окружающее, весь подлинный, реальный мир. И что же? Вот мы пришли, бросили «фантазии» и «мечтания», открыли глаза. Оказывается — полный обман и подлог. Оказывается: на горизонт не смотри, это — наша фантазия; на небо не смотри — никакого неба нет; границы мира не ищи — никакой границы тоже нет; глазам не верь, ушам не верь... Батюшки мои, да куда же это мы попали? Какая нелегкая занесла нас в этот бедлам, где чудятся только одни пустые дыры и мертвые точки? Нет, дяденька, не обманешь. Ты, дяденька, хотел шкуру с меня спустить, а не реалистом меня сделать. Ты, дяденька, вор и разбойник». (Этот отрывок цитировал Каганович в выступлении на XVI съезде ВКП(б), послужившем сигналом к аресту Лосева.)

Биолог Л. Берталанфи считал, что экспериментальная психология не изучает ни живых организмов, ни людей в их естественном состоянии. Наоборот, сначала крысу помещают в лабиринт, где она находится в совершенно неестественных условиях, не использует большей части возможностей своей психики, превращается в автомат. Из этого и делают вывод, что животное является автоматом. «Результативность» этого направления исследований основана на том, что и человека при помощи рекламы, индустрии развлечений тоже ставят в столь неестественные условия, что он действует как крыса в лабиринте или как автомат.

С другой стороны, экспериментальный метод далеко не тождествен науке вообще. Ряд фундаментальных открытий были сделаны иным путем. Так, Дарвин не ставил экспериментов (кроме, кажется, небольшого числа опытов по скрещиванию голубей) — он наблюдал. И в исследованиях одного из крупнейших биологов нашего времени, создателя этологии (науки о поведении животных) — Конрада Лоренца наблюдение играло гораздо большую роль, чем эксперимент. На непосредственном наблюдении природы основывались и такие поразительные открытия, как язык пчел, разгаданный фон Фришем, ритуалы животных, обнаруженные Дж. Гексли, и т. д.

Тема статьи А. И. Лапина, кроме ее культурно-исторического интереса, жизненно важна для всех нас. От этого вопроса, быть может, зависит само существование человечества. Мы все сейчас безоговорочно выданы на милость науке, в ее распоряжении находится наша жизнь и смерть. А оценить правильность вызревающих в ее недрах решений мы не в состоянии, разве что последствия принимают колоссальные размеры. При этом весь ход нашей жизни определяется не одним каким-то конкретным эпизодом научно-технического прогресса, а его глобальным течением. Значит, и результат зависит не от взглядов отдельных ученых, а от «научной идеологии» в целом.

Уже много раз обсуждалось, куда она способна толкнуть ученого. Я не говорю о «Фаусте» Гете, где все это еще довольно абстрактно. Но вот у Достоевского Раскольников говорит: «По-моему, если бы Кеплеровы или Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь комбинаций никоим образом не могли бы стать известны людям иначе, как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста и так далее человек, мешавших бы этому открытию или ставших бы на пути как препятствие, то Ньютон имел бы право и даже был бы обязан... устранить эти десять или сто человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству».

Недавно и на страницах «Нашего современника» обсуждалась ситуация, связанная с тем же кругом проблем,— судьба знаменитого биолога Тимофеева-Ресовского, ставшая предметом широкого интереса благодаря посвященному ей роману Д. Гранина «Зубр». Я не могу быть объективным к Тимофееву-Ресовскому. Помню, какое впечатление произвели идеи, начавшие циркулировать в послевоенные годы,— что наследственность определяется процессами, происходящими не на организменном уровне, даже не на клеточном, а на атомном. Жизнь как результат атомных явлений, управляемых законами квантовой механики! От такой мысли захватывало дух. Все интересовавшиеся общими проблемами науки зачитывались тогда книжкой Шредингера «Что такое жизнь с точки зрения физики?». И основная работа, на которую автор опирался, была работа Тимофеева-Ресовского. Возможно, поэтому я не могу, например, принять стиль письма, опубликованного в № 9 за 1990 год, где Тимофеев-Ресовский фигурирует одновременно с валютными проститутками. Многое мне трудно принять и в публикации на ту же тему в № 11 за 1989 год. В качестве аргументов там привлекаются материалы следствия 1946 года. Можно представить себе, какую обработку прошли «свидетели» в руках тогдашних мясников! Да и в 1988 году так ли полно реабилитировала себя советская юриспруденция? Можно ли быть уверенным, что в пересмотренном деле не сказалось желание защитить репутацию «органов»? К тому же употребление терминов, лишенных смысла (вроде «лучи нейтрона»), заставляет сомневаться в том, что авторы досье всегда понимали, о чем они говорят. Вообще мне кажется, что тема личной ответственности Тимофеева-Ресовского в развернувшейся дискуссии чрезмерно акцентируется. Он-то уж держит ответ перед другим судом. Да и с нашим, советским судом познакомился достаточно: был на лесоповале обреченным доходягой, чудом спасся. И не нам, которые всего этого не хлебнули, судить его.

Гораздо важнее для нас не судить Тимофеева-Ресовского, а понять импульсы, определявшие его поведение. Ведь жил он в Германии, несомненно читал Гитлера и Розенберга, знал, какую политику по отношению к нашей стране они проводили, какую будущность ее народу готовили. Его институт вел исследования, которые по

меньшей мере могли быть использованы в связи с «Урановым проектом» (созданием атомной бомбы). Да ведь и у нас его «выдернули» с лесоповала на шарашку лишь потому, что наконец догадались, что он — крупный специалист в этой области.

Судя по различным указаниям, он продолжал любить свою страну. Так почему же он вообще не уехал из Германии? Эмиграция в любую западную страну была возможна. Я знаю нескольких немцев-математиков, эмигрировавших по идейным соображениям уже после начала войны. И, несомненно, Тимофееву-Ресовскому предложили бы кафедру в лучших университетах мира. Но под Берлином у него работал целый институт, собрался коллектив талантливых сотрудников, он был увлечен своими исследованиями. Ему было интересно — это перевешивало все остальное. Вот это-то и есть самое страшное.

Ту же атмосферу воссоздают воспоминания многих физиков, работавших над созданием атомной бомбы. У нас — мемуары А. Д. Сахарова, которые недавно начали публиковаться. Атмосфера участия в важном, государственном деле. Напряженное творчество, стимулированное редкой концентрацией в одном месте такого числа талантливых физиков и математиков. Все это, видимо, оттесняло мысли о том, к чему может привести столь интересная работа. Лучше всего выразил это настроение известный физик, лауреат Нобелевской премии Ферми. О работе над атомной бомбой в США он сказал: «В конце концов, это замечательная физика!».

По нашему телевидению сообщалось о том, что при взрывах первых атомных бомб часть населения сознательно оставлялась вблизи, чтобы на них можно было наблюдать действие радиации. Об этом не могли не знать крупные ученые: физики или медики. И что поразительно — после передачи не посыпались возмущенные письма, требования расследования, создания комиссий. Мы все как будто подсознательно чувствовали, что нечто подобное было возможно, но говорить об этом неприлично, как в приличном семействе о нечистоплотном поступке одного из его членов. Да и бактериологическое оружие ведь готовилось с обеих сторон. А кто руководил? — Конечно, ученые, и немалого ранга. Куда до них средневековым смесителям ядов, которых так жестоко казнили!

Что же все это такое? Патология, болезненные отклонения от здорового развития? Или в самых основах «научного метода», каким он сложился за последние столетия, заложено нечто предопределяющее и такие его реализации? Аналогичный вопрос мы задаем себе сейчас по поводу марксизма, социализма, революции... Было ли патологично исполнение или сам «проект»? Тот же вопрос правомерен и по отношению к современной науке, к «научно-технической революции». Не все, может быть, согласятся с тем ответом, который подсказывает статья А. И. Лапина. Но мимо вопроса, который она поднимает в такой острой форме, мне кажется, никому пройти нельзя.

АНДРЕЙ ЛАПИН

НАУКА И ПРИРОДА

Я простой физик-лазерщик, не теоретик и не экспериментатор, а так — технарь. Общими вопросами науки никогда не интересовался, хотя некоторые явления нашей жизни, связанные с наукой, глубоко волнуют меня. Эта неслыханная до сих пор атака на природу, которая ведется, как это ни странно, под эгидой науки. Так как эта, мол, борьба с природой происходит по прямому требованию науки. Вчера я повстречал своего приятеля N, и он мне прочитал свою статью о науке. Вот она:

СТАТЬЯ N.

В 1921 году Макс Борн пишет книгу «Теория относительности Эйнштейна». В предисловии к ней он выражает свое восхищение научным методом. В 1951 году он пишет книгу «Беспокойная Вселенная», в послесловии к которой он распрощался со своим наивным взглядом на науку. Вспоминая свой первый опус, он пишет: «В 1921 году я был убежден, и это мое убеждение разделялось большинством моих современников — физиков, что наука дает объективное знание о мире, который подчиняется детерминистским законам. Мне тогда казалось, что научный метод предпочтительнее других, более субъективных способов формирования картины мира — философии, поэзии, религии. Я даже думал, что ясный и однозначный язык науки должен представлять собой шаг на пути к лучшему пониманию между людьми. В 1951 году я уже ни во что не верил. Теперь грань между объектом и субъектом уже не казалась мне ясной; детерминистские законы уступили место статистическим. И хотя в своей

области физики хорошо понимали друг друга, они ничего не сделали для лучшего взаимопонимания народов, а, напротив, лишь помогли изобрести и применить самые ужасные орудия уничтожения. Теперь я смотрю на мою веру в превосходство науки перед другими формами человеческого мышления и действия как на самообман, происходящий оттого, что молодости свойственно восхищаться ясностью физического мышления, а не туманностью метафизических спекуляций. И все-таки я еще верю, что неудачи попыток улучшить моральные нормы человеческого общества еще не доказали тщетность поисков наукой истины и лучшей жизни». В 1968 году он уже не верил и в это. В своей книге «Моя жизнь и взгляды» он вынес суровый, но справедливый вердикт: «Наука и техника разрушили этический фундамент цивилизации и поставили человечество на грань катастрофы». И предупреждает об опасности применения научных методов в общественных науках и психологии. Об этом же самом, но еще раньше, в 1933 году, говорил М. Планк: «У математиков, физиков и химиков часто встречается склонность применить их точные методы для объяснения биологических, психологических и социологических вопросов». Планк предупреждал об опасностях, с какими связано применение этих методов к тем случаям, где господствуют совсем другие отношения. А еще раньше великий Ньютон, убедившись в том, какой джинн выпущен был им из бутылки, просил, чтобы его науку не применяли к живым объектам. У Ньютона это разочарование своим научным методом носило глубоко трагичный характер. В пору своих «Начал» еще молодым человеком он с увлечением писал: «Я молю Бога, чтобы развитые здесь методы можно было бы перенести на все науки и все области знания». Однако он почему-то не спешил с публикацией своих результатов. Целых 20 лет он колебался и приступил к составлению своей книги только в результате настойчивых уговоров своего друга Галлея.

Через 3 года после выхода в свет своей книги Ньютон тяжело психически заболел. Не исключено, что в этом определенную роль сыграл стресс, вызванный сознанием своей вины за выпущенного им из бутылки джинна — научный метод. Больше он к физике не возвращался, всецело погрузившись в религиозные вопросы.

Уже глубоким стариком, 75 лет, Ньютон вступил в спор с Лейбницем, в котором заявил себя убежденным противником механической философии, то есть своего же метода, и категорически возражал против его применения к живым объектам. Что же это за дивный метод, который самые крупнейшие физики просят применять с большой осторожностью и не ко всем объектам? К чему же его тогда применять?

Вот один возможный ответ.

Когда-то Лассаль познакомил Бисмарка с «научным» социализмом, о котором сам Ленин говорит, что его создатель Маркс лишь распространил методы естественных наук на социологию (против чего как раз и возражают и Ньютон, и Планк). Бисмарк заинтересовался и сказал: «Очень интересная теория. Жаль только, что она не была проверена. Хорошо бы ее испытать на каком-нибудь народе, которого не жалко, например, на русских». Бисмарк и не подозревал, что в Симбирске вскоре родится мальчик, будущий великий экспериментатор, который и проверит марксову научную теорию на стране, которую не жалко,— на России. По-видимому, и методы точных наук надо применять только к объектам, которых не жалко. Но чего же нам не жалко? Не жалко всего, что создано природой и чего мы сами не умеем создать. Не жалко, например, воздуха, океана, рек, гор, вообще неживой природы. Но вот что удивительно. Как показал прогресс НТР, и эта природа начисто гибнет от применения к ней наших научных методов. Погибли озеро Севан, Арал, Кара-Бугаз, Красноярское водохранилище. Гибнет океан. Загрязняется атмосфера. Гибнет почва. Сейчас идет борьба за спасение сибирских рек от научного метода. Что же это за странные научные методы, которые повсюду несут за собой смерть? Ведь созданные нами машины работают, и отлично работают. И именно так, как их запланировала Наука.

Почему же она дает осечку, когда мы применяем ее не к искусственным, нами же созданным объектам, а к естественным, к природе? Чем природа отличается от нами созданных машин? Бэкон утверждал, что ничем, это для него было аксиомой. И эта аксиома была положена им в основание новой науки, смысл ее ясен: изучать мир, считая его машиной. Увы, эта «аксиома» глубоко ошибочна. Все наши препараты и машины — это объекты, природа которых полностью исчерпывается их функциональной ролью, вне которой они ничто: не должны обладать никакими свойствами. Вся технология их изготовления (очистка материала, стандартизация их деталей и т. д.) преследует лишь одну цель: они должны идеально функционировать, то есть вести себя в точности так, как мы того желаем. И никак иначе. В противном случае это рассматривается как брак. Ясно, что естественные объекты этому требованию не удовлетворяют. Если бы мы даже знали все законы физики, то и это мало бы помогло нам в отношении естественных объектов и явлений, так как мы, как правило, не знаем их начальных условий и уж тем более не можем их изменить. Мы не можем изменить ни массы электрона, ни его заряда, ни массу солнца, и т. д., и т. п. Наша наука применима только к искусственным объектам, к созданным нами же препаратам и машинам, в которых мы можем полностью контролировать и задавать начальные условия. Но не к естественным объектам, которые вовсе не мертвые материалы для наших поделок, а живые существа. Мы даже не знаем, как создавать эти начальные условия.

Ньютон думал, что у нас на Земле, в наших лабораториях и машинах начальные условия определяем мы. А в мире — Бог. Сейчас же считают, что начальные условия случайны, то есть их задаем не мы и не Бог, а Его Величество Случай. Поэтому, чтобы сделать естественную вещь объек-

том науки, то есть изучить ее в лаборатории, надо ее подвергнуть насилию, убить ее. Так, чтобы продемонстрировать и подтвердить открытые Павловым законы физиологии высшей нервной деятельности, собаку помещают в «башню молчания» и обездвиживают ее. Павловская собака перестает быть собакой, превращаясь в машину для выделения слюны по звонку. Перестав быть собакой, она стала зато объектом науки. Сам Павлов это отлично сознавал. Он писал: «Жизнь отчетливо указывает на две категории людей: художников и ученых. Между ними резкая разница. Одни — художники, писатели, музыканты, живописцы и т. д.— захватывают действительность целиком, сплошь, сполна, живую действительность без всякого дробления, без всякого разъединения. Другие — ученые — именно дробят ее и тем самым как бы умерщвляют ее, делая из нее скелет. А затем как бы снова собирают ее части и стараются таким образом оживить, что, однако, им не удается никогда». И не удастся. Поэтому-то как только заходит речь о естественных объектах, в отношении которых мы не властны: солнце, Солнечная система, жизнь и т. д.,— у науки не находится другого ответа на все вопросы, кроме: счастливый случай! Случайно планеты слепились из маленьких кусочков, и слепились именно так, чтобы образовать устойчивую систему. Вероятность этого ничтожна. Ну и что же? Нам просто крупно повезло. Без этого счастливого случая мы бы с вами и не обсуждали этих вопросов, так как нас бы и не было. А какова вероятность самопроизвольного возникновения жизни? Нуль, если верить расчетам Вигнера. И так во всем.

Второй научный метод изучения естественных явлений и второй метод их умерщвления — это дробление, о котором говорил Павлов. То есть разбиение их на элементы, «атомы». Недаром в свое время был в моде лозунг: «атомизм вместо анимизма».

Суть его такая: целое разбивается на множество частей — элементов. Увы, все это не только неприменимо к живым системам, но даже, как показала квантовая механика, и к атомам. Убив целое, мы больше никогда не соберем его из частей.

Вернемся еще раз к поставленному нами вопросу. Почему наука, дающая такие хорошие рекомендации для техники, пасует перед естественными явлениями? Повинен в этом ее научный метод. Ведь наша наука экспериментальная. А что это значит? Когда-то Лаплас говорил: «Раньше физику считали естественной наукой, а сейчас ее считают экспериментальной. И это правильно, так как эксперимент по самому его определению означает нарушение естественного хода природы». Что же мы изучаем? Артефакты? И что получится, если экспериментальный метод применять широко и глобально, как это делается сейчас и как того требует наука? Он нарушит весь естественный ход природы, результатом чего будут катастрофы, которые мы и наблюдаем. Те катастрофы — геологические и биологические, которые уже вызвала наука, являющаяся лишь повторением в больших масштабах того, что каждый день делается в ее лабораториях — убийство живого, убийство природы. Можно было бы даже сказать, что наука — это религия природы, лаборатории — ее храмы, а ежедневное убийство природы, происходящее в этих храмах,— ее культ и жертвоприношение. Уничтожение природы — запредельная цель этого лжемессии.

СОН ФИЗИКА

Прочитав статью, я глубоко задумался и как-то неожиданно для себя не то заснул, не то впал в какое-то сомнамбулическое состояние. И тут ко мне неожиданно явился знаменитый физиолог прошлого века Клод Бернар. В свое время его называли Бэконом XIX века. Он был создателем экспериментального метода в физиологии и патологии. Странным образом увидев его, я нисколько не удивился, более того — я встретил его как доброго знакомого, которого знал многие годы. И тут у меня завязался с ним интересный разговор, вероятно, навеянный статьей N. Этот разговор я запомнил слово в слово и передаю его так, как это было в моем странном видении.

— Приветствую вас, почтеннейший маэстро. Давно я вас не видел. Вы, верно, куда-нибудь уезжали?

— Да нет! Просто был очень занят. Много было работы. Целыми днями не вылезал из лаборатории.

— Да, да, я наслышан о ваших замечательных успехах. Говорят, вы создаете или уже создали целых две науки: науку о здоровом организме и науку о больном. Нормальную физиологию и патологию.

— Льщу себя надеждой, что заложил фундамент для них. Да и пора. Давно. Ведь наука о неживой материи создана уже давно, в славный XVII век. И теперь настало время перенести методы этих точных наук и на изучение живой материи.

— Но разве можно переносить методы, принятые в науке о мертвой материи, в науку о живой? Можно ли их приравнивать друг к другу: мертвое и живое, лед и пламя?

— Видите ли, понятия живой и мертвый — относительные понятия. Они удобны в обиходе, но нетерпимы в науке. Для экспериментальной физиологии нет ни живой материи, ни мертвой. Есть лишь одна материя, для изучения которой и методы должны быть едины. Это, если можно так выразиться, наша аксиома. Аксиома экспериментального метода. А кроме того, для того-то и существует экспериментальный метод, чтобы создать в эксперименте такие условия, в которых живая материя ничем бы не отличалась от мертвой. В этом-то и состоит искусство эксперимента. А иначе зачем бы он был нужен? В эксперименте свойства и силы живой материи должны — я подчеркиваю: должны! — функционировать точно так, как и свойства мертвых тел. Жизнь здесь больше ни при чем, и ее не надо вмешивать в детерминизм явлений, создаваемых экспериментальным методом.

Кстати уж замечу, что я вовсе не создаю, как вы мне это приписываете, двух наук: нормальную физиологию и патологию. Существует только одна наука — физиология. Здоровье и болезнь, как живое и мертвое, — тоже относительные понятия, удобные только в обиходе. В неучной медицине им нет места.

— Как это? Ведь болезни-то существуют! Больными переполнены все больницы.

— Это совсем другое. Посмотрите, в мертвой материи болезни нет. Почему же они должны быть в живой материи?

— По-видимому,— попытался отшутиться я,— болезнь — особая привилегия живого.

— Хм, странная привилегия. Представьте себе, что в вашей квартире порван провод. Естественно, что свет погас во всей квартире. Болезнь это или нет?

— Нет, конечно.

— Тогда почему называть болезнью повреждение нервов? И так называемое болезненное состояние, и здоровье — только различные состояния живой материи, отличающиеся некоторыми условиями своего возникновения и существования, и только. Лед и пар — два состояния воды, отличающиеся условиями своего возникновения — температурой. Но можно ли одно состояние назвать нормой, а другое — патологией?

— Чрезвычайно оригинальная точка зрения.

— Отклоняю комплимент. Просто здравая.

— Но ведь тогда нет и смерти?

— Нет, конечно,— как особой сущности. Это тоже одно из состояний живой материи, характеризующееся условиями своего возникновения, и только. И ничего больше. И мы должны овладеть этими условиями, чтобы по нашему желанию уметь переводить материю из одного состояния в другое: здоровое в больное, живое в мертвое, так, как мы это делаем с водой, кипятя ее или, наоборот, замораживая.

— В одну сторону вы это умеете делать, как, впрочем, могли отлично делать и наши предки, жившие задолго до нас. Это совсем нехитрая наука: делать из здорового человека больного или убить его. А вот умеете ли вы это делать в другом направлении? Делать из больного — здорового, а из мертвого — живого?

— Пока не умеем, но научимся! Обязательно научимся!

— Прелюбопытнейшая точка зрения.

— Ничего любопытного. Просто здравая. И заметьте, знание всех обстоятельств и условий, от которых зависит наступление того или иного состояния или того или иного явления — это все, что мы можем знать. Но зато ничего больше нам и не нужно знать.

— Как? А истина, а объяснение природы?

— Идеалистическая чепуха! Наука не объясняет нам природу, но дает власть над ней. А для этого нужно знать только одно: как и чем надо подействовать на вещь, чтобы получить желаемый эффект.

— То есть рецепт?

— Вот именно — рецепт. Научное знание — совокупность рецептов или правил действия, приводящих к успеху, типа: хочешь получить водород — брось кусочек цинка в серную кислоту. И это все, что можем знать, и все, что нужно знать. Большего и не нужно.

— Но какие же цели ставит себе наука?

— Воздействие на природу — такова самая возвышенная цель науки. Это же и цель человека перед лицом мира, который он хочет покорить и подчинить своей власти. Экспериментальная наука — завоевательная наука. Физика и химия завоевали нам неживую природу, сделав ее сырьем и топливом для нашей индустрии. Физиология же должна нам завоевать живую природу и сделать нас господами жизни и смерти. Создать индустрию жизни, промышленное изготовление живого. Она должна овладеть всеми пружинами живой материи, чтобы заставить ее действовать по нашему желанию. Это, так сказать, общая ее цель. Специальная же цель экспериментальной науки состоит в точном определении условий проявления различных феноменов и состояний материи, ибо только воздействуя на эти условия, мы можем стать хозяевами и господами соответствующих явлений.

Помнится, что некий мыслитель, имени которого не помню, где-то сказал: «Философы до сих пор объясняли мир, а дело-то в том, чтобы его изменить». Золотые слова! Я бы велел их высечь на плите и поставить в каждой лаборатории, как напоминание и как девиз экспериментального метода.

— Но ваша цель неисполнима даже в отношении мертвой материи. Вы же не можете подчинить себе солнце, планеты, звезды, реки и моря, чтобы по своему желанию ими управлять?

— Да, это правда. Пока мы этого не можем. Вообще естественные вещи, то есть вещи, не созданные нами и находящиеся в естественных условиях, а не экспериментальных, нам не подвластны. И это понятно. Все, что не создано нашим умом, не только не подвластно нам, но даже не может быть и познано нами, и потому не является в собственном смысле предметом науки. Ибо мы можем познать только то, что создано нами семими.

— Но разве астрономия не наука?

— Ну какая же это наука, если мы не можем по желанию изменить орбиты планет и звезд, ни даже взорвать их?

— Но если естественные вещи не являются объектами науки, то какие же составляют ее предмет? Не искусственные же?

— Вот именно искусственные. Созданные нами в наших лабораториях и на заводах. В этом отношении экспериментальная наука напоминает математику, в которой ее идеальные объекты тоже строятся нами. Только в математике эти объекты создаются в голове из понятий, а в экспериментальных науках они создаются в лабораториях из естественных материалов. Это, если угодно, и есть наша вторая природа, созданная нами и во всем покорная нам. В ней мы являемся полными хозяевами. Ее объекты ведут себя в точности так, как мы того желаем, и не могут вести себя иначе. А естественные вещи пока ускользают от нас, от нашей власти, а значит, и от научного познания.

— Пока?

— Да, пока! В конце концов и астрономия, и география, и океанология, и экология выйдут из лабораторий. Нам уже давно тесно в их стенах. Точнее говоря, мы превратим природу в свою лабораторию. Мы заставим реки изменить течение: они будут течь как нам нужно и куда нам нужно, мы будем срывать горы и насыпать новые, удобные для нас, уничтожать нежелательные для нас виды животных и растений, и даже целые биоценозы, и насаждать новые, выгодные нам. Короче, мы изменим весь лик природы. Создадим из нее огромное промышленное производство, гигантскую фабрику, работающую по точно предписанной нами технологии. Помните, еще Бэкон пророчил: «Обратить природу из храма в мастерскую и фабрику». Мы создадим индустрию живого, производя живую материю прямо из неживой.

— Но это же только утопия, и к тому же малоприятная!

— Пока — утопия, но ведь история движется от утопии к науке. И коммунизм был долгое время всего лишь безобидной утопией.

Маэстро посмотрел на меня победоносно, ожидая заслуженного, как ему казалось, восхищения этой утопией.

— Не скрою,— начал я, несколько подавленный,— ваша утопия...

— Это не утопия, а план! И программа будущих преобразований.

— Пусть будет план. Он величествен, но как-то не вдохновляет. Производит какое-то гнетущее впечатление на душу. Превращение живой природы в завод и казарму — это аракчеевщина на космическом уровне. Граф Аракчеев или его литературный двойник Угрюм-Бурчеев, если он даже вырастет до небес, не станет от этого более привлекательной фигурой!

— Это у вас отрыжка прошлого. Я всегда утверждал, что поэзия, красота, поэтические воззрения на природу не только чужды науке, но и вредны ей и даже опасны, так как могут увлечь слабые и нестойкие умы. Потому-то великий Лейбниц и предупреждал ученых беречься от обольщений красотой природы и говорил, что требуются большие усилия, чтобы уберечься от притягательной силы красоты природных машин (то есть живых существ). Впрочем, тут виноваты мы сами, ученые. Зачем мы допустили в наших колледжах преподавание изящной словесности, истории искусств? Разрешили художественные выставки? К чему все это? Разве же неясно, как одурманивает вся эта «красота» неустоявшиеся головы! Я бы даже предлагал в качестве иммунной сыворотки против яда красоты изобрести какое-либо искусство безобразного, уродливого, отталкивающего, чтобы сделать неокрепшие умы нечувствительными к действию яда красоты.

Чтобы остановить эти неприятные излияния, я решил сбить его на другую тему:

— Мы несколько отвлеклись. А скажите, ставите ли вы целью науки изыскание терапевтических средств?

Ответ маэстро поразил меня:

— Врач-экспериментатор должен стремиться к воспроизведению болезненных состояний по своему желанию. Наша цель — искусственно вызывать болезни, а не лечить.

— Не понимаю.

— Будде приписывают слова, будто бы сказанные им в проповеди: «Чтобы жизнь спасти, надо жизнь убить». Глубочайшая мысль, если только понять ее правильно. Чтобы спасать жизнь, мы, врачи, должны сначала научиться убивать жизнь, в совершенстве овладеть искусством убийства жизни. И эти слова Будды я бы тоже велел высечь на плите и выставить как напоминание экспериментирующему врачу и как девиз экспериментального метода в каждой лаборатории.

— Как это?

— Очень просто. Наша цель — изучение механизма болезней, а не изыскание средства от них. Мы скорее желаем знать, как сделать живое существо больным, чем как его вылечить. Желаем знать различные механизмы смерти во всех ее видах.

— Да зачем?

— Потому что это лучше посвятит нас в тайны жизни, чем любое иное изучение. И нам надо много и очень много убить живой материи, чтобы постичь загадку жизни, то есть овладеть жизнью, стать ее господином. Властелином жизни. Но — увы! — наше общество еще не доросло до здравых взглядов. Нам не разрешают экспериментировать на людях, хотя бы на преступниках, анатомировать на живом теле, рассекать, перерезать нервы и спинной мозг, втирать в артерии мелкий песок, удалять одну половину мозга и даже весь мозг и т. д. А ведь без этого не жди прогресса! Говорят, это аморально. Какая чушь! Ведь мы работаем для научно-технического прогресса. Подняли вопль против вивисекции. Между тем сами устраивают войны, которые уносят десятки миллионов людей, изобретают отравляющие газы, бомбы, готовят бактериологическую войну. Устраивают революции, строят концлагеря. Это ли не эксперименты?

— А не кажется ли вам, маэстро, что проектируемая вами экспериментальная медицина и вообще биология — отличная питательная среда для выращивания моральных уродов? Как можно быть врачом, да что там врачом! — оставаться человеком экспериментатору, который ежедневно в своих камерах пыток, лабораториях пытает, мучает, увечит и убивает живые существа, наблюдая за их последними конвульсиями?

— Он производит дознание истины. Но вы подняли важный вопрос, которого я и сам хотел коснуться: о моральных требованиях, которые предъявляет к своему служителю наша наука. Главное требование к ученому — он должен обладать большим мужеством и неограниченной верой в себя и свой экспериментальный метод. В первую очередь они ему нужны, чтобы противостоять воплям черни против нас и наше-

го метода — анатомирования на живом теле. Нас называют моральными чудовищами, извергами, выродками. На эти обвинения невежественной черни нам наплевать, конечно, с высокой колокольни. На то она и чернь! Но она требует от своих правительств запретить наши эксперименты, которые она называет инквизиционными методами дознания истины. Но им это не удастся! Нет! Ведь правительства стоят за нас. А кто им будет изобретать смертоносные газы для будущих войн, готовить бактериологическую войну? Мы! А для этого нужны испытания на живых существах. Но даже имея дело не с людьми, а с животными, требуется немалое мужество. Я сам не раз анатомировал на живых собаках и обезьянах. И каждый раз испытывал неприятные чувства, когда животные с глазами, полными слез, трогают вас за руку, стонут. И тут мы со всей решительностью должны подавить в себе эту ненужную и даже вредную для прогресса науки чувствительность и мягкотелость. В конце концов, некоторое очерствление ученых — очень малая плата за те бесценные дары, которыми осыпала и еще осыплет нас экспериментальная наука. И действительно, ведь только с помощью этого метода науки о мертвых телах достигли тех блестящих завоеваний, которые позволили человеку распространить свою власть на все окружающие его естественные явления. А теперь пришло время медицине, и вообще биологии, встать на этот путь, чтобы завоевать живую природу и быть способной в корне изменить все явления в мире живых существ. Изменить всю биологию природных машин, то есть живых существ, приспособив их для наших нужд. Что значит некоторое моральное огрубение по сравнению с этой величественной и возвышенной целью? Эта цель оправдывает все средства, с помощью которых она будет достигнута. Нас обвиняют в том, что мы нарушаем естественный ход природы, тогда как, мол, нужно наблюдать за ее естественным ходом, не мешая ему. Нужно, мол, вести туда, куда направляет сама природа, а не вопреки ей. Да, мы делаем это и гордимся этим. Для нас природа не храм, а мастерская, лаборатория или даже фабрика, которую мы желаем подчинить себе. И заставить ее работать по нашей технологии, а не по своей. Мы вовсе не скрываем, что наша цель — пересоздать природу.

— Но мне кажется, что ваша надежда или вера в то, что живая природа подчиняется тем же законам, что и мертвая,— пустая мечта, утопия.

— Вы ошибаетесь. Она не подчиняется, ее подчиняют. В этом состоит мощь экспериментального метода, в этом залог нашей веры. Наш символ веры: знать — это значит мочь.

— А вы не боитесь, что природа может взбунтоваться против вас?

— Пусть только попробует.

— А не опасаетесь ли вы, что в результате вашего некомпетентного вмешательства, основанного на отождествлении знания и могущества, вы можете уничтожить всю природу?

— В конце концов и уничтожим, чтобы построить новую, еще лучше прежней.

— Но старые люди не зря говорили: лучшее — враг хорошего.

— И зря говорили. Если бы наши рыбообразные предки думали так же, как вы, они бы до сих пор сидели в воде. И мы бы с вами не рассуждали здесь. Люди пахали сохой, жили в деревянных лачугах и сидели по вечерам с лучиной или жирником.

— Лучше жить в лачуге, но жить, чем погибнуть вместе с разрушенной нами природой.

— Это дело вкуса. Вы любуетесь красотами природы, мы ищем в ней пользы, смотрим на нее как на материал для наших поделок. Вы желаете жить с ней в гармонии, мы желаем господствовать над ней. Вы желаете созерцать природу, мы хотим ее преобразовать по своему вкусу. Вам нравится патриархальная жизнь малых групп: деревня, село, городок. Мы — за централизованное тоталитарное устройство общества, основанное на науке. Технотронное государство, Бэконовское царство человека. Вы любите фуги Баха, мы любим поп-музыку. Вы любите разных сикстинских мадонн и милосских венер, а мы обожаем девушку с гитарой Липшица и картины Шагала. Вы любите не тиражируемую элитарную культуру, а мы любим неограниченно воспроизводимую, как и наши эксперименты, массовую культуру. Короче, вы любите прошлое, а мы любим будущее. Нам не о чем говорить, у нас нет общего языка. И все же скажу вам в заключение, что вся ваша хрупкая философия и психология основана на красоте мира, гармонии с природой, с Целым миром и созерцательным отношением к природе, любовании. А наша философия зиждется на других столпах. Мы заменили красоту — пользой, гармонию с природой — борьбой с ней за господство над ней, созерцательное отношение — преобразованием природы, целостное восприятие природы — атомизмом. Короче, анимизм — механизмом.

— Я согласен с вашим диагнозом, но делаю из него другой вывод. Возвращение назад — единственное, что может спасти нас от вашей философии тотального разрушения всего, культа нового Молоха — науки и научно-технического прогресса, требующего, как и старый Молох, все новых и новых жертв.

— Попробуйте хотя бы затормозить наш прогресс. И вы будете раздавлены. Мы сломим вас. Ибо наше движение неодолимо. История работает за нас и на нас.

— Почему же вы тогда нас боитесь и грозите сломать нас, раздавить?

— Чтобы убрать с нашей дороги, дороги прогресса, сор. Вы слишком много рассуждаете и слишком доверяете своему разуму. Потому-то я всегда говорю своим ученикам: главный ваш враг, враг экспериментального метода — вы сами, ваша склонность к рассуждению и доверие к своему разуму. Между тем как трудность обучения экспериментальному методу состоит не в том, чтобы научить хорошо рассуждать, а в том, чтобы отучить. В экспериментальной науке нужны не хорошие

рассуждения, а просто поменьше рассуждать.

— Ну вот, вы уже боитесь разума. Готовы заткнуть всем рты. Так вы боитесь за свое положение? Нет, маэстро, признайтесь, что ваша песенка спета, ваш поезд ушел. Время теперь работает не на вас. Если раньше вы были обманутыми и лишь поневоле обманщиками, то сейчас вы превратились в сознательных обманщиков. Ваша наука стала вторым изданием печальной памяти алхимии, и как прежние алхимики вы прибегаете к обману и мошенничеству, обещаете все, что угодно. Ваше место теперь в рядах писателей-фантастов. Ваша наука сейчас представляет собой сплав из сочинений маркиза де Сада и фантастики Лема. Нет, время теперь работает против вас. Посмотрите только, что осталось от аксиом вашего прославленного экспериментального метода. Ваше любимое детище — детерминизм или просто фатализм — тю-тю, ушел в прошлое. Его похоронила квантовая физика. Ваше деление сущего на познающее «я» и познающийся объект и противопоставление их разделило судьбу детерминизма. Первым признаком неистинности теории является некрасивость ее. Ваши теории и догмы почти сплошь безобразны. И все они у вас провалились. Лопнули, как мыльные пузыри. Лопнуло ваше представление о пассивности, инертности и бездеятельности материи, которая способна, мол, действовать и двигаться, как ленивый осел, только под ударами бича. Квантовая физика показала, что спонтанная активность материи — ее естественное и врожденное свойство. И потому-то мы не можем (принципиально не можем) управлять атомными процессами. Лопнул и пресловутый «атомизм», заставлявший повсюду — и в организме, и в биоценозах, и в наших ощущениях и чувствах — кругом видеть ассоциации независимых друг от друга элементов (клеток, тканей, особей, видов, рефлексов, тропизмов и т. д.), которые живут якобы исключительно для себя и знать ничего не знают о других особях и видах. Лопнула и дарвиновская теория борьбы всех против всех и всех против природы, как движущей силы эволюции. Эта теория, кстати, составляла естественнонаучный базис другой не менее «оригинальной» теории классовой борьбы. Ваши обещания создать искусственный интеллект позорнейшим образом провалились, это была просто липа. Доказано, что это сделать нельзя (Гедель), но вы укрываетесь за невежеством и продолжаете дурачить общество своими пустыми байками. Вы не изучаете природу, а приспосабливаете ее к своим догмам и своей идеологии. Повторяю, ваша песенка спета, но вы все еще держитесь за ваши химеры и, чтобы спасти их, пускаетесь на обман и мошенничество. Но на обмане долго не проживешь.

— Проживем.

— Обманутый вами народ возьмется, наконец, за ум.

— Пусть лучше поберегут свои головы. А таким крикунам, как вы, мы, дай срок, будем вырезать их злые языки.

— Вот-вот, вы уже и грозите! Потому что вам нечего ответить.

— Если будет нужно, то и ответим. Что же касается вашего злорадства по поводу так называемого крушения детерминизма, который якобы произвела ваша хваленая квантовая физика, то я вам скажу на это вот что. Квантовая физика — новейшее возрождение язычества, обязанное излишнему рассуждательству, против которого я всегда самым категорическим образом возражал. Да, я вижу, как был дальновиден Бэкон, который еще на заре нашей науки усмотрел опасность для нее, таящуюся в нашей природе. Он полагал, что можно избежать этой опасности, искусственно создав идеальную природу ученого и заменив ею его реальную, с которой он родился, подобно тому, как в нашей лаборатории мы имеем дело не с естественной реальностью, а с реальностью, созданной самим экспериментальным разумом. Подобно этому, думал Бэкон, и сам ученый должен иметь искусственно созданную техническую или идеальную природу. Он думал добиться этого очищением нас от нашей ветхой природы путем борьбы с идолами: идолом индивидуальности, идолами рода (национальности), идолами прошлого и идолами нашей человеческой природы. Ученый, по мысли Бэкона, должен перестать быть личностью, «я», перестать быть немцем или французом, он должен забыть свою историю, у него не должно быть прошлого, и, наконец, он должен перестать быть и человеком, а стать чем-то вроде экспериментальной машины. Увы, эта программа оказалась трудновыполнимой. Идолы оказались сильнее нас. Мы все еще слишком личностные, слишком французы или немцы, слишком дети истории и главное — слишком человеки. Думается мне, наступило время заменить человека неким синтезом человека и машины, каким-нибудь искусственным организмом: он, кажется, теперь у вас называется киборгом. Будущее человека должно быть абиологическим. Это рано или поздно будет сделано. Но лучше это сделать раньше, чем позже. Только тогда прогресс науки обретет устойчивость, и этот наследник человека доделает дело, начатое человеком, но не исполненное им вследствие недостатков своей биологической природы.

— Вот эта-то оторванность ученого от всего — от своего народа и его прошлого, от своей личности, даже от человеческой природы — и порождает чуждых всему миру изгоев, человеко- и природоненавистников, даже не по убеждению, а по своей пустоте. Будь простым, ничем, и ты наполнишься злобой ко всему. Потому-то ваш лозунг: «Я ничто, но должен быть всем» — это и есть ваша тайна, тайна «евреев внутреннего обрезания».

— Громко, пташечка, запела. Смотри, как бы тебе не попасть в суп или,— пошутил он,— к нам в эксперимент.

И вот тут-то на меня напала какая-то веселая бесовщина. Мне захотелось пробить броню этого меднокожего истукана. Поддеть его!

— Послушайте, маэстро,— начал я запальчиво,— вообразите, что я пленен ва-

шим экспериментальным методом и хочу применить его к изучению психологии, поведения людей, дабы стать их хозяином и повелителем. А почему бы и нет? Разве человек не такое же животное, как все остальные? Что же я делаю? Чтобы доказать, что человек ничем не отличается от мертвого тела, скажем, булыжника, я беру парочку Бернаров...

— Это что, намек?

— Что вы, маэстро! Нисколько. Мы же просто ставим эксперимент, занимаемся с вами наукой. А в науке, как вы нас учили, нет места ни «я», ни «ты». Она безлична, как и ее объект, который можно назвать Бернаром или каким другим именем. А можно даже проще — номером, скажем: образец Щ-32-17. Так вот, беру парочку Бернаров покрупней и швыряю их с какой-нибудь Пизанской башни, поддав им ногой в зад.

— Вы забываетесь! Я вынужден буду обратиться в полицию...

— Не волнуйтесь и не мешайте важному эксперименту. Будьте при эксперименте мужественным, хладнокровным, как вы нас учили. Но я отвлекся от описания эксперимента. Сбросив обоих Бернаров, я вслед за ними бросаю булыжник. И к великому удовольствию убеждаюсь, что и камень, и оба Бернара приземлились одновременно. Итак, в нашем эксперименте, как вы нас не раз уверяли, наши так называемые живые Бернары ничем не отличаются от мертвого булыжника. Что и требовалось доказать, как говорят математики. Не буду уж говорить о моих физиологических и биохимических опытах на Бернарах, когда я удалял у них почки, печень... Ну, в общем делал все то, чему вы нас учили. Разумеется, как вы и предсказывали, никаких отличий моих Бернаров от собак и кошек я не обнаружил. После этого я пожелал изучить высшие психические функции у Бернаров, их психологию и общественное поведение. Для этого я беру парочку Бернаров и сажаю их на день в башню молчания, предварительно обездвижив их. Держу их впроголодь 5—6 дней. Дело в том, что я хочу на них изучить их высшие психические функции, хочу выработать и у них условный рефлекс так, чтобы при виде кусочка мяса в моих руках они кидались бы ко мне лизать мои сапоги. Как я и предвидел, выработка этого условного рефлекса у них идет успешнее, чем у собак. Собака часто артачится, визжит, рвется с цепи. Бернары этого не делают никогда, зная, что за это выпорют. И терпеливо ждут очередной порции вознаграждения, после чего старательно вылизывают мне сапоги. После этого я беру десятка два-три Бернаров и помещаю их в небольшой концлагерек, обнесенный проволокой, через которую я пропущу ток высокого напряжения. Там я наблюдаю за их драками из-за объедков, которые я им бросаю, чтобы определить иерархию в их группе: который из них α, который β и т. д. Затем начинаю их дрессировать: ходить по струнке, падать ниц перед портретами лагерных начальников и выкрикивать перед портретом главного надзирателя: «Слава великому (имярек) за нашу счастливую жизнь!». Затем обучаю их навыкам совместного коллективного труда. Например, вырыть канаву, а потом закопать ее, снова вырыть и снова закопать, и т. д. Например, до 20, 30, 100 раз. Попутно я определяю их способность к счету. Дрессировка, сверх всяких ожиданий, прошла блестяще. Все уроки Бернары выучили и в благодарность за науку лизали мне сапоги, чего я от них и не требовал. Всеми этими экспериментами, как мне кажется, было убедительно доказано, что Бернары понятливые, признательные и очень социабельные существа, настоящие homo socialis, склонные к высшим формам общественной жизни. Учил я их и разгадывать ребусы, запоминать стишки, проходить лабиринты. Всюду они показывали высокие способности. Я заметил у них только одну особенность, которой не наблюдал у других животных. Они толпами бегали ко мне, донося на своих друзей, не проявляющих почтительности перед портретами лагерных вождей. Я приписываю эту черту их высшей психической деятельности, хорошо развитому у них чувству ответственности и способности сообщества Бернаров к самоорганизации. Что вы думаете, маэстро, о моих успехах? Мне кажется, я неплохо усвоил идею вашего экспериментального метода? Как вы думаете? Кстати, скажу не в похвальбу себе, что правительство заметило мои исследования, поздравило меня с успехами и обещало использовать наши с вами методы научной дрессировки в общегосударственном масштабе на великих стройках. А еще я мечтаю о самом грандиозном применении вашего плодотворного и чудодейственного метода: выработать у моих Бернаров навыки противоестественного поведения. Ну, например, принимать ложь за истину, а истину за ложь, черное за белое, а белое за черное, добро за зло, а зло за добро, доброе и прекрасное за безобразное, а безобразное за доброе и прекрасное, и т. д. Неужели не понимаете? Ну, например, чтобы мои Бернары отказывались от вкусной еды, пороли себя кнутами, и не в шутку, а до крови, спали на гвоздях, кастрировали себя, ходили бы, как собаки, на четвереньках и подбирали прямо с полу крошки, считая, однако, что всем этим они возвышаются над миром, приобретают некую высшую, сверхчеловеческую природу... Как вы думаете, маэстро, удастся мне это с помощью одной только рациональной системы наград и наказаний? Или придется к ним подпустить что-нибудь вроде религии или на худой конец утопии, например построения царства Божия, рая, восстановления той природы Адама, которую он имел в раю до грехопадения, власть над миром, стать Богом, чтобы взорвать Вселенную?

Я взглянул на своего собеседника. Учитель стоял красный и раздувшийся от негодования, как рыба-шар. Я не удержался от смеха, чихнул и... проснулся.

Я не был удивлен сном, я был им подавлен. Что же это за цивилизация, думал я, в которой открыто проповедуется, да что там проповедуется, — вдалбливается такой кровожадный бред? И кем проповедуется? Самой наукой!



ЮЛИЯ ШИШИНА

ПСИХОДИЗАЙН-XXI

ТЕХНОЛОГИЯ АПОКАЛИПСИСА

1. СОВПАДЕНИЕ

Все заняты политикой, а то время как более важное ускользает от внимания.
В. И. Вернадский.

Советский Союз прекращает свое существование.
З. Бжезинский.

Наша душа сегодня подобна хроническому аппендициту: болит, тревожит и никому кроме нас не нужна...

Начну с одного поразившего меня совпадения: в день объявления Второй мировой войны, 1 сентября 1939 года, глава Третьего рейха А. Гитлер созвал преданных ему врачей, членов партии, и объявил, что отныне в мире водворяется «новый порядок». Он взял с них партийную клятву, что они этот порядок помогут ему установить. Требовалось начать осуществление глобальной расовой программы уничтожения расово неполноценных лиц и больных — балласта для воюющей страны. (Так началась «Акция Т-4».)

В день начала войны с Ираком — 17 января («17» называют числом Люцифера) 1991 года президент США г-н Джордж Герберт Уокер Буш, в прошлом президент крупнейшей нефтебуровой компании, заявил, что в мире отныне устанавливается «новый порядок», удобный для США...

Порядок чего? За разъяснениями пришлось обратиться к трудам профессора Бжезинского, одного из великих режиссеров современного театра мировой истории. Читая те его работы, которые переведены у нас (в частности: План игры. М., 1986; Между двумя веками. Роль Америки в эпоху технотроники. М., 1970; обе — для служебного пользования), я убедилась в том, что на том месте, где в Москве стоит памятник Ф. Дзержинскому, надо поставить другой — З. Бжезинскому. Ибо первый в отношении ко второму устарел, как бухгалтерские счеты в сравнении с суперкомпьютером.

Конечно, я была растрогана тем, что автор не призывал в своих сочинениях к прямой бомбардировке разоренной Третьяковской галереи или Кремля (тем более что ни один из «объектов» русской культуры, даже знаменитый храм Покрова на Нерли, не значится в мировом реестре культурных ценностей ЮНЕСКО. Россия выглядит так, как Америка до Колумба, — белым пятном). Но в своих работах профессор З. Бжезинский настолько четко (подобно А. Островскому или Н. Гоголю в пьесах) расписал порядок действий и актов по развалу нашей страны, по уничтожению «экономического региона», который мы называем родиной, что мне невольно пришлось поразмышлять, кто будет играть в этом спектакле ведущие роли, в каком акте нам отведена роль статистов, а в каком — безмолвных мейерхольдовских фигур в темном. А спектакль... он уже начался. Познакомьтесь со статистикой детской смерт-

---

ШИШИНА Юлия Григорьевна. Родилась в 1929 году в Москве. Окончила 2-й Московский медицинский институт им. Сеченова по специальности врач-психиатр. Член Союза журналистов. Ученица А. Л. Чижевского. Имеет многочисленные научные публикации по медицине и биологии. Автор книги «Растление медицины» (Прага, 1984). В последние годы выступает как поэт. Живет в Москве.

ности или онкологической статистикой, да просто прогуляйтесь по магазинам, больницам, метро — и вы сами почувствуете «новый порядок» нашей жизни, или психодизайн близкого будущего...

— В сущности, им остается немногое,— уверял меня кто-то из американофилов,— вырвать атомное оружие из рук дебилов. И дело будет сделано...

Поскольку более 20 лет мне пришлось работать над книгой «Растление медицины», или «Антимедицина», изданной в Чехословакии в издательстве «Авиценна» в 1984 г. (в СССР ее не пропустил министр здравоохранения СССР академик Б. В. Петровский, назвав «бомбой»), многое происходящее в нашей стране кажется мне чем-то хорошо знакомым и даже иллюстративным.

События, разворачивающиеся в нашей стране, точь-в-точь напомнили мне программу «Барбаросса», подготовленную для нас полвека тому назад тайной канцелярией рейха. Если читатель не поленится заглянуть в протоколы Нюрнбергского процесса или книгу историка В. И. Дашичева, собравшего документы Второй мировой войны, то он и сам без труда обнаружит, что А. Гитлер еще тогда запрограммировал все сегодня происходящее: расчленение страны, натравливание народов друг на друга, отделение республик (и, кстати, первой — Грузии); даже отсутствие зубных и прочих врачей и развал начального образования для ослабления умственной и биологической силы нашего народа. Современные политологи приняли его планы один к одному, даже не взяв на себя труд переработать. А ведь полвека назад не было ни технотроники, ни принципиально новых систем управления материальными процессами, текущими в ноосфере; мировыми денежными потоками, коллективным и индивидуальным сознанием, устрашающей генной инженерии. Потому и проблема уничтожения больных и «низших рас, размножающихся, как паразиты» (А. Гитлер), стояла еще только в масштабах Европы, и лишь где-то вдалеке маячили ее будущие глобальные масштабы.

Идея «золотого миллиарда» избранных созрела уже после войны. Напомню, что миллиард людей планета на своем борту уже насчитывала в конце XIX века. (Первый передел мира, первая мировая война.) К XXI веку она подходит, имея шесть миллиардов «ртов», а может быть, и все 8! Многие из людей несчастны, бездомны, нищи, больны, искалечены, облучены, потеряли близких, обезумели от ужаса. Если бы со спутников удалось получить мониторинг человеческих страданий одновременно на всех континентах, то мы увидели бы: повсюду, кроме «технотронных оазисов» (по терминологии Бжезинского), в «глобальном гетто» миллионы вздымают с мольбою руки к небу. Перед нашим взором развернулась бы подлинная апокалиптическая трагедия современной истории с горящим Кувейтом, отравленными морями, жертвами Чернобыля и Армении. За этой трагедией, обозначаемой условно как «экологический кризис», во весь рост встала проблема Человека, его планетарной судьбы, его права на жизнь!

— Вправе ли человек вообще жить на Земле? — вот что важно определить в первую очередь, — вопрошал недавно на экологическом семинаре один из его участников архитектор и ученый Джанхар Пюрвеев.

— Химия второго поколения, которую мы создали, — как бы отвечал ему Б. В. Болотов, выдающийся русский химик, только-только освободившийся из тюрьмы, куда он угодил на семь лет за свои «научные завихрения» и где работал над холодным термоядерным синтезом в промежутке между отбоем и побудкой, — способна погасить Чернобыль, дать людям небывалую энергетику, но нам не дают работать, на русских лежит какой-то тайный «запрет умственной деятельности», мы — в информационном гетто...

Уверенная в том, что, овладев технотроникой, она овладела рулем управления всем миром, чуждая традиционным культурам и тысячелетним жизненным укладам, Америка, судя по книгам З. Бжезинского, решила перестроить мир быстро и оперативно с помощью политологов, компьютеров, программ «перестройки», блокад, вырывания исторических корней прямыми бомбардировками и экономической экспансией, глобальным терроризмом, используя «программы облапошивания», прикрытие одеждами справедливости.

«Зачатые» Колумбом 500 лет тому назад, когда, уже после монголо-татарского погрома Руси, происходило становление Русского государства со столицей в Москве, США подходят к 1992 году с «Орденом Победы» в петлице, удовлетворенно, даже со злорадством (слушайте по ночам «Свободу») наблюдая за превращением нашей страны то ли в концлагерь, то ли в проезжий тракт для международных перевозок, то ли в зоопарк, то ли в зону тотальной гибели от голода.

В средствах массовой информации (в том числе и «наших») Америка выглядит как образец для подражания. Да и при чем тут США, когда глупые африканцы, индийцы, китайцы, поляки, румыны сами «не умеют работать», устраивают революции, а совсем «глупые-преглупые» русские и хлеба-то не могут вырастить без земли, и одеться-то не могут без денег, и учиться-то не могут без нормальных учебных заведений, и лечиться-то не могут без лекарств, и даже совокупляться-то не научились за время своей истории (см. зарубежные руководства по сексуальной жизни и всяким непристойностям, захлестнувшие наши книжные лотки). Они не только сами залезают в долги к баснословно богатой и умной Америке, но и засовывают в ярмо свои будущие поколения — пусть живут в долговой яме.

Покупая бульонные кубики из Чили или майку из Аргентины, я нередко перечитываю рецепты диетологов дореволюционной России. По простоте душевной они выписывали больным ветчину, морошку, клюкву, лимоны, черную икру, осетрину, куриный бульон... Почему-то не назначали прокисшей капусты, которой (да еще свеклой) сегодня в основном питается голодная Москва и весь наш народ. А теперь откройте журнал «Америка» и взгляните на фотографии полок американских магазинов. Американец автоматически получает в течение жизни в сотни раз больше и лучше, чем в нашей стране, превращенной в гетто еще в 1917 году... Не чудо ли все это?

Мой покойный учитель А. Л. Чижевский (ученик К. Э. Циолковского), гениальный ученый, поэт, член 40 академий мира, отбывший 10 лет тюрьмы и столько же ссылки, автор книги «Физические факторы исторического процесса» (Калуга, 1924), — объяснял волнения на Земле, коллективные психозы, войны процессами на Солнце. Синхронность «перестройки» в разных частях планеты может дать почву для подобных объяснений. Но мне кажется, что дело тут не только в этом...

Современный культуролог А. Дугин в работе «Конец пролетарской эры» (Континент — Россия, вып. 3, М., 1991) объясняет происходящее стремительной духовной инволюцией людей, а связи с их эзотерическим погружением в мир материи и техники. Как о неизбежном говорит он о приходе к власти в постпролетарскую эпоху лидеров «сатанинского» мафиозного типа (мафиократии), полном исчезновении истинных водителей: Пророков и Учителей. Другие авторы пишут о таинственном новом мировом правительстве. Но, пожалуй, лишь в статьях погибшего при невыясненных обстоятельствах кандидата юридических наук А. Кузьмича (газета «Воскресение», №№ 2—8) содержится правдоподобное объяснение происходящего.

Да ведь все уже объявлено. Президент г-н Буш не тайно, а во всеуслышание заявил по всем каналам массовой информации, когда весь мир после сытного ужина в уютном кресле следил за войной «нового интеллектуально-технотронного типа», о «новом мировом порядке».

Каков же этот порядок?.. Давайте разделим потери ни в чем не повинных жителей Ирака на потери США (прибавим к этому бежавших к турецкой границе, умирающих от холода и голода курдов). На одного американца (да еще нескольких погибших евреев) мы получим за несколько недель тысячи и тысячи жизней. Не противоречит ли это объявленной «справедливости» войны? Несомненно, что ход военных действий, потери были заранее тщательно просчитаны на мыслящих суперкомпьютерах, способных визуализировать даже процессы на Солнце и на Луне. 17 января 1991 года мы присутствовали при первом акте некоей исторической драмы, которую — давайте — условно назовем Психодизайн-XXI, то есть первым «проблеском» грядущего вскоре столетия.

Завершение ее, по-видимому, ожидается в 1992 году (по православному счету 2000 год от Рождества Христова[1], когда в Испании намечены роскошные торжества по случаю ЭКСПО-1992. В Севилье уже ведутся масштабные приготовления: фонтаны, павильоны, бары, дансинги, подъезды для автомашин. Что-то должно произойти в этом году всемирно важное. Это у нас «в зоне» твердят об Апокалипсисе, как в аду молят правительство о сострадании, а в Севилье как будто никакого Апокалипсиса не предвидится. Он запрограммирован, похоже на то, лишь в некоторых регионах — «одной отдельно взятой стране».

[1] См., напр.: А. Н. Зелинский. Конструктивные принципы древнерусского календаря; «Контекст 1978», М., 1978; см. также письмо иеромонаха о. Антония в № 9.

2. ТЕХНОТРОННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ГЛОБАЛЬНОЕ ГЕТТО

Мы должны увести вас в несуществующие миры.

(Профессор Гринберг, теоретик компьютерной науки (международная конференция «Графикон», Москва, 1991).

Три фактора современности, рассмотренные вместе, отчасти проливают свет на происходящее: 1) избыток населения и необходимость (для кого-то) его сокращения; 2) сокращение ресурсов планеты и ее загрязнение; 3) появление мыслящих машин, заменяющих людей (смена «пролетарской эры» — эрой технотронной). Не случайно профессор Бжезинский, набрасывая контуры будущего, слово «технотронный» всегда выносит в заголовки своих режиссерских замыслов. Для того, чтобы это будущее направить в нужное русло, необходима смена декораций: «Мы наш, мы новый мир построим». Об этом с увлечением писал некогда и А. Гитлер в своем сочинении «Моя борьба». Отсюда революционный реформизм и идеи подготовки «сценариев Будущего»: 1789, 1848, 1917, 1919, 1933, 1937, 1939... 1987, 1991 годы. Именно отсюда, по-видимому, берет исток и идея «перестройки», с сель-

ской простотой и большевистской прямотой предложения нашей погибающей несчастной Родине. Да и «другим регионам». Разве только из-за нефти велась война на Ближнем Востоке? Вереницы курдов, бредущие к границам Турции с умирающими от голода детьми, сорванные с векового древа культуры, — это тоже жертвы войны нового технотронного типа, люди, ставшие лишними в этом новом машинном мире, жертвы на алтарь планируемого будущего насильственного сгона и переселения народов. Процесс искусственного национального обособления в период становления глобальной информосферы, транснациональной мировой промышленности, умело спровоцированный в нашей стране, — явление того же порядка. «Мы не дадим им укорениться, мы будем их перебрасывать с места на место, они будут работать за пищу», — говаривал еще в 1917 году великий прораб реальности Л. Троцкий. Я всегда вспоминаю его высказывания, когда вижу по телевизору толпы людей в лагерях для перемещенных лиц. Бжезинский обозначает подобное неизбежное (?) будущее как «беспорядочную скученность». Разве миллионы филиппинских детей, потерявший родителей, ожидающих в детских концлагерях подачек от «фондов милосердия», — это не то же самое?

Осмелюсь утверждать, что 17 января 1991 года войдет в историю как кардинальный поворотный момент в подготовке психодизайна XXI столетия. Всему миру было заявлено, что в массовом убийстве за интересы определенных привилегированных, владеющих современной техникой, лиц нет ничего аморального. 17 января было днем рождения морали нового технотронного мира, где Человек потерял свое былое значение, свою христоцентрическую суть.

Перепланировка мира, судя по всему, должна закончиться к 1992 году, то есть к 2000 году от Р. Х. В этом году История как бы возвращается на круги своя: 600 лет со дня преставления преподобного Сергия Радонежского, отца русской государственности, 500-летие этой государственности, 500-летие со дня открытия Америки Колумбом и изгнания евреев из Испании. На 1992 год намечено возвращение евреев в разрушенный некогда храм Соломона, стоящий прямо на «оси мира», единственный подлинный храм иудаизма, как пишут богословы, а стало быть, разрушение исламских святынь, мечети Аль-Акса.

Торжества в Испании, к которым готовится будущее технотронное общество, несомненно, образуют противоположный полюс тем несчастиям, которые переживаем мы под руководством М. С. Горбачева. Кстати сказать, не потому ли главный раввин Нью-Йорка вручил ему недавно премию за какие-то особые заслуги, повидимому, перед еврейским народом (см. «Менора», 1990, № 4).

Радикальное переустройство мира отчетливо отражено в полной деструкции хозяйства нашей страны, в ее «внезапном» (на самом деле тщательно спланкрованном) сенсационном «разорении», в том технотронно-тюремном психодизайне, в который она угодила три года назад. Новая мораль отныне признает изначальное неравенство людей: одни — в технотронике, другие — в гетто. В глобальное гетто попадаем мы вместе со странами «третьего мира». Вот для чего радиостанции «Свобода» и «Голос Америки» в течение трех лет ежедневно доказывали нам нашу умственную неполноценность, экономическую несостоятельность и юридическое невежество. «Эта страна, — говорилось, например, по «Свободе», — отныне обречена на жалкое существование, и мы можем ее не замечать».

Кстати, давайте разберемся, откуда идет термин «перестройка». От него явно отдает словом «стройка». Чего? Да вот этого самого «нового мирового порядка», вопреки старому, то есть естественному, привычному или божественному. Строитель нового порядка своего рода богоборец, ибо он хочет создать другой, «внеприродный», искусственный порядок явлений под руководством «Великого архитектора Вселенной». Мы в этой «перестройке» барахтаемся с 1917 года. Сегодня изменились ее темпы, но не суть. Не мы «вдруг» опять принимаем капитализм. Это вновь применяют проверенный на советской практике террористический способ содержания людей в особых зонах. Если в СССР раньше в воне находилось 8—12 миллионов зеков плюс охрана, то сегодня мы ВСЕ оказались в ЗОНЕ ДЕПРИВАЦИИ — искусственного лишения нормальных жизненных потребностей. Лидеры будущего, «прорабы перестройки», к полному недоумению народа, утверждают, что наше имущество — не наше имущество, что мы должны выкупать свою собственность, отнимают деньги, заработанные нами же, не компенсируют деньги товарами. Нас уверяют, что и наша жизнь — не наша, от нас скрывают размеры опасности (радиацию, например), препятствуют по своей воле перемещаться в пространстве (вспомните русских беженцев), лишают пищи, лекарств, самой возможности САМООРГАНИЗАЦИИ.

Но роптать нам все же не следует, ибо на примере Ирака и других «малоразвитых стран» понятно: шуток не будет. Если мы сами подобру-поздорову не обособимся в концлагеря, не будем помалкивать, станем заливать шахты, то и к нам прилетят технотронноуправляемые ракеты, чтобы «разъяснить» нам, где истинная справедливость.

— Вы едите слишком много хлеба, — заявил нам прямо с телеэкрана премьер Павлов... (А он может еще и не то заявить, наверное.)

8. ОКЕАН «ПСИ»

Надо любой ценой переломить демографию.
Виктор Бас, *руководитель еврейского молодежного движения «Бейтар» («Еврейская газета», 7.11.1990).*

До сих пор ученые сознательно не считаются с законами Природы — Биосферы — той земной оболочки, где только может существовать Жизнь.

В. И. Вернадский.

«Весь достигаемый прогресс, — говорится в одном из докладов ООН, — сводится НА НЕТ ростом населения». 125 стран приняли программы планирования семьи. В Китае, где дети всегда были святыней нации, людей «приговорили» к одному ребенку (за второго наказывают).

Окруженная комфортом, стареющая Европа ограничивается двумя детьми и ввозом иностранной прислуги. Но Африка растет как на дрожжах. Мир чернеет и беднеет. США, провозглашая расовое равенство, заслоняются от мексиканцев бетоном и колючей проволокой. Возник страх, что африканцы «зальют Европу» через Испанию, спасаясь от голода (Би-би-си сняла об этом даже фильм-прогноз, правда, его запретили). Франция представляет собой смешение наций, многие приезжие не могут понять, на каком языке говорят «парижане». К 2000 году, по данным ООН, предполагаемое население мира составит 6—8 миллиардов.

Что же это за процесс? Создатель теории биосферы, переходящей в ноосферу, наш соотечественник В. И. Вернадский, в конце труда всей своей жизни — «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения» (1965) написал таинственную фразу (заметим, однако, что это было в «сталинские времена»): «Идеалы нашей демократии идут в унисон с мировым геологическим процессом». О необходимости «учета» геологического процесса писал в своем труде «Волны жизни». К теории Земли. ЛГУ. 1965) друг и соратник Вернадского гидрогеолог Б. А. Личков. Личкова посадили. Вернадского 20 лет не печатали.

А что, если в этой фразе все же есть рациональное зерно? Что, если — даже подумать страшно! — мировой геологический процесс движется в сторону УМНОЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ («все правительства просыпаются по утрам в ужасе, — пишет американский антрополог, — не зная, что делать с Человеком»)?.. К. Э. Циолковский утверждал, что люди размножаются для освоения Космоса.

Православные пророки и толкователи Писания объясняют происходящее наступлением конца мира—апокалипсисом. Богатые семейства тайно переводят деньги в Австралию, в Перт, бедные стараются приучить себя к мысли о неизбежном конце и смирении... Страх — естественное чувство человека при встрече с опасностью, своего рода защитный инстинкт — растет. Но поскольку, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает, у нас есть еще время для рассуждений. Давайте взглянем на проблему с «научной стороны». Ну, во-первых, нельзя не заметить что весь научный мир увлечен сегодня возможностью создания искусственного интеллекта. Предоставления машине решения сложных задач, а главное — создания систем управления большими коллективами людей. Что отчасти уже претворяется в жизнь телевнушением, радиосуггестией и т. п. (Стало быть, можно будет отрегулировать и процесс роста населения?)

Сухово-Кобылин, известный как писатель, но неизвестный как математик, в своей работе «Всемир» (XIX в. выдвигает предположение, что в процессе роста Живая Земля формирует из человечества свой будущий Мозг. Позднее эта мысль развита Лемом в «Солярисе». Советский кибернетик С. А. Стебаков, автор замечательных романов-гипотез (увы, как обычно, неизвестных соотечественникам), доказывает, что человек и машина образуют со временем симбиоз, что-то вроде мыслящего кентавра. Другому нашему соотечественнику — В. Халину принадлежит гипотеза, что человек со временем одухотворит Машину (но, по-видимому, и уступит ей место, о чем писали многие кибернетики). Если появились машины-пчелы, машины-собаки, машины-куаначики, то, наверное, скоро появятся и «машино-люди».

Во всяком случае, мысль работает над проблемой централизации и унификации Пси-фактора человека и Пси-поля земного шара — ноосферы, в целом. Для этого необходимо срочно «перестроить» устаревшие идеологические и религиозные системы в централизованную «единую религию для всех». Природные ритмы сообществ нужно заменить единым искусственным ритмом «информосферы», взяв за основу ту религию, которая претендует на роль мировой. И желающие находятся. «Мы готовы, — говорил раввин Рожковский из Израиля, по радио «Свобода», — взять на себя управление кораблем «Земля». «Именно этому должны содействовать профанация и деструкция традиционных религиозных систем, разрушение традиционной нравственности, семьи, верований и правил, которые играли в истории роль защитных устройств перед лицом мирового Хаоса. Ибо, как писал гениальный Н. И. Кобозев, рассматривая термодинамику информации и мышления, «хаос» и порядок — наиболее общие категории действительно-

сти». Люди, нации перемешиваются, как сахар в стакане с чаем. Происходит процесс обрыва Небесных и Земных корней разных народов, разных культур, их обнажение и «ПЕРЕСТРОЙКА». Именно поэтому болит Душа человеческая, как, наверное, болит и дерево, вырванное из почвы.

Выросший в калмыцкой бескрайней степи, свободный, как ветер, Велемир Хлебников в своих непонятных манифестах требовал от правительств, чтобы они «не мешали нам общаться со звездами» (в этом он усматривал цели революции). Кстати, — один из крупнейших русских космистов, он с языческим неистовством и проникновением точно рассчитывал влияние звезд на события, даже их предваряя. Его «Доски судьбы» ждут своих дешифровщиков.

Проектирующий будущее вне всяких «нелепых языческих предрассудков», без всяких звезд, З. Бжезинский задачу американской политики видит в обратном. Развивая конструкции В. Ленина, Л. Троцкого, Н. Бухарина, А. Гитлера, он предлагает разделить живую ткань мира — Биосферу-Ноосферу — не на естественные горизонтальные общности, а на вертикальные отсеки: на палубу — технотронный рай, и под ним — глобальное гетто — питающий слой. Вверху евреи, англичане, американцы, японцы, немцы; внизу — конечно, грязные русские, китайцы с их избыточным населением, негры, арабы, прочие — черные, желтые, серые, лишние...

Мы не станем спорить с таким крупным политологом, так как чувствуем на себе воплощение его замыслов. Но мы хотим задать вопрос: а не противоречит ли такая решетчатая постройка текущему во времени мировому геологическому процессу? Движется ли она с ним в унисон? Вспомним, что писал Н. А. Козырев о Времени и о том, как оно лепит формы Жизни (об этом писали, впрочем, и Гумбольдт, и Зюсс, и Вернадский). Произвольные планы технотронной революции не считаются с устаревшими научными доводами. Полигоном для них, как всегда, будет наша страна, ибо для любых экспериментов в первую очередь нужна ЖЕРТВА! Замысел прост: отделить нас от человечества, поселить в зоопарк для «полулюдей», ускорить поворот того, что А. Гитлер называл «рычагом времени» для планеты. Он сам мечтал ускорить появление «сверхлюдей», для чего создал институт родовой наследственности «АНАНЭРБЕ» и продуманную человеконстробительную индустрию обезлюживания. И теперь более точно мы можем определить суть «перестройки»: новый порядок принудительного содержания людей (человекводства) при технотронном управлении их сознанием.

Очевидно, что никто из нас не согласен добровольно отказаться от своей, пусть несовершенной, но все-таки человеческой сути. Вот почему для управления Океаном людей, Океаном Пси необходимо насилие. Но при этом невозможно не считаться с наличием смертоносного оружия: Чернобыль и радиация, нейролептические газы и армия, яды и вода... Выход один: обман, ПСЕВДОИДЕОЛОГИЯ. Остается вести людей «в несуществующие миры», используя несовершенство их природной конструкции, их сознания. Говорить одно, а делать другое. Приговорить не явно, но тайно миллионы к медленному увяданию, сиротству, голоду, междоусобиям, политическим распрям, разорению, нищете, болезням, наркомании. Приговорить к жизни в гетто, режиму ДЕПРИВАЦИИ в государстве-тюрьме. Бог оказался неисправимым демократом, его надо откорректировать! Вместо звезд небесных повесить звезды пяти- и шестиконечные. В этом помогают зеленоглазые машины, программируя жизнь в зарешеченных регионах. Они быстро подсчитают доходы и расходы и отделят богатых от нищих, облученных от чистых. Где-то ведь наверняка хранится «Программа Перестройки» всего земного шара. Но дядя Сэм и дядя Зоигнеа не учли, готовя эту программу, что от нее густо попахивает 1933, 1937 и 1941 годами, веет откровенным фашизмом. Уже при первых шагах ее осуществления — в Грузии, Армении, Молдавии, Литве, Эстонии, Латвии. Но не простым откровенным фашизмом нашей юности, пыточным сталинским духом и садизмом, а изощренным, новым, ПСИХОТРОННЫМ ФАШИЗМОМ (термин болгарского психиатра Г. Дичева, доктора медицины и философии).

4. ЭКСКУРС В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПСИХОАНАЛИЗ

(Врачебное отступление)

Технология не может оставаться в технологических рамках, она становится Политикой.

Э. Тоффлер.

Телевидение сделало для нас общедоступным служение Сатане. Если для умозрительного соучастия в убийстве человеку некогда нужно было по протекции входить в масонскую ложу, участвовать в ритуалах для избранных, то сегодня эти ритуалы стали столь же доступны в нашем гетто, как начальное образование в школах.

Итак, чтобы мысленно «проткнуть шпагой» воображаемого короля (напомню, что человек сперва ВСЕ ДЕЛАЕТ МЫСЛЕННО, это называется сферой мотивации поступков), то есть чтобы стать мысленным соучастником убийства, сегодня не существует никаких препятствий.

Все эти проблемы хорошо изучены в центрах модификации поведения. Не только взрослые, но и дети, особенно дети, приучаются к УБИЙСТВУ СЕБЕ ПОДОБНЫХ, половому акту, даже извращениям. Жестокость вводится в общество как инфекция, как НОРМА в целях подготовки взаимоистребления «лишних» людей. 17 января 1991 года весь мир смотрел коллективные убийства. Обозреватели сообщали, что популярность телевидения благодаря компании Си-би-эс резко возросла... Но никто не сказал наутро, что все мы были соучастниками убийства! У меня в ушах до сих пор ночной голос диктора радио, так ожидающего ночной налет на Ирак, как предвкушают вкусный ужин.

Поэт Иосиф Бродский в «Курьере ЮНЕСКО» за 1990 г. с таким же тайным предвкушением обещал русским «войну экономическими средствами», то есть голодом. А ведь прав оказался, даром что лауреат Нобелевской премии! Пойдите в очередь и вы увидите стаю голодных, а у прилавка с водкой вас просто изобьют и отнимут «добычу». Нас толкают, и вполне последовательно, к ускоряющемуся моральному падению, к грехопадению. В очереди за помидорами в подмосковном городе одна пожилая гражданка «в сердцах» выбросила на мостовую ребенка только потому, что его отец хотел без очереди взять помидоры жене в больницу. Ребенок тут же умер. Отец же на глазах у оторопевшей очереди убил женщину.

А насаждаемое моральное растление. Продажа женщин за границу (проституция), наводнение книжного рынка порнографией. Узаконивание в Моссовете «половых меньшинств»... Все великие умы, изучавшие толпу как коллективную личность или коллективное животное, — Лебон, Бехтерев, Чижевский, Фрейд, да и, конечно, все богословы, — доказывают, что людей, подобно стаду свиней, вполне можно заставить броситься со скалы в море.

Разве сознательно проведенные на телевидении опыты Кашпировского с советской толпой не есть открытое презрение к людям? На глазах у нас действуют психодизайнеры концлагерного будущего, надсмотрщики «нового типа», полицейские нового порядка содержания людей.

5. ПОСТСКРИПТУМ

Если на капитанском мостике ворона, то помойки нам не миновать.

Н. Петрушенко, народный депутат СССР.

Итак, уход в несуществующие миры, компьютерные игры, визуализация астрального мира, беззаботный комфорт в мире услужливой фантастической техники возможны лишь если под технотронным благополучием лежит мягкая подстилка глобального гетто. Краткую и весьма точную характеристику современного технотронного общества дал народный депутат СССР, полковник русской армии Николай Петрушенко: «США, имея 5 процентов населения земного шара, потребляют 40 процентов мировых энергетических и сырьевых ресурсов и выбрасывают в окружающую среду 70 процентов всего объема загрязнений. Вам не кажется, что Соединенные Штаты Америки процветают лишь потому, что нещадно эксплуатируют остальные государства?»

Среди этих «других государств» ведущее место должен занять наш СССР. Окончательному превращению в сырьевой придаток, по сценарию заокеанских психодизайнеров, должны способствовать свои доморощенные платные исполнители. Имена некоторых из этих артистов привел тот же Н. Петрушенко: «Возьмите финансовые отчеты любых фондов США и вы там увидите, что Егор Яковлев, редактор «Московских новостей», свой центр прикладных исследований финансирует из Соединенных Штатов, что среди директоров фонда «За выживание человечества» числится академик Т. Заславская; руководитель Центра социологических исследований и академик Р. Сагдеев, бывший директор Института космических исследований, Герой Социалистического Труда, чуть более года назад женившийся на внучке бывшего президента США Д. Эйзенхауэра. Главный редактор «Огонька» В. Коротич тоже получает деньги из одного из фондов США. А вспомните скандал с межрегиональной депутатской группой, которая получила зарубежную технику — ксероксы, телефаксы, персональные компьютеры. Ведь все это подачка фонда национальной борьбы за демократию, который финансируется в том числе и ЦРУ».

Все это подлинно НАРОДНЫЕ АРТИСТЫ, ибо действуют они на глазах у всего честного народа, но НАРОД НАШ, как когда-то заметил великий Пушкин, БЕЗМОЛВСТВУЕТ. И, добавим мы, голодает...

АНАТОЛИЙ САЛУЦКИЙ

КОЧУЮЩАЯ НОМЕНКЛАТУРА

(ЦЕКИСТЫ И АКАДЕМКРАТЫ)

С некоторых пор странные превращения начали происходить на Ивановской площади московского Кремля. Около здания Верховного Совета СССР, не стесненная никакими ограничениями, надежно укрытая от посторонних глаз, начала быстро разрастаться стоянка новеньких, с иголочки, черных «Волг» и «Чаек».

Раньше такие «номенклатурные уши» торчали у здания ЦК КПСС на Старой площади, являя собой видимую часть айсберга цекистских привилегий и укрепляя в простых согражданах потаенное чувство неприязни, которое в конечном итоге вышло наружу, вылилось в антикоммунистические настроения. Правда, сегодня по официальным данным на счету у Компартии осталось где-то около четырех миллиардов рублей, причем этот запас, считавшийся неприкосновенным, уже пущен в распыл по причине острой нехватки доходов — поступления от взносов резко сократились, а издательская деятельность вместо прибыли приносит сплошные издержки, требуя дотаций. Значительно поубавилось на Старой площади и «Чаек».

Впрочем, бывшие лимузины цекистов не поставлены на прикол,— престижные машины тоже используют для получения дополнительных доходов, в чем без труда можно убедиться, повнимательнее присмотревшись к их новым пассажирам.

Однажды вечером около кооперативного ресторана под названием «У Маргариты» — на улице Рылеева в Москве, как раз напротив высокономенклатурного дома брежневских лет,— я увидел поздно вечером сразу три черных «Чайки» со скучающими молодцами за рулем. Тут кстати из ресторана выпорхнула небольшая подгулявшая компания, громко и весело перекликавшаяся на русско-иностранном языке. После трогательных объятий и горячих лобзаний попарно разместилась она в бывших цекистских лимузинах и умчалась куда-то в ночь.

Между прочим, даже цекистам самого высокого ранга не снилось то лакейское подобострастие, с каким моментально проснувшиеся шоферы-молодцы распахивали дверцы перед новыми пассажирами — зарубежными и отечественными бизнесменами: чаевые здесь, пожалуй, швыряют «зелененькими». Наверное, сложные чувства обуревают номенклатуру, глазеющую из своих окон на новых хозяев жизни, отнявших у нее «Чайки». Но что поделаешь: Компартия вынуждена считать рубли.

Однако вовсе не финансовые трудности ЦК КПСС интересуют меня в данном случае, а, так сказать, материальная основа особых цекистских привилегий, существовавших в застойные годы. Партийные взносы девятнадцати миллионов рядовых коммунистов, едва-едва сводивших семейные бюджеты, конечно, не могли удовлетворить аппетиты высокой номенклатуры. Не заглядывая в бухгалтерские «святцы» КПСС, нетрудно подсчитать былые доходы партии. Исходя из средней зарплаты по стране, рядовой коммунист платил взносов примерно по пятерке в месяц. Это составляло в год около 1,2 миллиарда рублей. Даже с учетом прибыли от издательских оборотов, общей суммы явно не хватало для покрытия бесконтрольных расходов цекистской верхушки — на все эти персональные лифты и авиалайнеры, фаросские виллы и подмосковные особняки, «Зилы» и «Чайки» с круглосуточным обслуживанием, а также на многие другие удобства быта, о существовании которых простой гражданин и не догадывался.

В итоге высокая цекистская номенклатура, как само собой разумеющееся, запускала руку в государственный карман, незаконно финансируя многие свои привилегии за счет госбюджета, проводя их по чужим статьям расходов — от КГБ и МИДа до Минздрава.

Эта, казалось бы, малозначительная особенность прежнего безбедного существования цекистских верхов, на мой взгляд, сыграла большую роль в развитии тех процессов, которые, видимо, по недоразумению назвали перестроечными, и имеет самое прямое отношение к странным превращениям, происходящим на Ивановской площади Кремля.

Но прежде, чем установить эту несомненную связь, хочу прояснить, почему вместо привычного в последнее время термина «партократы» я использую слово «цекисты».

Разница тут преогромная. Ярлык «партократы» был придуман в сугубо пропагандистских целях, дабы всех служилых партийцев одним махом побивахом. Но вот вспоминаю я секретаря райкома Александра Михайловича Майорова из безвестной, в стороне от больших дорог, Бетлицы — на стыке Калужской, Смоленской и Брянской областей, петухи здесь на три стороны кричат, именно здесь, средь российского приволья, привстала над полями и перелесками героическая Безымянная высота с землянкой в три наката, сосной сгоревшею над ней. Майоров в годы войны, наверное, Божьим промыслом избежал расстрела, чудом вырвавшись из рук карателей, потом три года на фронте. После председательствовал много лет в колхозе, затем секретарствовал в районе, не отлучаясь по старой привычке от косы, огорода и коровы, живя общей жизнью с народом. А выйдя на пенсию, на родине своей, в Бетлице, и остался доживать судьбой отмеренные дни. Ну какой он, к черту, партократ? Несерьезно.

Сколько таких негромких, честных тружеников среди служилых партийцев — в глубинных районах, в заводских парткомах! Немало таких и повыше. Скопом клеймить всех их партократами попросту несправедливо да и нерасчетливо: тех, кто несет жизненные тяготы наравне с народом, люди не дадут в обиду, пропагандистский наскок может обернуться эффектом бумеранга.

Но зато ярлык «партократия» позволяет выводить из-под удара нужных людей. Например, бывшего члена Политбюро Яковлева, пребывавшего в ЦК КПСС с 1953 года, сделавшего там ослепительную карьеру, благодаря партбилету вдоволь и в богатой загранице пожившего, отчего-то не причисляют к партократам. Скромного же трудягу-секретаря из Бетлицы Майорова честят.

Почему? Где водораздел, понятный народу?

Мне кажется, вместо туманного пропагандистского ярлыка «партократия» вернее было говорить о цекистах — о тех, кто сделал большую карьеру либо непосредственно в стенах ЦК КПСС, либо под высоким покровительством Старой площади. Все зло, терзавшее и продолжающее терзать мучительно наше Отечество,— оттуда, со Старой площади. Еще точнее — из ее высоких кабинетов. Именно там завелись перерожденцы, задумавшие ради сохранения своих привилегий принести в жертву не только саму идею социального равенства, на которой лично они сколотили свой политический и иной капитал, но, похоже, и предать миллионы честных людей, искренне верящих в эту идею.

И если вместо расплывчатого пропагандистского ярлыка «партократия» подойти к оценке нынешних политиков с цекистской меркой, — о ! — прелюбопытнейшая откроется картина. Выяснится, например, что многие так называемые «демократические» деятели — от Арбатова до Шмелева — классические цекисты, сделавшие карьеру на Старой площади. Безусловно, к цекистам относится и Калугин — стажироваться вместе с А. Н. Яковлевым в Нью-Йорке, было невозможно без мощной поддержки ЦК КПСС.

Впрочем, не буду увлекаться здесь перечислением малопочтенных деятелей, наскоро порвавших со своим цекистским прошлым, на глазах у изумленного народа меняющих не только политические одежды, но, кажется, и саму кожу. Эта «демократическая» волна цекистского исхода, хотя в моральном плане и не вызывает уважения, однако же по сути своей весьма примитивна и легко распознаваема: перевертыши — это ведь классические персонажи всех политических действ. Я, впрочем, допускаю, что среди бывших цекистов, вышедших из партии, есть и люди, искренне изменившие свои убеждения, глубоко покаявшиеся — пусть исповедально, не въяве, ибо нелепо требовать от каждого публичных откровений. Но когорта конъюнктурщиков к таким прозревшим слепцам, разумеется, не относится.

Куда примечательнее другая — номенклатурная волна цекистского исхода, формально пока не порвавшая с КПСС, однако уже переместившаяся со Старой площади в Кремль.

Если говорить кратко, суть маневра, совершенного этой волной, состоит в следующем. При гласности незаконное финансирование цекистской верхушки из госбюджета стало невозможным. Но явные и закулисные лидеры преобразований вовсе не испытывали желания расставаться со своими особыми привилегиями. А потому заблаговременно пересели в другие кресла, из цекистской номенклатуры перевоплотились в президентскую рать, тем самым легализовав госбюджетные источники своих сверхрасходов.

Десятилетиями они эксплуатировали веру рядовых коммунистов в социальное равенство. Сегодня те же самые люди — Горбачев, Яковлев, Лукьянов, Болдин и другие цекисты, занимавшие самые высокие кабинеты на Старой площади, под лозунгами революционной перестройки прочно оседлали Советскую власть, продолжая пользоваться прежними, но теперь уже узаконенными привилегиями.

Впрочем, не прежними, а для народа еще более накладными. Это хорошо видно хотя бы по тем помпезным церемониям, какими ныне сопровождаются зарубежные визиты главы государства. Даже Брежневу не снилось, что развенчавший его Горбачев будет самолетами возить с собой по три-четыре «броневика» — бронированных автомобиля «ЗИЛ», в которых он разъезжает по всему миру, от Вашингтона до Токио. Не говорю уже о громадных сопровождающих делегациях, о писателях, артистах и музыкантах, коими на манер древневосточных султанов окружает свои заграничные посольства наш новый «просвещенный монарх». Гласность гласностью, а неведомо народу, в какую ко-

* Из цикла «Жестокие заметки».

печку влетает ему каждая такая зарубежная поездка Президента.

Безусловно, по части расходов Президент намного побил рекорды всех прежних Генеральных секретарей, хотя революцию-то совершал под иными лозунгами. Кстати, во всей мировой истории ничего подобного, пожалуй, и не случалось. Революции извечно сопровождались сменой лидеров, даже революции «бархатные». У нас же произошло нечто невиданное, в привычные рамки изменения политической системы неуложимое. А уж если поворошить поосновательнее в исторических аналогиях, то неизбежно придет на память что-то «жирондистское» — политический маневр представителей состоятельного слоя, сперва примазавшихся к революции, а затем изменивших ей, примкнувших к термидорианству.

Кстати, как раз на годы перестройки выпал двухсотлетний юбилей Великой французской революции, и один из ведущих специалистов «по жирондистам и термидору», доктор исторических наук, тогдашний член Политбюро Яковлев прочитал по этому поводу публичный доклад — разумеется, осудив контрреволюцию. Однако вынужден с огорчением заметить следующее: чтобы по-настоящему понять действительный ход мыслей Яковлева, надо воспринимать его теоретизирования с обратным знаком.

Это вовсе не шутка, а вывод, вытекающий из сопоставления слов и дел с такой крайней степенью неумолимости, что неизбежно возникает предположение об известном медицинском диагнозе, сформулированном еще Фрейдом. Для сокрытия истинных мыслей и намерений обыкновенным людям свойственно прибегать к различным уловкам,— в нормальных случаях они просто не касаются каких-то щекотливых тем. Однако встречается изредка такой азартно-изощренный склад ума, что ни на миг не в силах он отстраниться от завладевшей им идеи, и, дабы укрыть истину, преподносит ее с точностью «до наоборот». Здесь нет необходимости приводить длинный перечень примеров, иллюстрирующих эту закономерность, но, несомненно, «яковлевский ключ» поможет будущим историкам расшифровать обильные зигзаги перестроечной политики.

Однако вернусь к той цекистской номенклатурной волне, которая отлила от Старой площади и прилила к Кремлю. В отличие от цекистов-«демократов», порвавших с КПСС, кочующая номенклатура не может позволить себе откровенных действий. Тайно решившись предать партию, она вынуждена действовать с максимальной степенью осторожности и осмотрительности — в стремлении до поры до времени не обнаружить своих истинных намерений, а главное — не упустить контроль над КПСС до полной ее ликвидации.

Как же на деле была произведена «пересадка», вживление цекистской номенклатуры в президентскую власть?

Поначалу сценарий развивался традиционно. После апреля 1985 года за содействие в избрании Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС Громыко получил должность Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Но уже тогда нетрудно было догадаться, что высший государственный пост вскоре понадобится самому Горбачеву. И верно, под предлогом того, что Генсеку неловко вести международные пероговоры, произошло очередное в нашей истории сосредоточение власти в одних руках,— это мы уже проходили при Брежневе. Казалось, все возвращается на круги своя.

Однако в январе 1987 года, когда был взят курс на реформирование советской политической системы, состоялось необъявленное, нераспознанное обществом, скрытое, но поистине драматическое, если не сказать — роковое, изменение традиционного сценария.

Привычным считалось, что при совмещении высших партийного и государственного постов безусловный приоритет власти принадлежит Генсеку. Но последующие события показали, что вероятнее всего, именно в январе 1987 года был задуман перенос центра тяжести власти на государственную должность. В ту пору об этом никто не задумывается, не знаю, в полной ли мере понимал это и сам Горбачев. Однако упрямые факты свидетельствуют о верности высказанного предположения.

Тут надо бы заметить, что, вообще говоря, такой перенос власти — дело не только нормальное, но и весьма желательное, его можно лишь приветствовать. Но задумывался-то он в неразрывной связи с «пересадкой» политической ткани — цекистской номенклатуры, вот в чем настоящая беда! Те же самые партийные лидеры, которые подвели страну к опасной черте в эпоху застоя, вознамерились списать старые долги на КПСС, а лично для себя наметили перевоплощение в гражданских властителей, что уже изначально сулило стране великие беды, ибо от цекистской номенклатуры народу не приходится ждать ничего доброго.

Нет, события все более и более утверждают в мысли, что мы имеем дело вовсе не с тем желанным переносом власти от партии к государству, на который рассчитывали и который нам обещали. На деле в обратном режиме повторен прием, уже использованный в двадцатых годах Сталиным, когда он реальные рычаги власти из государственной сферы — Ленин был председателем Совнаркома! — перебросил в партийную, сосредоточив их в руках Генсека, хотя по существу это ровным счетом ничего не меняло, кроме укрепления личной власти Сталина.

Да, это классический сталинский прием! И он повторен именно теми, кто особенно громко протестует против сталинизма,— как тут вновь не вспомнить Фрейда?!

О существовании заранее обдуманных намерений свидетельствует и крайняя торопливость первых решений: ведь процесс «пересадки» и вживления цекистской номенклатуры в государственные органы должен был занять примерно три года, а действовать предстояло предельно осторожно. И вот уже в самом начале 1987 года, когда окрыленная надеждами страна шла вверх, когда долгожданная гласность прекрасно сочеталась с невиданными за всю советскую историю темпами строительства жилья, вдруг был выдвинут тезис о необходимости дополнить экономические реформы политическими. Это безумное совмещение, отвергнутое опытом всех перестроек в других странах мира, и привело нас в итоге к жесточайшему кризису, поставило на грань гражданской войны. А продиктовано оно было вовсе не экономическими соображениями, но стремлением поскорее начать подготовительную стадию операции по пересадке цекистов в новые кресла[1].

Истинные намерения кочующей номенклатуры окончательно прояснились лишь в 1990 году, после создания института президентской власти. И первым виртуозно воспользовался очень ко времени подставленным новым креслом сам постановщик всего этого политического аттракциона Александр Яковлев. Вскрылось все на XXVIII съезде КПСС — будучи буквально изгнанным из партийного руководства, Яковлев величаво переехал со Старой площади в Кремль, став членом престижного Президентского совета.

А что касается Шеварднадзе, то этот высокопоставленный цекист и молодой дипломат, презрев профессиональные правила, высказался с трибуны съезда чересчур уж откровенно, небрежно заявив, что отнюдь не жаждет оставаться членом Политбюро, хотя десятилетиями, угождая Брежневу, упорно добивался этого места. А действительно: зачем ныне членство в Политбюро?.. Реальная власть и сопутствующие ей привилегии начали очень быстро перемещаться в президентскую сферу.

Вместе с привилегиями тронулась в путь и кочевая цекистская номенклатура. Один за другим перебирались из кабинетов Старой площади в приказы Кремля наиболее преданные лидеру перестройки люди. Не говорю о бывшем сокурснике Лукьянове, который вместе с Горбачевым первым захватил и прочно удерживал кремлевский плацдарм. О Яковлеве уже сказано. Но после XXVIII съезда вообще начали происходить странные вещи. Помощник Генерального секретаря Петраков, чья табличка продолжала украшать двери кабинета на Старой площади, в печати уже именовался исключительно помощником Президента. Болдин, занимавший важнейший пост заведующего Общим отделом ЦК КПСС, этот «Мюллер Старой площади», даже став членом Президентского совета, а затем ключевой фигурой в президентском аппарате, продолжал удерживать за собой и высокую партийную должность, контролируя аппарат ЦК, который далеко не однозначно воспринимал происходящее, уже догадываясь о готовящейся измене.

Надо отдать должное Горбачеву — «своих» он не бросил. Несмотря на позорный провал Медведева на XXVIII съезде КПСС и вопреки возмущению коммунистов, бывшего главного идеолога КПСС, который на самом сложном этапе политической борьбы вязал партийную инициативу, а еще раньше был одним из ведущих теоретиков и певцов развитого социализма, взяли в Президентский совет. Вслед за ним в аппарат Президента один за другим начали перекочевывать номенклатурные цекисты из числа помощников и референтов, а главным образом — из бывшего яковлевско-медведевского идеологического отдела ЦК КПСС. Отбор, впрочем, был жесткий — только за особые заслуги, только по принципу личной преданности.

И если сегодня обозреть состав приближенного к Президенту аппарата, то легко обнаружить чрезвычайно опасное сходство: он практически полностью состоит из бывшего ближайшего окружения Генерального секретаря ЦК КПСС.

Цекистский номенклатурный табор завершил кочевье, обосновавшись в новом, еще более уютном месте.

И когда вживление цекистской номенклатуры в государственную власть завершилось, совсем уж нетрудно догадаться, какая главная задача встала перед президентской ратью. Эта задача в свое время возникла и перед Сталиным — после того как он формально произвел хитроумный политический маневр «двойного действия»: во-первых, своих противников оставил в безвластных государственных органах, а сторонников сосредоточил во всевластной партийной верхушке; во-вторых же, осудив своих противников, взял на вооружение их идеи и методы, что особенно приметно в случае с Троцким. Так вот, в точности то же самое сделано и сегодня — но в обратном порядке, отчего суть коварной политической метаморфозы не меняется. А потому, повторяю, задача, успешно решенная Сталиным, вновь воскресла и во весь рост встала перед цекистской номенклатурой, перевоплотившейся в президентскую рать.

Эта задача в общем виде формулируется так: убрать свидетелей!

В конкретных же исторических обстоятельствах она прежде всего сводится к ликвидации КПСС.

Подходы к ее решению обнаружились еще в конце 1989 года, когда тогдашний член Политбюро Яковлев способствовал возникновению так называемой «Демократической платформы» в КПСС, которой предстояло захватить и переродить партию. Вспоминаю, как в январе девяностого года газета «Правда» устроила «круглый стол», на котором главными фигурами безусловно были Шостаковский и Лысенко: тогдашний ректор высшей партшколы Шостаковский даже сел рядом с председательским столом и задавал тон в дискуссии.

На том «круглом столе» я решительно высказался за идею многопартийности, а не фракционности. По моему глубокому убеждению, фракционная внутрипартийная борьба — эта «борьба под ковром» — чревата такими же трагическими междоусобиями, какие потрясли страну в двадцатые годы. Только открытая, гласная, многопартийная политическая борьба может служить гарантией истинной демократии. Поэтому, высказав свое уважение к «Демократической платформе», а одновременно и несогласие с ней, я предложил

[1] Подробнее о бедах, принесенных совмещением экономических и политических реформ, а также о мировом опыте на этот счет рассказано в моем очерке «Начало конца или конец начала?» («Наш современник», 1991, №№ 2—3).

Шостаковскому и Лысенко создать свою партию на основе раздела имуществ КПСС.

И тут неизбежно напрашивается знаменитая сакраментальная фраза: «Каково же было мое удивление...» Действительно, каково же было мое удивление, когда лидеры демократов высказались против многопартийности (!), отстаивая свое право вести борьбу за власть внутри КПСС. Эта лишь на первый взгляд странная позиция, конечно же, объяснялась до элементарности просто. Лысенко и не скрывал, что замыкается на члена Политбюро Яковлева, а для Яковлева уже в ту пору главнейшей задачей была ликвидация КПСС через ее перерождение.

В начале девяностого года, когда по стране прокатились так называемые «областные митинговые революции», многим казалось, что предстоящий XXVIII съезд КПСС пройдет при полном преимуществе «Демплатформы», которая перехватит КПСС и на свой манер продолжит монополизацию политической власти в стране. В этих условиях многопартийность, разумеется, была совершенно ни к чему. Но когда «Демплатформа» потерпела на съезде поражение, Лысенко и бывший цекист Шостаковский, конечно же, создали свою республиканскую партию, причем антикоммунистической направленности.

Эта совсем уж нехитрая политическая эволюция окончательно раскрыла истинные намерения «реформаторов КПСС», направляемых и наущаемых Яковлевым. Но в данном случае наибольший интерес представляет не примитивная метаморфоза «Демплатформы», которая легко объяснима, а позиция «Правды» — главной партийной газеты.

Если полистать ее страницы за первые месяцы девяностого года, то без труда можно понять, что климат наибольшего благоприятствования существовал именно в отношении «Демплатформы». А, например, инициатива ленинградских коммунистов, выступивших за создание Российской компартии, приглушалась донельзя. Такая линия, конечно, не была волеизъявлением отдельных сотрудников газеты, а отражала умонастроения нового главного редактора — И. Т. Фролова, бывшего помощника Горбачева.

Кстати, сам факт назначения помощника Генерального секретаря ЦК редактором «Правды» не может остаться незамеченным, поскольку свидетельствует о стремлении подчинить главный печатный орган КПСС лично Генсеку. В очередной раз имеем мы тут дело со старой политикой цекистской верхушки, которая под громкие осуждения брежневской «партийной мафии» на самом деле стала еще более циничной. Снова напрашиваются здесь и неизбежные исторические параллели. Аналогичный манавр уже встречался, причем в весьма трагические годы: главным редактором «Правды» в свое время был назначен помощник Сталина Мехлис.

Вообще с «Правдой» при Фролове произошли весьма серьезные изменения. Не вдаваясь здесь в их суть, скажу лишь об итоговом результате редакторских усилий: в период острейшей политической борьбы бывшая главная газета страны не заняла четкой позиции, потеряла престиж, а вместе с ним и тираж, буквально на глазах превращаясь в заурядное издание, по преимуществу обслуживающее Горбачева. Очень сильный в прошлом журналистский коллектив распадается. Поневоле обращает на себя внимание несомненное сходство действий главного идеолога партии Медведева и главного редактора «Правды» Фролова: в сложнейший политический момент их усилия были направлены на нейтрализацию партийной печати. Когда цекист Фролов завершит выполнение своей миссии, не сомневаюсь — он займет достойное место в президентской номенклатуре.

Между прочим, первой акцией А. Н. Яковлева, в 1985 году вернувшегося после канадской «ссылки» на пост заведующего агитпропом ЦК КПСС, было назначение Фролова главным редактором журнала «Коммунист». С тех пор «Коммунист», как остроумно заметил кто-то на пленуме ЦК РКП, превратился в теоретическое приложение к еженедельнику «Московские новости».

Кстати, об РКП, о Российской компартии...

Благодаря контролю Яковлева над значительной частью средств массовой информации и одновременной нейтрализацией партийной прессы, что было поручено Медведеву, план лидеров кочевой номенклатуры, предусматривавший устранение свидетелей их измены, шел как по маслу. Получалось буквально всё: от дискредитации оппонентов до победы на выборах и захвата все новых органов печати. За последние три года у них случилась всего лишь одна осечка, но, возможно, самая серьезная — они не смогли предотвратить создание Российской компартии.

После учреждения РКП кочевая цекистская номенклатура уже не может окончательно покинуть Старую площадь с той легкостью как предполагалось вначале. Задуманной быстрой ликвидации КПСС не получается, свидетелей измены теперь убрать не так-то просто, останется РКП. Именно поэтому вынужденно откладывается давно планируемый выход Яковлева из КПСС — такое саморазоблачение может вызвать взрыв негодования в РКП; ведь многие коммунисты и без того требуют партийного разбирательства ренегатства Яковлева. Именно поэтому на Старой площади приходится держать преданных цекистов, в задачу которых входит всеми силами мешать ЦК РКП. Все планы кочевников тормозятся, а времени-то в обрез: цекистская номенклатура швырнула страну в объятия жестокого кризиса, и народ вот-вот восстанет. Как тут не питать особой, личной неприязни к РКП, сорвавшей хорошо продуманный крупномасштабный политический маневр безболезненного перевоплощения цекистов в президентскую рать?

Но делать нечего — РКП создана на вполне законных основаниях, и нужны новые, не только прямолинейные методы борьбы с ней. Какие именно?

Первый — и по времени, и по значению — это насыщение штата ЦК РКП, да и самого Центрального Комитета, надеж-

ными, истинно цекистскими аппаратчиками для нейтрализации изнутри. Что ж, получилось — однако лишь отчасти, в незначительной доле. Правда, получше обстоит дело со вторым способом нейтрализации — не давать средства массовой информации. Хотя после скандала россиянам удалось отстоять «Советскую Россию», но на этом успехи РКП и закончились: скоро уж год минет со дня ее образования, а ЦК КПСС ни одного печатного органа российским коммунистам открыть не дает. (Этот факт, между прочим, ярче яркого свидетельствует об истинном по сути, враждебном отношении Горбачева к РКП. Сколько самых различных газет и журналов пооткрывалось за последний год в стране и в Москве, — но для российских коммунистов ничего не нашлось. Безголосая-то партия не так страшна.) Наконец, есть и третий способ, которым в совершенстве владеют изощренные цекисты: обюрократить, обаппаратить новую партийную структуру.

И приходится признать, что в совокупности эти три способа — конечно, есть еще и другие — приносят определенный результат. Не случайно за РКП все более утверждается репутация «карманной партии» Горбачева — об этом, кстати, говорили и на Пленуме ЦК РКП. Да и Полозков сегодня уже далеко не тот, что был в период избрания первым секретарем. Тогда Иван Кузьмич действовал смело, решительно, нестандартно, — мне лично приходилось убеждаться в этом. Радикальная пресса намеренно создала искаженный образ этого человека — по причинам, мною уже упоминавшимся. Однако с течением времени все более осмотрительным, все более осторожным становится лидер российских коммунистов, попросту же говоря — все более аппаратным.

В чем причина? Возможно, психологически влияет особый, большой телефонный аппарат с надписью «Горбачев», который одиноко стоит на рабочем столе Полозкова, — именно на рабочем столе, а не на телефонной тумбочке, где установлены все остальные аппараты. Возможно, действует на психику постоянная телефонная и очная «трамбовка», которую ведут члены Политбюро ЦК КПСС. Наверное, даже наверняка, есть и другие факторы. Но важен, в конце концов, итог. А он заключается в том, что Полозкова явно пытаются обратать, сделать «своим», цекистом.

Пока не удаётся лидеру российских коммунистов так же решительно сбросить с себя заскорузлую скорлупу партийного чинопочитания и ложно понимаемой партийной этики, как сделал это Ельцин. С Ельциным, кстати, не все так просто. Волею судеб и обстоятельств вырвавшись из цепких сил цекистского притяжения, он, видимо, по инерции ушел в противоположную сторону, — да и помогли ему в этом основательно. Но сам факт его популярности свидетельствует о личной незаурядности некоторых партийных лидеров, прошедших нелегкую жизненную обкомовскую школу. Ведь именно таким был Ельцин, именно на партийной работе в области сформировался он как лидер — со всеми своими достоинствами и недостатками.

Удастся ли Полозкову тоже сбросить с себя нараставшую десятилетиями скорлупу, чтобы пойти своим путем?.. Нелегко ответствовать на этот немаловажный вопрос. Но объективный взгляд на ситуацию побуждает пока дать отрицательный ответ. Дело в том, что несколько работников ЦК КПСС демонстративно хлопнули дверью Старой площади, чтобы открыто примкнуть к демократам, — громче всех сделал это небезызвестный Хаценков, объединившийся, а затем разругавшийся с Травкиным на меркантильной почве. Однако не нашлось пока в аппарате ЦК ни одного человека, который хлопнул бы дверью «с противоположного выхода» — из протеста против кочевой цекистской номенклатуры, задумавшей извести КПСС.

По силам ли это Полозкову и его соратникам? С кем все-таки они не на словах, а на деле — с привилегированной цекистской верхушкой, которая, перекочевав в Кремль, моментально раздула бюджет своих привилегий до ста миллионов рублей, или же со страждущим народом?..

И завершая разговор об РКП, хочу упомянуть еще об одной небезынтересной попытке расколоть и переродить Компартию. Она была предпринята на 3-м внеочередном Съезде российских депутатов, когда полковник Руцкой стал инициатором создания фракции «Коммунисты за демократию». До чего же знакомый почерк! — снова из политического небытия выволакивают на свет Божий призрак усопшей «Демплатформы». Ведь программа Руцкого в главном совпадает с позицией «Дем. России» — ну и вступай в нее на здоровье! В конце концов те, кто с Руцким, — голосуют заодно с демократами. Зачем новая-то фракция?

Однако нет, замысел тут парламентский лишь с виду.

На самом-то деле речь все о том же — о перехвате и перерождении Компартии. И «Правда» тут как тут! Немедленно по личному указанию главного редактора оповещает КПСС, что у Руцкого уже 170 коммунистов, хотя, как вскоре выясняется, цифра эта липовая. Без труда угадывается и прежний режиссер-постановщик, который, впрочем, и не таится: в интервью французской газете «Трибюн де л'экспансьон» А. Н. Яковлев излагает как раз те тезисы, которые легли в основу фракции «Коммунисты за демократию»

Но позвольте, позвольте! — наверняка воскликнет внимательный читатель, — ведь Яковлев утвержден официальным советником Горбачева, а Ельцин Горбачеву противостоит. Между тем вдохновляемая идеями Яковлева фракция «Коммунисты за демократию» должна помочь Ельцину окончательно утвердиться во главе России и превратить горбачевский центр в то мизерное пространство, которое умещается между большим и указательным пальцами Ельцина.

Так в чьих же советчиках в действительности ходит Яковлев — у Ельцина или у Горбачева?

Вопрос отнюдь не риторический. Более того, именно за ним на самом-то деле скрывается главная политическая интрига той поистине всенародной драмы, какую переживает наше Отечество.

Дело тут, конечно, не в Яковлеве как таковом, хотя в порождении политического и экономического хаоса, охватившего страну, ему принадлежит роль совершенно особая, я бы сказал, исключительная[2]. Вопрос гораздо серьезнее, глубже: пока сотни миллионов сбитых с толку соотечественников — молодых и пенсионеров, коммунистов и демократов, манифестантов и домоседов, — проклиная друг друга, мечутся между Горбачевым и Ельциным, между союзной и республиканской властью, за их спинами идет нечестная политическая игра, способная лишь умножить напасти, угрожающие народу.

Чтобы пояснить, о чем речь, хочу рассказать об одном малоприметном, не привлекшем особого внимания событии, которое как раз во время драматического внеочередного Съезда российских депутатов произошло в... Верховном Совете СССР.

Утверждали персональный состав и председателя Комиссии по науке и технологии, в связи с чем в зале заседаний начали накаляться страсти. Депутат Крайко резко выступил против того, чтобы назначить председателем академика Ю. А. Рыжова, четко и ясно обосновав свою позицию. Рыжов раньше уже руководил этой комиссией, но, оказывается, из 18 заседаний присутствовал только на 7. У него вообще очень много различных обязанностей — ректор МАИ, член различных комитетов и так далее. Кроме того, Рыжов представляет в Верховном Совете СССР оппозицию, предлагая в значительной степени сформировать комиссию из межрегионалов Афанасьева, Мурашова, Старовойтовой и других. Наконец, главное: Рыжов стал заместителем председателя академического «мозгового штаба» при Ельцине, а ельцинская команда, как известно, ставит своей целью отставку Горбачева и роспуск Верховного Совета СССР. В этих условиях просто нелепо, нелогично рекомендовать Рыжова председателем комиссии Верховного Совета СССР.

Выступление Крайко было, как говорится, весьма доходчивым, и зал его поддержал. Действительно, получалась некая «нескладуха»: Рыжов открыто выступает за роспуск Верховного Совета, а ему здесь предлагают весьма высокий пост. Для чего? Чтобы облегчить межрегионалам захват власти в парламенте? К тому же Рыжов примкнул к Ельцину, который противостоит Горбачеву... Да тут, казалось бы, и двух мнений быть не может: прав Крайко!

Однако не тут-то было. Разумеется, среди депутатов нашлись и такие, кто активно поддержал кандидатуру Рыжова. Это, впрочем, не удивительно, а вполне нормально: каждая политическая фракция кровно заинтересована в продвижении своих людей на руководящие посты. И не стал бы я уделять той дискуссии столько внимания, если бы... Если бы не обнажила она поистине удивительные, загадочные особенности парламентских нравов.

Начать с того, что кандидатуру Рыжова вполне недвусмысленно поддержал... Лукьянов. С точки зрения «нормального» гражданина, наблюдавшего за схваткой Ельцина и Горбачева, за войной союзных и республиканских законов, это, конечно, выглядит весьма странно. Лукьянов — ближайший сподвижник Горбачева, пристало ли ему поддерживать выдвижение на ответственный пост в союзном парламенте одного из близких людей Ельцина? Повторяю, нормальная гражданская логика, не извращенная нравами закулисных политических сделок, это не воспринимает. Однако же было так, истинно так: Лукьянов умело дирижируя дискуссией, недвусмысленно поддержал Рыжова, в этом ни у кого ни малейших сомнений не возникало.

Но даже дирижерское мастерство председательствующего не позволяло переломить ситуацию в пользу Рыжова. Слишком уж вразрез с жизнью разворачивался этот странный парламентский спектакль. Рядом, в Большом Кремлевском дворце, в это же самое время шел Съезд российских депутатов, где в полный голос, что называется, «несли» Горбачева с его кабинетом министров и Верховный Совет СССР, требуя отставки первых и роспуска второго. Многие союзные депутаты до утренних петухов наблюдали по телевидению за бурными перипетиями съездовской борьбы. Противостояние России и Центра приближалось к зениту. Сам Рыжов чаще присутствовал на Съезде, нежели на заседании парламета. Он открыто был с теми, кто жаждет роспуска всех народных депутатов СССР. Это, конечно, его право, однако зачем же в таком случае поощрять академика избранием на ответственный пост?

Повторяю, нормальная человеческая логика с этим не справлялась. Да и сам Рыжов, выйдя на трибуну, даже не пытался отрицать справедливость слов депутата Крайко. В результате дирижерское искусство Лукьянова явно не срабатывало. По настроению зала чувствовалось, что кандидатура Рыжова не пройдет.

И вот тут, в пиковый момент дебатов, на выручку одному из самых близких людей Ельцина академику Рыжову бросился... кто бы вы думали? — Ивашко!

Да, да, заместитель Горбачева, заместитель Генерального секретаря ЦК КПСС Ивашко!

Он предложил прервать дискуссию, отложить голосование и вернуться к обсуждению спорного вопроса послезавтра, на следующем пленарном заседании парламента.

Лукьянов виртуозно поймал точный пас, выданный Ивашко, продемонстрировав изумительную сыгранность двух заместителей Горбачева — по государственной и партийной линиям: депутаты ахнуть не успели, как заседание было моментально прекращено, поскольку, мол, лимит времени уже исчерпан.

Что же все-таки получается?

Ельцин, «Демократическая Россия» и межрегионалы, к которым принадлежит Рыжов, активно выступают против Компартии. В проекте «Декрета о власти», подготовленного «Дем. Россией», даже ставится вопрос о роспуске КПСС, изъятии у нее всего имущества. В этих условиях Ивашко, заместитель Генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева, казалось бы, обязан всеми силами противиться усилению позиций Рыжова. Миллионы людей, каких бы взглядов они ни придерживались, сегодня именно так понимают ситуацию, возникшую в борьбе за власть: ведь противостоят друг другу две основные политические силы — коммунисты и демократы.

И вдруг очень высокопоставленный цекист, занимающий второй по рангу чин в иерархии ЦК КПСС, кидается на выручку известному демократу, чтобы помочь ему утвердиться на ключевой должности председателя парламентской комиссии!

Что это за политический цирк? Какая игра затеяна за спиной народа?

Не разобравшись в этом, все мы вместе взятые — коммунисты и демократы, старые и малые, горожане и селяне, одним словом, весь наш великий народ! — рискуем угодить в волчью яму катастрофической разрухи и гражданской войны, уготованную для всех нас беспринципными политиками, не озабоченными судьбами Отечества, а мечтающими только о власти и привилегиях.

Но прежде чем попытаться осмыслить это в общем-то малозначительное, но весьма и весьма многозначащее происшествие в Верховном Совете СССР, прежде чем повнимательнее всмотреться в эту «каплю», отразившую весь наш политический мир, небесполезно дополнить сказанное некоторыми конкретными подробностями парламентской жизни.

Выйдя из здания Верховного Совета СССР, пораженный неожиданным «ходом» Ивашко, я поделился своими сомнениями с одним известным рабочим депутатом, который, между прочим, состоит в неважных отношениях с Ельциным. Но его ответ поистине обескуражил:

— Ты ничего не понимаешь. Сегодня Рыжов прошел бы в председатели комиссии, вот Ивашко и помог прервать заседание. Теперь появилось время, поработает с депутатами, и послезавтра Рыжова завалят, вот увидишь.

С этими словами депутат хлопнул дверцей подкатившей к нему черной «Волги» и умчался из Кремля.

Как «поработали с депутатами» и как «завалили» Рыжова, все мы увидели: через день он был избран председателем Комиссии по науке и технологии. И вот я думаю: тот рабочий депутат говорил искренне или же лукавил? Иными словами, он меня обманывал или же он обманут сам? Сказать по правде, достоверно ответить на этот вопрос мешает мне черная «Волга», в которой укатил депутат. Став ее пассажиром, он оказался в двойственном положении. С одной стороны, партийная принадлежность, здравый смысл и личные соображения обязывают его голосовать против сторонников Ельцина. Но «Волгу»-то выделяет Лукьянов, а Лукьянов явно тяготеет к ельцинскому Рыжову. Как тут поступить?..

Впрочем, каждый сам выбирает свою судьбу, и не политическая раздвоенность того рабочего депутата более всего занимает меня, а именно черные «Волги», в изобилии скучающие на Ивановской площади Кремля, с которых я и начал этот очерк.

Быстро, однако же, отросли новые «номенклатурные уши» у переехавшей со Старой площади в Кремль цекистской номенклатуры и у многих попавших в Верховный Совет народных избранников. Вспоминаю, например, какую горячую симпатию в дни первого Съезда народных депутатов вызвала у меня — да, наверное, у всех! — маленькая отважная женщина Евдокия Гаер. Она смело сражалась за микрофон, чтобы выразить боль своего народа, и завоевала всеобщее признание. Но почему совсем не слышно голоса Евдокии Гаер в Верховном Совете СССР, членом которого она стала? Признаться, не раз задумывался я над причинами затянувшегося молчания этой боевой женщины.

А ответ нашел на Ивановской площади Кремля, увидев, как после заседания парламента она усаживается в черную «Волгу».

Цекистская номенклатура, обосновавшаяся в Кремле, умело и сноровисто сбила с многих членов Верховного Совета первоначальный депутатский пыл, а тех, кто позабористее, слегка окунула в расслабляющую нирвану привилегий. Кому-то выделили персональные «Волги», кто-то пользуется казенными машинами на двоих или на троих, другим и вовсе помогли приобрести собственные «Волги». А удобные квартиры?.. Некоторые из депутатов уже загодя с мукой сердешной задумываются о том, когда истечет срок их верховносоветовских полномочий и придется возвращаться в родные края. Как хочется навсегда застрять в Москве! И ведь многие застрянут, ей-богу, застрянут, узнаем мы их имена, уже сегодня присматривают они для себя теплые местечки в столице. Но с такими «московскими» настроениями разве мыслимо во всю полноту отстаивать народные интересы?

Да что там говорить о машинах и квартирах, если не так давно в Италии побывала состоявшая из тридцати человек делегация... жен (!) народных депутатов СССР — для ознакомления с «тамошним» образом жизни и приобщения к правилам хорошего тона. Думаю, этот бытовой штрих достаточно полно свидетельствует об истинной степени цекистского воздействия на депутатов. Не случайно один из неусмиренных членов Верховного Совета СССР, который никак не захотел поддаться умелым приемам дрессировки, рабочий Леонид Иванович Сухов официально заявил на одном из заседаний:

— Я не могу оставаться в этом буржуазном парламенте. Дайте мне право на пятнадцатиминутное выступление с показом по телевидению для объяснения моей позиции.

Не дали, разумеется. Шуточками да при-

---

² В упоминавшемся интервью французской газете А. Н. Яковлев заявил, что экономический кризис в стране вызван ошибками правительства Рыжкова, которые «были достаточно серьезными». Но прямая вина за срыв экономики лежит на самом Яковлеве, который в декабре 1987 года приложил максимум усилий к тому, чтобы «зарубить» план Рыжкова, предусматривавший постепенный переход к рынку. Яковлев настоял на радикальном варианте. Что из этого вышло, всем известно. А вот теперь он всю вину валит на прежнее правительство.

баутучками Лукьянов заиграл важнейший вопрос: принципиальное несогласие рабочего депутата с линией союзного парламента. Опытный, с громадным стажем цекист, Лукьянов, конечно, понимал, какую бомбу взорвет Сухов, если подпустить его к трибуне, да еще с показом по телевидению.

Между прочим, в Первой Государственной думе, да и во Второй и в Третьей все обстояло иначе. В эпоху самодержавия позиция рабочих и крестьянских депутатов звучала в Думе в полный голос, и очень нелицеприятно для власть предержащих, в чем легко убедиться, полистав пожелтевшие газеты того времени. В период четкого размежевания политических и классовых сил ни один депутат Государственной думы не вправе был отступиться от воли своих избирателей, и не располагал царь никакими привилегиями, которые могли бы понудить несогласных депутатов сотрудничать с самодержавием. Один-единственный способ оставался в распоряжении царя — распустить Думу.

Куда царю-самодержцу до изощренных цекистов, провозглашающих лозунги народовластия![3]

Но пора вернуться к тому политическому аттракциону с избранием Рыжкова, в котором как в капле воды отразился нынешний политический мир. Почему все-таки оба заместителя Горбачева — и по парламентской, и по партийной линии — в унисон поддержали одного из приближенных Ельцина, требующего отставки Горбачева и ликвидации Компартии? Чтобы разобраться в этом вопросе, вновь надо обратиться к особым свойствам цекистской номенклатуры, мертвой хваткой вцепившейся в загривок измученной страны, со страхом и растерянностью мчащейся в неизвестность.

Перебравшись со Старой площади в Кремль, цекисты лишь ненадолго получили успокоение: неожиданно для многих из них возник острый конфликт между Ельциным и Горбачевым. Этого конфликта, вообще говоря, вполне могло и не быть, поскольку в принципе идейные позиции обоих лидеров весьма схожи, если не сказать одинаковы. Различия обнаруживаются лишь в тактике и методах. Поэтому цекисты из Кремля поначалу, видимо, не придали особого значения зародившемуся конфликту, объясняя его различием характеров, игрой самолюбий и прочими субъективными качествами Горбачева и Ельцина, которые в нужный исторический момент будут отброшены ради достижения компромисса[4].

Но цекисты не учли, что дело не только и не столько в Ельцине. Недалеко от Кремля, чуть ниже по течению Москвы-реки, в «Белом доме» на Краснопресненской набережной, быстро сформировался ударный отряд политиков новой, разночинной волны, горячо жаждущих сбросить цекистов с московского престола. Нет нужды здесь судить-рядить о различиях или сходствах идейных позиций этих противоборствующих групп, поскольку номенклатурные цекисты вовсе не коммунисты, а разночинцы совсем не демократы. Дело упирается в дележ власти и привилегий, а тут компромисс затруднителен, ибо политикам из «Белого дома» «светит» забрать все и въехать в Кремль, объявив Москву российской столицей.

Когда нынешние обитатели Кремля осознали серьезность возникшей угрозы, было уже поздно: конфликт между Горбачевым и Ельциным перерос в противоборство республик и Центра. Но главное, неистребимое свойство кочевой номенклатуры в том и состоит, что ей все равно, кому служить и поклоняться — социализму или капитализму, Ельцину или Горбачеву. Лишь бы сохраниться, выжить! И цекистская верхушка немедленно включилась в азартную, истинно «ипподромную» политическую игру с одновременной ставкой сразу не двух лошадей.

Если присмотреться внимательнее к пропагандистской кампании против Ельцина, то нетрудно заметить, что ни один из номенклатурных цекистов — будь то из Кремля или со Старой площади — впрямую не принял в ней участие. Использовали, «подставляли» наивных депутатов из группы «Союз», авторов писем в редакцию, простодушных журналистов. Не могу скрыть, что и лично мне звонили со Старой площади с убедительной просьбой поскорее, еще до внеочередного российского Съезда депутатов, подготовить статью с новыми фактами о роли академика Заславской в сселении неперспективных деревень — да покруче, поострее! — поскольку Заславская теперь входит в команду Ельцина и надо разоблачить его ближайшее окружение. Назвали даже газету, готовую немедленно опубликовать материал, кстати, газету всесоюзную. Я, разумеется, просьбу не выполнил. Известно, мне не раз приходилось критиковать Заславскую, однако в грязных цекистских играх принимать участия не желаю.

Почему грязных? Да потому, что два года назад именно в ЦК КПСС я передал документы, подтверждающие прямую причастность Заславской к сселению неперспективных деревень, передал их лично одному из весьма высоких и особо приближенных к Горбачеву цекистов. Но их сунули под сукно, потому что в то время Заславская входила в число советников Горбачева. Никто на Старой площади не помог мне опубликовать ответ хотя бы в одной из многочисленных газет, которые набросились на меня, защищая академика. И вот теперь оттуда же, со Старой площади, несется: бей Заславскую! Разве это не грязная игра?!

По-моему, пришло время не про Заславскую писать, а про того высокономенклатурного, приближенного к Горбачеву цекиста, который спрятал под сукно документы о сселении неперспективных деревень. Кстати, теперь-то он в Кремле!

Да, разворачивая пропагандистскую кампанию против Ельцина, ни один из высоких цекистов осмотрительно личного участия в ней не принял. И более того, многие посчитали необходимым косвенно засвидетельствовать Ельцину свою лояльность. Это стремление явственно сквозило в действиях Лукьянова и Ивашко при обсуждении кандидатуры Рыжкова. При чем тут политическая борьба, если речь идет об устройстве собственных судеб?

Впрочем, было бы, конечно, большим упрощением сводить закулисные политические интриги цекистов исключительно к примитивной заботе о сохранении хороших отношений с «альтернативным лидером». Есть расчеты и гораздо более далекие, более глубокие. Хотя сегодня цекисты и разночинцы круто противостоят друг другу в борьбе за власть, существует у них все же одна точка соприкосновения, где можно нащупать единый интерес.

Этот интерес заключается в общем стремлении ликвидировать Компартию.

Правда, хочу заметить: объяснимое, но глубоко, на мой взгляд, ошибочное со стороны разночинцев, это желание выглядит поистине чудовищным, отвратительным со стороны цекистов.

И вот тут, именно в тот самый момент, когда понадобилось нащупать антикоммунистическую смычку между цекистами и разночинцами, на поверхность бурного политического моря вновь всплыл временно отлеживавшийся где-то на дне, в фонде «Милосердие», Александр Яковлев.

После того как на октябрьском Пленуме ЦК КПСС 1987 года Яковлев вместе с другими членами Политбюро громил Ельцина, он ни разу не позволил себе публичной хулы в его адрес, хотя, как стало известно, в узком кругу членов ПБ заочно оскорблял его. Более того, когда Ельцин вышел из КПСС, Яковлев позвонил ему, выразил поддержку. И даже в интервью газете «Правда» накануне референдума 17 марта, в пиковый момент противостояния Горбачева и Ельцина, Яковлев умудрился виртуозно «сыграть на две лузы», что подтвердило его репутацию скользкого политика.

Но дело не только в личных отношениях Ельцина и Яковлева, единственного члена Политбюро, кто удостоен лестной оценки в «Исповеди на заданную тему». «Демократическая» волна исхода со Старой площади, многие из тех, кто покинул партию и открыто примкнул к демократам,— от бывшего лидера «Демплатформы» Лысенко до бывшего цекиста Амбарцумова, который в начале 1990 года на страницах фроловской «Правды» попытался реанимировать классический ревизионизм Бернштейна,— все они «вышли из Яковлева». Именно Яковлев стал особо важной, ключевой фигурой, смыкающей обе волны исхода со Старой площади — открыто антикоммунистическую и цекистско-номенклатурную. И именно Яковлев как никто другой кровно заинтересован во что бы то ни стало убрать свидетелей своей измены, иначе говоря — ликвидировать КПСС.

Ибо Яковлев — это самый главный цекист.

Уже упоминал я о том, что созданная на российском Съезде фракция «Коммунисты за демократию» лишь для видимости носит парламентские одежды. Это отчетливо проявилось и на телевизионном «круглом столе», устроенном после Съезда. Вовсе не демократы Шахрай и Румянцев, а именно «коммунист» Руцкой с особой яростью нападал на РКП, отвергая саму идею социалистического выбора. Политик по стажу совсем молодой, неопытный, он без бумажки выражал свои мысли, хотя и весьма напористо, с обильной жестикуляцией, но очень сумбурно, если не сказать — невразумительно. Потому-то сквозь его невнятные рассуждения, словно гвоздь в старом сапоге, все время выпирал лишь один хорошо усвоенный мотив: во всем виновата РКП, ей надо переродиться.

Демплатформовец Лысенко годом ранее проводил точно такую же линию, хотя и в более цивилизованных выражениях.

Однако вторично разыгранная карта со ставкой на разложение партии изнутри — далеко не единственный прием, использованный цекистами. На стол уже выложен один из главных козырей, который, кроме прочего, должен — по замыслу! — и спасти кочевую номенклатуру от бурного натиска разночинцев. Речь идет о так называемом координационно-консультационном совете при Ельцине.

Арбатов, Богомолов, Тихонов, Шмелев, Заславская, Бунич, Аганбегян... Нетрудно понять, что в «лице» ККС мы в значительной мере имеем дело с той же самой немногочисленной, но плотной и влиятельной когортой академиков-политиков, которая окружала Горбачева, научно выверяя маршрут кочевья цекистов со Старой площади в Кремль. В печати не раз указывали, что эти люди входили в команду Горбачева, а когда Президент зашатался, ради самосохранения беспринципно переметнулись к Ельцину.

Но это неверное, поверхностное суждение.

Политическая когорта академиков, о которой идет речь, как известно, не обогатила отечественную науку достижениями, способствующими экономическому прогрессу страны, а занималась в основном научным обслуживанием власти. Их научные карьеры сделаны в эпоху застоя, а поскольку все они экономисты или философы, то совершенно ясно, что эти карьеры носили сугубо политический характер, иначе и быть не могло. Не случайно в отличие, скажем, от физиков Прохорова, Басова, химика Семенова и других, широкую известность академики-политики получили не благодаря своим научным работам, а исключительно посторонними обстоятельствами — в результате активнейшей и вовсе не академической, а сугубо популяризаторской деятельности в средствах массовой информации, благодаря директорским постам, а также близости к власть предержащим.

Непосредственно в Академии наук они

---

[3] Вспоминаю, как на одном из первых заседаний Верховного Совета СССР кто-то из депутатов сделал председательствующему замечание за то, что он комментирует выступления, хотя обязан беспристрастно вести заседание. Боже мой, как давно это было! И каким немыслимым такое замечание кажется сегодня, когда Лукьянов играючи манипулирует ходом обсуждения!

[4] Существует точка зрения, уподобляющая схватку между Горбачевым и Ельциным игре в «наперстки». Но под каждым из этих «наперстков» пусто, и на кого бы народ ни поставил, он все равно окажется в проигрыше. Насильно вовлеченный в эту «игру» народ, таким образом, оказался перед ложной альтернативой. А пока идет «игра», великую державу низводят до уровня третьестепенной страны.

тоже занимают положение особое. Благодаря мощной поддержке цекистских верхов в АН СССР в свое время было создано новое отделение мировой экономики, ставшее ядром вышеозначенной когорты, а одновременно и калиткой в Академию для чистых политиков. Кстати, именно через нее, а не по отделению истории, протиснулся в действительные члены доктор исторических наук А. Н. Яковлев.

Эта когорта всегда была теснейшими узами связана с ведущими цекистами Старой площади; самих этих ученых, прекрасно устраивавшихся при всех генсеках, можно было бы с полным правом отнести к цекистам. И все-таки эту маленькую группку академиков, разумеется, никак не олицетворяющих всю советскую Академию наук, правильнее было бы выделить в самостоятельную категорию: это классические академкраты — ученые, подпирающие цекистскую власть, обслуживающие кочевую номенклатуру, выполняющие ее политический заказ.

И большим заблуждением было бы считать академкратов бывшей командой Горбачева, цинично перебежавшей к Ельцину. Это неверно, это не соответствует исторической истине. Академкраты никогда не были командой Горбачева и никогда не будут командой Ельцина.

Кучка академкратов была и остается командой Яковлева.

Эту свою команду главный цекист сначала направил к Горбачеву, сплошь окружив тщеславного лидера академиками с кабинетным мышлением, отрезав его от реальной жизни, уведя из сферы конкретного руководства огромной страной в туманные дали философско-этических и общечеловеческих категорий. А когда у кремлевских цекистов возникла острая необходимость навести антикоммунистические мосты с разночинцами из «Белого дома», сам Яковлев стал официальным советником Горбачева, а преданную ему команду академкратов перебросил к Ельцину.

Эта сложная закулисная игра, идущая за спиной несчастного, намеренно сбитого с толку народа, таит страшные беды для страны, ибо в основе ее лежат беспринципные политические интриги кочевой номенклатуры. Основной расчет таков: взять главного врага — Российскую компартию — в клещи «Горбачев — Ельцин». На поверхности общественных борений видна только одна сторона этого процесса: противостояние коммунистов и демократов в российском парламенте. Однако в действительности существует и другая составляющая: ЦК КПСС злонамеренно не предоставляет ЦК РКП финансовой самостоятельности.

«Клещи» срабатывают: если РКП порвет с Горбачевым, чего давно требуют миллионы рядовых коммунистов, Ельцин не зарегистрирует ее в России как самостоятельную партию, попытается конфисковать ее имущество. Таким образом, РКП вынуждена оставаться на Старой площади, где ее вяжут по рукам и по ногам.

Положение поистине трагическое: публично РКП со всех сторон лупят антикоммунисты всех мастей, а исподтишка еще чувствительнее бьют цекисты Старой площади.

Не берусь судить, долго ли она выдержит осаду, но по сценарию, разработанному ранее, должно было произойти следующее. Если Российскую компартию все-таки удастся подавить, это будет означать, что некогда могучий дредноут КПСС окончательно потеряет плавучесть. В таком случае Генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев, открывший кингстоны для потопления и пустивший партию на дно, последним покинет гибнущий корабль и со вздохом облегчения, окруженный родным табором кочевой цекистской номенклатуры, удобно рассядется в одном кресле — президентском [5].

Однако, как уже говорилось, жизнь подправила первоначальный сценарий, осложнив, запутав ситуацию непредвиденным появлением на политической сцене новых претендентов на кремлевский престол. И основной замысел тут же вносятся поправки: цекистам теперь выгоднее слегка потянуть с окончательным удушением РКП, чтобы использовать ее в качестве тарана против Ельцина. Полозкова, которого ЦК КПСС пыталось напрямую стравить с Ельциным, едва успел миновать расставленную западню и, проявив самостоятельность, впервые «оставил в дураках» цекистов, заявив, что и не пытался сбрасывать Ельцина. Это, кстати, было чистой правдой: ни одного заявления о переизбрании Ельцина ЦК РКП никогда не делало. Но интересно — кто же больше всех разозлился на Полозкова за то, что он проявил самостоятельность?

Газета «Правда», которая упрекнула лидера российских коммунистов в «отступничестве».

Ну и нравы, ну и времена!

Но исподтишка ударить по разночинцам цекисты рассчитывали не только с помощью искусственно натравленной на них Российской компартии. Нет, вовсе неспроста перекочевала в «Белый дом» яковлевская команда академкратов. На поверхности-то видна лишь ее рыночная цель. Но не является ли она классическим «троянским конем», посредством которого многоопытная кочевая цекистская номенпатура рассчитывает проникнуть в «Белый дом» и перехватить здесь власть, осторожно и незаметно отодвинув разночинцев на второй план?

Тем более разночинцы, по всему видать (а особенно по их прямолинейным выступлениям), неискушены в крупномасштабных политических интригах и совершенно не понимают главной особенности текущего момента. Они без умолку твердят о том, что реальная власть находится не у них, а в руках коммунистов. Но это неверно.

---

[5] Тот поразительный факт, что В. И. Болдин, который руководит аппаратом Президента, одновременно продолжал занимать пост заведующего Общим отделом ЦК КПСС, служит ключом к пониманию всего цекистского замысла. В мировой политической истории, а тем более в истории революций ничего подобного и близко не случалось. Но хороша и партия, которая позволяет над собой такое надругательство!

У демократов действительно нет реальной власти.

Но нет ее и у коммунистов.

Реальная власть — у кучки номенклатурных цекистов.

Непонимание этой истины демократами может очень дорого обойтись и им самим, и всему нашему Отечеству.

Я не настолько наивен, чтобы призывать российских демократов к примирению с российскими коммунистами. Но не могу не сказать о том, что уход РКП с политической арены наверняка обернется для страны новыми великими потрясениями, ибо стабильность в обществе сегодня достижима только на основе равновесия, а не новой монополии на власть. Но опасность в том, что не две, как кажется многим, а три главные политические силы сложно противоборствуют ныне: цекисты, коммунисты, демократы. И если умеренная часть демократов,— а их в «Демократической России» немало,— несомненно согласилась бы на многопартийной основе делить власть с коммунистами, то цекисты — никогда! Для цекистов коммунисты — это свидетели измены, и здесь борьба предстоит до конца.

Отсюда и новые великие потрясения.

Сегодня настал такой особо острый момент отечественной истории, что все политические силы действительно выступающие на стороне народа обязаны определить свое отношение к узурпировавшей власть кучке кочевых номенклатурщиков десятилетиями сидевших на шее страны и затеявших так называемую перестройку для того, чтобы, списав прежние долги, перебраться со Старой площади в Кремль и снова погонять измученный народ.

Кто за народ — тот против цекистов!

В сегодняшней многосложной и многовариантной расстановке политических сил хорошо просматривается роль главного цекиста Яковлева, закулисно стоявшего за многими социальными и национальными раздорами последних лет. Но не менее важно определить и миссию самого Горбачева.

На исторической сцене он выступает в двух ипостасях — Президента СССР и Генерального секретаря ЦК КПСС. Это совмещение необходимо не только для того, чтобы надежнее удерживать контроль цекистов над коммунистами, о чем уже шла речь. Оно еще и в высшей степени удобно для достижения собственных целей. По сути дела, в современных условиях, когда ломается символ веры, когда противоборствуют три политические силы, такое совмещение является классическим, еще две тысячи лет назад хорошо апробированным способом принятия обманных решений.

Это особенно отчетливо проявляется и в вопросе о переходе к рынку.

Фактически Горбачев важнейшие решения принимает в узком кругу преданных ему кремлевских цекистов, не советуясь ни с коммунистами, ни с демократами. Но когда Президента упрекают в откате, он кивает на Генерального секретаря, которому коммунисты не позволяют порвать с принципами социализма. Когда же Генерального секретаря критикуют за крах экономики, он кивает на Президента, который обязан уступать нажиму демократов. В итоге виноваты и коммунисты и демократы, и правые и левые, и консерваторы и радикалы, но только не Горбачев и его цекисты.

Нетрудно догадаться, какой образ мировой истории воссоздает эта ситуация,— образ Понтия Пилата, отправившего Христа на распятие. И трагедия наших дней заключается в том, что пока Президент кивает на Генсека, а Генсек на Президента, великая страна мучительно тащит свой тяжкий крест на Голгофу.

Март 1991 г.

* * *

Последние события, связанные с избранием Ельцина Президентом России, отчетливо подтвердили существование особой политической группы цекистских номенклатурщиков, перекочевавших со Старой площади в Кремль и стремящихся любой ценой удержаться у власти. Над этой группой вновь сгустились тучи: в Кремле уже разместилась официальная резиденция Президента России, а это значит, что в скором времени сюда переберутся многие демократы из «Белого дома». Связка «Горбачев — Ельцин» все явственнее трансформируется в связку «Ельцин — Горбачев».

В этих условиях цекистская номенклатура начала готовиться к новому кочевью — на сей раз в политической сфере. Проявлением этого стал «манифест девяти» о Движении демократических реформ, «крестным отцом» которого назван Яковлев. Ни для кого не секрет, что под покровом Движения пытаются достичь прежних целей — ликвидации, раскола или перерождения КПСС. Однако пока остается по-настоящему нераспознанной главная, подспудная, глубоко коварная идея, лежащая в основе Движения. Она состоит в том, чтобы «перехватить» и возглавить демократическое крыло, оттеснив на второй план политиков-разночинцев. Старые партийные бонзы, бывшие лидеры ЦК КПСС Яковлев, Шеварднадзе (а вслед за ними нынешний генсек и его ближайшее окружение) вновь хотят остаться у власти. Удивительно, что этот тайный умысел не раскусили Попов и Собчак, хотя Травкин с его бывшим пролетарским чутьем сразу заподозрил неладное.

Удастся ли бывшим лидерам КПСС обмануть новых политиков-разночинцев и перекочевать из цекистской верхушки в «отцы-основатели» демократического движения? Сумеют ли демократы распознать в Движении «горбачевский десант», высаживаемый на их берег?..

От этого будут зависеть не только судьбы тех или иных политиков, но и будущее страны.

Летопись России: история в лицах

ЛЕВ ГУМИЛЁВ

Князь Святослав Игоревич

7. ЗАРЯ СЛАВЯНСКОГО ЗАПАДНИЧЕСТВА

Славянская этническая целостность, образовавшаяся в эпоху Великого переселения народов, до IX в. развивалась почти беспрепятственно. Германцы ушли на запад, Византия горела внутренним огнем борьбы различных исповеданий, Арабский халифат был далеко. Досаждали только авары, но их успехи были парализованы славянами державы Само. Большой урон принесли западным славянам венгры, но они, как и авары, стали ба́рьером, отделявшим славянские земли от Западной Европы.

До середины X в. Западная Европа не представляла опасности для восточных соседей, но, объединенная саксонской династией, Германия сделалась мощной и растущей державой. Немецкая агрессия была не только военной, монахи-миссионеры были не менее активны, чем рыцари, а объектом притязаний тех и других оказалась Восточная Европа. Славянские язычники на Эльбе и в Поморье оказывали немцам энергичное сопротивление, часто переходя в контрнаступление, но их восточные соседи на Висле поддались обаянию западной культуры и после 965 г. обратились в католичество. А это означало вассальную зависимость от императора «Священной Римской империи германской нации»[1]. Так началось славянское западничество.

Ни славянская, ни скандинавская мифологии, несмотри на всю поэтичность, не могли устоять перед силой и убежденностью католических миссионеров. В IX в. произошла христианизация Дании и Южной Швеции, затем в X в. в Скандинавии произошла языческая реакция, и наконец в начале XI в. при Кнуде Великом католичество восторжествовало в Норвегии. Тогда оформился средневековый «христианский мир» — суперэтнос, находившийся в фазе подъема.

Именно потому, что христианство побеждало в Скандинавии так медленно и мучительно, Швеция и Норвегия стали рассадниками воинствующего язычества, неуклонно выживаемого со своей родины. Варяги стремились наверстать на чужбине потерянное дома.

Соперником Запада в борьбе за души славян была Византия, находившаяся в инерционной фазе этногенеза. Богатая, образованная Византия пленила воображение венгерских вождей, принимавших крещение в Константинополе, и русской княгини Ольги. Эта крестница Константина Багрянородного решила сравнить западное и восточное исповедания. Для этой цели она в 959 г. обратилась к королю Германии Оттону I с просьбой прислать епископа и священников. Немцы были польщены: ведь их пригласила сама королева ругов (Helena regina rugorum). В 961 г. в Киев прибыл епископ Адальберт со свитой, а уже в 962 г. уехал назад, «не успев ни в чем. На обратном пути некоторые из его спутников были убиты, сам же он с трудом спасся»[2]. Чем же досадил Адальберт древним русам? А ведь досадил он настолько, что русы бросились в православие, лишь бы не принимать католичества. Почему-то на Руси возник протест против западничества. В этом мы попытаемся разобраться.

Так как сведения о X в. скудны, то нет возможности дать исчерпывающий историко-культурный синхронический срез по 961 году. Но если мы возьмем имеющиеся сведения в сумме, то получим искомый ответ.

Окончание. Начало в № 7 за 1991 год (печатается в сокращении).

[1] Официальное название империи, основанной Карлом Великим в 800 г., — Sancta Imperia Romana Hermanorum.

[2] Цит. по: Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X—XII вв. СПб., 1913, с. 12—13.

В IX в. каролингские императоры получали средства для своей жесткой политики от иудеев-рахдонитов, покупавших у них покровительство. В 828 г. Людовик Благочестивый дал еврейским купцам охранную грамоту, защитившую их корабли от его собственных чиновников[3]. А перевозили эти корабли славянских невольников, часто христиан. Тщетно Агобард, епископ лионский, жаловался, что евреи продают в Испанию (мусульманам) христианских рабов, причем правители не чинят им препятствий[4]. Более того, запрещалось крестить рабов, находившихся у евреев, чтобы помешать их освобождению при помощи влиятельных церковников. Это понятно: евреи платили $^{1}/_{10}$ прибыли в пользу двора, а христиане — $^{1}/_{11}$. Чего было немцам болеть за славян?!

В державе франков с победой христианства рабство исчезло и слово «servus» стало означать крепостного, который мог быть продан только со своим земельным участком. Зато славянские земли в IX—X вв. стали для евреев источником рабов, подобно Африке XVII—XIX вв. Каролингское правительство по мере ослабления своих сил в борьбе с феодалами расширяло права евреев. В баварско-славянской таможне в Пассау в 906 г. еврейские работорговцы были уравнены в правах с христианскими купцами. Славянские юноши и девушки отправлялись отсюда через Верден, Лион и Нарбонну в Испанию к арабам, на пополнение гаремов и обслуги[5]. Многие из этих несчастных были уже крещены, но епископы могли только выкупать их, и, например, епископ св. Адальберт жаловался, что не имеет столько денег, чтобы выкупить рабов хотя бы только у одного еврейского купца[6].

Ту же экономическую политику проводил Оттон I[7], вследствие чего те славянские страны, в которых торжествовало католичество, немедленно входили в общую западноевропейскую экономическую систему. Не успел еще польский король Мешко (960—992) утвердить в своем королевстве латинскую веру, как евреи уже завели там торговлю солью, пшеницей, мехами и венгерским вином[8]. Простодушные поляки гостеприимно встречали иноземцев, ибо кошмар хазарской системы их не коснулся и они не представляли последствий своего радушия. Но киевляне, успевшие понять что к чему, категорически отказались повторять хазарский эксперимент. Поэтому их внимание повернулось к Константинополю.

Греки умели торговать не хуже евреев, но торговали иначе. Славянские юноши были им нужны не как рабы, а как воины, которых было удобнее нанимать, нежели покупать. А посредничество еврейских купцов в X в. им было вовсе не нужно, потому что с Востоком Византия граничила непосредственно. Западной окраиной Византии в X в. была Венеция. Под нажимом Константинопольского синклита в 992 г. венецианским купцам, получившим ряд торговых привилегий, было запрещено не только брать на свои корабли евреев, но даже ввозить еврейские товары и декларировать их как собственные[9]. Это был финал вековой борьбы греков с евреями за экономическое преобладание на Средиземном море. Евреям остались только Западная Европа и Фатимидский Египет, потому что торжество берберов и туарегов в Африке и Испании и турок-сельджуков в Передней Азии отрицательно отозвалось на еврейской торговле. Воинственные степняки не нуждались в роскоши и не уважали финансовые операции, которые просто не понимали. Точно так же вели себя восточные славяне, знавшие, что политические щупальца Византии до них не дотянутся. Зато обаятельна и доступна была ее культура.

Но не Запад, а Север был наиболее мощным противником византийского православия. Не славяно-россы, а норманны возглавляли борьбу против нового мировоззрения и сплачивали вокруг себя противников Ольги. Во главе этих принципиальных язычников стоял наследник престола и победитель хазар Святослав. Что оставалось делать Ольге?

Самое простое — уйти в частную жизнь, передав сыну полноту власти[10]. Но почему-то случилось обратное: сын ходил на врагов в далекие страны, а мать возглавляла правительство и воспитывала внуков, которые почти не видели своего отца.

Вот это-то и примечательно. Князь и языческая дружина все время находятся в походах, языческий народ платит дань, а христианская община Киева вершит дела страны. И поскольку политические силы равны, те и другие уживаются друг с другом. Вот на таком грозном фоне развернулись события, в которых решающую роль сыграл крошечный народ — печенеги, появившийся в причерноморских степях только в 889 г., т. е. тогда, когда очередная засуха, связанная с переносом циклонов на север, превратила степи вокруг Арала и низовий Сырдарьи в пустыню[11].

На запад переселились не все печенеги, а только наиболее пассионарная часть их. Прочие остались на берегах озера Челкар и занимались овцеводством. Это были

[3] См.: Шиппер И. Возникновение капитализма у евреев Западной Европы (До конца XII века). СПб., 1910, с. 22.

[4] Agobardus. De insolentia Iudaeorum (цит. по: Шиппер И. Указ. соч., с. 22).

[5] См.: Шиппер И. Указ. соч., с. 26.

[6] См. там же.

[7] Архив Маркса и Энгельса, т. V, с. 65.

[8] См.: Шиппер И. Указ. соч., с. 26.

[9] Там же, с. 27.

[10] М. Д. Приселков (указ. соч., с. 14) считает, что так и было. Детальный анализ событий показывает, что было наоборот.

[11] См.: Гумилев Л. Н. Истоки ритма кочевой культуры Срединной Азии, с. 85—94

«бедные печенеги»[12], которых хазарские властители ловили, обращали в рабство и продавали в страны ислама. Зато те, которые ушли на запад, к Днепру и Дунаю, сумели поставить себя так, что внушили соседям уважение.

8. РАЗДЕЛ ХАЗАРИИ

Грандиозная победа Святослава спасла Киев и Русскую землю, но положение победителей было отнюдь не спокойным. Все днепровское левобережье было враждебно киевскому правительству. Северская земля начиная с VIII в. была связана с Хазарией. В 965 г. Святослав шел на Итиль в обход Северской земли, через страну тоже недружелюбных, но менее опасных вятичей. Со времени поворота политики Ольги к ориентации на Византию название Чернигова исчезает со страниц русских летописей, что указывает на утрату его Киевским каганатом. Несколькими годами позже северяне пропустили левобережных печенегов под Киев[13]. Короче говоря, богатая и воинственная Северская земля была независима от Киева.

Отпали радимичи, удержали независимость вятичи, был активно враждебен князь Рогволод в Полоцке[14]. Верность Киеву блюли только Новгород, Смоленск[15], древлянские земли и покоренные тиверцы и уличи; но земли этих последних по Бугу и Днестру перемежались кочевьями правобережных печенегов, заселивших водораздельные степи.

На западе границы были менее определенны, но только в конце X — начале XI в. киевские князья вышли на линию Западного Буга[16].

Территория бывших полян отошла к ляхам и стала ядром складывающейся Польши. Воссоединению ляхов с русами как двух ветвей восточного славинства воспрепятствовала политическая коллизия середины X в.

Удар Святослава по иудейской общине Хазарии был жестоким, но не окончательным. Возвращаясь с Нижней Волги через Саркел, он миновал Кубань и Крым, где остались хазарские крепости, контролировавшие торговлю с Византией, за счет которой поступали доходы для содержания небольшого государства, центром которого была в 966—986 гг. Тьмутаракань.

Согласно информации, достигшей арабских авторов, война на Северном Кавказе продолжалась еще в 968—969 гг. Ибн-Хаукаль видел в Гургане беженцев из Хазарии, поведавших ему о разрушениях в Итиле и Семендере, после чего русы ушли «в Рум и Андалус»[17]. Ушедшие в Рум, т. е. Византию, видимо, присоединились к войску Святослава в Болгарии и Фракии, а зачем другая группа русов уехала в Испанию?

Рискну предположить, что какая-то часть русов была недовольна киевским правительством и эмигрировала по известному им пути в Испанию. Еще в 844 г. русы высадили десант в Андалузии и разграбили окрестности Севильи, оставив у арабов дурную память. Поэтому в июне 971 г. Ибн-ал-Идари написал: «Зашевелились проклятые ал-Маджус ал-Урдмани и устремились к западным берегам ал-Андалус»[18]. Русы на сей раз не рискнули повторять набег и высадились в Галисии в 968 г., где разграбили Сантьяго, убили епископа и только в 971 г. были прогнаны графом Гонзало Санчесом[19]. С тех пор о них не было слышно. Русь потеряла много храбрых воинов, но не ослабела, а укрепилась, потому что потенциальные мятежники любому войску вредны.

Киевская держава стала менее мозаична, хотя до монолитности было далеко. Однако в 967 г.[20] небольшая рать Святослава, усиленная конницей из венгров и печенегов, побеждает болгар, в другие войска, будто бы вызванные из Болгарии, завершают завоевание Северного Кавказа.

Возникает вопрос: кто же побеждал противников Руси на Нижней Волге и на Тереке, если Святослав воевал на Дунае? — Те самые тюркские степняки, которые были в 967—968 гг. друзьями Руси. Ибн-Хаукаль пишет, что в войне русов с хазарами печенеги были «острие» и союзники русов[21]. А так как от Константина Багрянородного известно, что Византия использовала печенегов против всех своих соперников, то, видимо, их руками была завершена «война за хазарское наследство». И это логично, потому что печенеги поживились добычей, а греки избавились от соперничества иудеев. Поэтому нет никакой необходимости предполагать наличие двух походов славяно-россов на Хазарию[22] и повторное уничтожение виноградников Семендера.

Конечно, далеко не все подробности этой войны описаны достаточно исчерпывающе.

[12] Разбор сведений о печенегах см.: Артамонов М. И. История хазар. с. 350-352.
[13] См.: Шевченко Ю. Ю. Указ. соч., с. 51.
[14] См.: Алексеев Л. В. Полоцкая земля//Древнерусские княжества X—XIII вв, с. 218.
[15] См.: Седов В. В. Смоленская земля//Там же, с. 249.
[16] См.: Толочко П. П. Киевская земля//Там же, с. 10.
[17] См.: Пашуто В. Т. Указ. соч., с. 95.
[18] Там же, с. 140.
[19] См.: Мюллер А. История ислама, т. IV, СПб., 1898; с. 109; Вебер Г. Всеобщая история, т. VI, М., 1893, с. 500.
[20] Летопись под 6475 (967) г. (см.: Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества. М., 1982, с. 378; критика текста и интерпретация даты: с. 380).
[21] См.: Минорский В. Ф. Куда ездили древние русы? // Восточные источники по истории народов Восточной Европы (под ред. А. С. Тверетиновой). М., 1964, с. 26.
[22] См.: Мошин В. Русь и Хазария при Святославе // Seminarium Kondakowianum, т. VI, Praha, p. 193-195. Пашуто В. Т. Указ. соч., с. 95 (параграф написан А. П. Новосельцевым); Калинина Т. М. Сведения Ибн-Хаукали о походах Руси времени Святослава // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1975. М.: 1976, с. 92—98. Критику изложенной точки зрения см.: Сахаров А. Н. Дипломатия Святослава, с. 45—48.

Тем не менее ясно, что иудейская власть в Хазарии была уничтожена, что хазары-язычники приняли ислам и что русы не сделали никаких территориальных приобретений ни в Поволжье, ни на берегах Каспийского моря. На западном берегу Каспия усилился эмир Дербента, а на восточном, вплоть до устья Волги,— эмир Хорезма. Иудаизм на Волге исчез без следа, уступив место исламу.

9. ДЕМОНЫ ИЛИ БОГИ

Синхронность этногенезов Ближнего Востока и Восточной Европы в I—IV вв., очевидно, стала причиной некоторого параллелизма в явлениях духовной жизни новорожденных этносов. В восточной части Римской империи в III в. соперничали две религии: христианство и митраизм, обе равно далекие от первоначального эллинского культа богов Олимпа. Митраизм потерял позиции ведущего мировоззрения только с гибелью Юлиана Отступника. Победу одержало арианское исповедание христианства. Это и будет отправной точкой дальнейшего повествования.

История Восточной Европы известна значительно хуже, но аналогичная ситуация наблюдается и там. Готы, воевавшие весь III в. с иллирийскими императорами-митраистами, приняли в 360 г. арианское исповедание христианства, господствовавшее тогда в Римской империи. Видимо, арианство бытовало в Восточной Европе до X в., потому что в тексте Начальной летописи Символ веры содержит арианский догмат подобосущия, а не единосущия. Пусть даже это реликт, но наличие его говорит о том, что с IV в. в Поднепровье жили христиане.

Никейское исповедание было распространено среди прибрежных готов (тетракситов), алан, горцев Дагестана и западных хазар. К X в. христианство было для народов Западной Евразии не новшеством, а одной из привычных форм мировоззрения. Но среди славян, обитавших рядом с фрако-иллирийцами, наблюдается мировоззрение, столь же далекое от эллинского или скандинавского политеизма, как и от христианства,— один из вариантов древнего митраизма.

Не имея нужды вдаваться в подробности языческого культа славян, что увело бы нас в сторону от темы, отметим, что славяне имели две категории божеств. Одни божества олицетворяли природу, вторые — души предков. Первые были благостны, вторые — ужасны и зловредны; их называли русалками, но впоследствии это слово было вытеснено тюркским названием «убур», или упырь. Однако эти категории божеств не боролись друг с другом; они как бы существовали параллельно[23]. Боролись другие: Белбог и Чернобог, в которых нетрудно увидеть аналогов тибетских божеств религии бон — восточного варианта митраизма. Бог Белый Свет и демон Длинные Руки — антагонисты на фоне персонифицированного космоса[24]. Считать эту митраистскую модель мира за древнюю, исходную форму мировоззрения нет оснований. Митраизм был такой же прозелитической религией, как христианство, ислам и буддизм, и мог прийти к славянам путем проповеди. Это видно из того, что наряду с описанным пантеоном еще в XII в. бытовал культ Рода, Рожаниц, Щура, хотя представление об их роли уже тогда почти стерлось[25].

Итак, после пассионарного толчка I в. эволюция мировоззрений шла одинаково, но приводила к разным результатам. В Риме христианство одолело митраизм, у славян митраизм восторжествовал, и христианство ютилось по окраинам ареала, но в жестокий период надлома в IX в. начало снова распространяться в Восточной Европе, хотя и не сразу, ибо у него появился новый враг — Перкунас, или Перун[26].

Древние христиане привыкли иметь дело с языческими богами, которые с появлением Христовой проповеди превратились в злых и коварных демонов. Так, весьма почитаемый эллинами Аполлон в Апокалипсисе выступает как «дух бездны», аналог еврейского Абаддона (Апокалипсис IX, 11). Поэтому, столкнувшись с Перуном, христиане быстро определили его место в космосе. Как в Египте в конце IV в. был уничтожен Серапис, а в Элладе — Зевс Олимпийский, так надлежало покончить с их северным аналогом — Перуном, требовавшим к тому же кровавых жертв, желательно людей.

При этом нельзя забывать, что языческие боги не считались надмировыми существами, т. е. не были аналогичны христианской Троице, мусульманскому Аллаху и даже древнеперсидскому Ормузду. Нет, считалось, что это живые организмы, но более могущественные, нежели люди, иначе устроенные, но соизмеримые с другими организмами, населяющими Землю. Они просто на порядок совершеннее людей, как люди совершеннее муравьев. Эта концепция была принята христианством уже в конце II в., причем к числу существ этого порядка был причислен Сатана.

Трудно было не заметить, что взаимоотношения Бога и Сатаны в Ветхом и Но-

[23] См.: Рыбаков Б. А. Киевская Русь // История СССР с древнейших времен до наших дней, т. 1, с. 502—503.
[24] См.: Гумилев Л. Н., Кузнецов Б. И., Бон // Доклады ВГО, вып. 15, Л., 1970, с. 72—90; Гумилев Л. Н. История открытия искусством // Старобурятская живопись. М. 1975, с. 19—24.
[25] См.: Комарович В. Л. Культ Рода и Земли в княжеской среде XI—XIII вв. // ТОДРЛ, т. XVI, М.; Л. 1960, с. 94—104.
[26] См.: Аничков Е. В. Язычество и древняя Русь. СПб., 1913, с. 319; Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981, с. 19—20.

вом заветах противоположны[27]. Но ветхозаветная концепция была ближе к обывательским воззрениям поздней античности и потому была принята за основу с добавлением апокрифа «Откровение Еноха», датируемого 165 г. до н. э. и содержащего учение о дьяволе как ангеле, восставшем и низвергнутом с небес. Эта отнюдь не христианская концепция была принята без критики, так как в ней осуждалось непослушание Закону, которое евреи считают главным грехом.

Перун как славянский бог грома и молнии, несмотря на свое балтийское имя (Перкунас), стал известен в VI в.[28], но вел себя поначалу тихо, подобно своему германскому аналогу Донару (Тору), который специализировался на кузнечном деле и управлении хозяйством. Войной у древних германцев заведовали Вотан (в Скандинавии — Один) и Тиу, второй сын Вотана[29]. Они не были аналогами Перуна.

Но как только пассионарный толчок прошел через Скандинавию, а генетический дрейф перенес неудержимость и жажду славы на южный берег Балтийского моря, образ древнего божества изменился. В IX в. Перун стал жестоким, кровожадным и воинственным. Его западный аналог Святовит на острове Руге (Рюген) требовал себе в жертву крови датских и немецких пленников. Восточный Перун стал поступать так же. И даже больше: при нехватке пленных он принимал кровь своих, отобранных по жребию[30].

Для южных славян, привыкших к митраистским мистериям и христианским обедням, эти нравы казались чудовищными, а северные князья и варяги теряли популярность в столице, где их богов называли бесами[31]. Коллизия Римской империи IV в. повторилась с не меньшей остротой на Руси X в. и имела аналогичный результат — торжество христианства.

Итак, в освобожденной Святославом Руси единства не было. Война, бескровная или кровавая, шла не столько на границах, сколько в стольном городе и даже над ним — в небесах. О последней мы можем судить только по ее земным проявлениям, но и этого немало. На души киевских славяно-россов посягали и жрецы Перуна, и латинские прелаты, и греческие монахи. Было не исключено появление мусульманских мулл, хотя до этого дело не дошло. Но представителей антисистем не было и в помине, хотя печальный и алчущий дух, Сатана, бродил по опаленным солнцем холмам Лангедока, по цветущим полям Ломбардии, по пескам Сахары и Аравии, по горным теснинам Ирана и Памира, а на Востоке он даже посетил Ордос, назвавшись «бесконечным светом»[32]. Но ни на Руси, ни в Сибири в X в. он не появлялся. Это была прямая заслуга князя Святослава Игоревича.

Однако этот князь, одержав блистательную победу, не дал своему народу положительной программы. А программы тут же предлагали представители соперничавших религий. Впрочем, в этой пропаганде таилась некая трудность.

Выбор веры не влек за собой материальных выгод, которые добывались другими путями. Он был делом совести, а на уровне этноса совесть — это индикатор этнической совместимости. Выбирают в друзья тех, кто симпатичен, а о делах можно дотолковаться и без интимности.

Поэтому вместе с активной торговлей между Киевом и Константинополем, безопасность которой обеспечивал политический союз обеих держав, не было повода для конфессиональной нетерпимости, а тем более религиозных гонений. Эта терпимость славяно-россов базировалась на широко распространенной в те времена концепции генотеизма, согласно которой каждый народ (этнос) чтит своего бога и не допускает к культу посторонних. Шокировать язычников могло лишь стремление прозелитических религий к расширению. Ольге приходилось скрывать свое крещение, но тем не менее число христиан в Киеве росло, особенно после победы над Хазарией.

Разумеется, христианами становились не инертные, а пассионарные киевляне, потому они охотно пополняли войско Святослава, вплоть до того, что в нем открыто служили обедни православные священники. Князя это не особенно волновало, потому что византийские греки пока еще были его друзьями. Жертвой греко-русского союза должна была стать ослабевшая Болгария, бывшая в течение 300 лет соперницей Византии.

10. РАССТАНОВКА СИЛ

Высказывалось мнение, что Святославу было бы выгодно принять ислам, чтобы удержать прикаспийские области. Вряд ли это верно. Опираться можно только на сильного союзника, а в 60-х годах X в. багдадский халиф утерял все позиции

[27] Ср.: «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и Сатана»... (Иов 1.6), и дальше следует их беседа, после которой совершается эксперимент над Иовом. А Иисус Христос в аналогичной ситуации сказал: «...отыди от Меня, Сатана» (Мф. 4.10). Дьявол ушел! Куда? Видимо, «во тьму внешнюю» (Мф. 8,12), которую физики XX в. называют вакуумом. Туда же, по слову Иисуса Христа, будут извержены «сыны царства» (там же). Какого? Надо полагать, иудейского царства Хасмонеев, т. е. носители традиции.

[28] См.: ПВЛ, ч. II, с. 321—325.

[29] Вебер Г. Указ. соч. т. IV, с. 136—137.

[30] См.: ПВЛ, ч. I, с. 58—59 (под 983 г.).

[31] Следует помнить, что «язычество» (буквально — племенные культы) не есть нечто целое. Эти культуры разнятся между собою не меньше, а часто больше, чем монотеистические мировые религии, почему и правомочен древний вопрос: «Какому богу веруешь?», после чего идет второй вопрос: «Как веруешь?» — ортодоксально или еретически?

[32] См.: Гумилев Л. Н. Старобурятская живопись. М., 1975, с. 40—43.

внутри своей страны вследствие отпадения провинций и роста шиитских движений, черпавших силы в областном сепаратизме Ирана, Африки и даже самой Аравии, захваченной карматами. Надежных друзей нельзя было обрести на Востоке. Не было их и на Западе. Венгры потерпели сокрушительное поражение от немцев при Лехе в 955 г. Болгария после смерти царя Симеона ослабела, так как ее грызла неистребимая антисистема богумильства. Дружба с немецким королем и германским императором Оттоном не сулила никаких благ, что наглядно показал пример западных славян, а Швецию потрясало кровавое обращение в католичество, чему шведы сопротивлялись как могли.

Но и героическая Русь, окруженная со всех сторон врагами, очень нуждалась в надежном союзнике. Ведь победа над рахдонитами не была окончательной, далась благодаря удачному стечению обстоятельств и показывала не силу Земли Русской, а мужество и талант носителей русского оружия. У иудеев-рахдонитов оставались шансы на реванш. В Киеве не могли не знать об этом. Поскольку русам не на что было покупать друзей, им оставалось искать таких, которые были бы искренни и заинтересованы во взаимности. Поэтому княгиня Ольга отправляла русских витязей к грекам. И там они, сражаясь рука об руку, вернули Византии Крит, чем положили конец арабо-берберскому пиратству на Эгейском море. Союз был выгоден самим русам.

В 60-х годах X в. самой сильной державой была Византия. Население ее составляло из 20—24 млн.[33] храбрых жителей, организованных на основе многовековой традиции и управляемых из одного центра — Константинопольского синклита. Однако обилие врагов лишало Византию возможности взять инициативу: все время надо было обороняться или возвращать утраты. На востоке Византия вернула Малую Азию, Северную Месопотамию, Сирию, Крит и Кипр; на севере отразила натиск болгар; на западе, утратив Сицилию, удержала Южную Италию, где столкнулась с германским императором Оттоном I, притязания которого не имели успеха. Понятно, что в столь напряженной ситуации для активной политики в Причерноморье сил не хватало. Тут все решала не армия, а дипломатия и отчасти этнический контакт.

Херсонес был город богатый и вольнолюбивый. Жители его по прибытии печенегов в западноевропейскую степь наладили с ними добрые отношения. Они давали печенегам пурпур, деликатесы, редкие сукна, перец, шкуры барсов и другие предметы роскоши, а печенеги оказывали херсонитам разные услуги, вполне окупавшие расходы на подарки: «Когда император ромеев находится в союзе с печенегами, то ни россы, ни турки (венгры. — Л. Г.) не могут идти войной на Ромейскую державу, не могут также требовать за сохранение мира больших и чрезмерных денег... опасаясь, что если они (греки. — Л. Г.) пойдут войной на ромеев, то... печенеги, будучи связаны с императором дружбой и повинуясь его посланиям и подаркам, могут легко напасть на землю россов и турок, поработить их жен и детей и опустошить их страну». То же относится к болгарам, которые «употребляют много усилий и труда, чтобы быть в мире и согласии с печенегами»[34]. Но зато жившие на Яике гузы «могут воевать печенегов»[35].

Печенеги сами избегали войн с соседями, особенно с россами, потому что предпочитали продавать им скот[36]. Но стремление сохранить дружбу с греками заставляло их искать контактов с православными, а не с языческими россами, друзьями норманнов. Так было достигнуто равновесие сил, обеспечившее несколько лет мира, который повлек за собой жестокую войну. Однако причина этой войны находилась не на северном, а на южном берегу Черного моря.

Никифор II Фока достиг власти путем переворота. Его поддержала вдовствующая императрица — красавица Феофано, искавшая второго мужа, синклит и простонародье Константинополя. Но вскоре император стал терять популярность, так как он стремился отстоять границы империи, а это стоило денег. Регулярно выплачивая жалованье воинам, Никифор сократил другие расходы: урезал жалованье высшим чиновникам, увеличил повинности крестьян, покровительствовал нищему афонскому духовенству за счет богатых монастырей и епископов. Цена на хлеб в столице возросла в 8 раз. Недовольство населения росло, а это самая удобная пора для честолюбцев, недостатка в которых в Византийской империи не ощущалось.

Казалось бы, режим, опирающийся на армию, точнее, на ее лучшую часть — тяжеловооруженную конницу, неколебим. Армии можно противопоставить только другую армию, и это сумел сделать некто «хитрый и дерзкий Калокир, сын начальника херсонского гарнизона»[37].

11. ЧТО МОГ НАТВОРИТЬ ОДИН ЧЕЛОВЕК

Установленная княгиней Ольгой дружба Киева с Константинополем была полез-

[33] Литаврин Г. Г. Византийское общество и государство в X—XI вв. М., 1977, с. 180—161. Для сравнения привожу демографические данные по 1000 г. (см.: Урланис Б. Ц. Рост населения в Европе. М., 1941): Франции — 9 млн. (с. 37); Италия — 5 млн.; Сицилия — 2 млн. (с. 64—65); Киевская Русь — 5,36 млн. (с. 89; в 970 г. было меньше половины этого); Польша, Литва, вятичи — 1,8 млн. (с. 89); Степь, от Дона до Карпат,— 0.48 млн. (с. 89); Англии в 1086 г. — 1,7 млн. (с. 52).

[34] Константин Багрянородный. «О фемах» и «О народах», с. 67—68.

[35] Там же, с. 75.

[36] Там же, с. 66.

[37] Лев Диакон. Кн. IV, с. 61—63; цит. по: Чертков А. Описание войны великого князя Святослава Игоревича против болгар и греков. М., 1843.

на для обеих сторон. Еще в 949 г. 600 русских воинов участвовали в десанте на Крит, а в 962 г. русы сражались в греческих войсках в Сирии против арабов. Там с ними сдружился Калокир, служивший в войсках своей страны; и там же он выучил русский язык у своих боевых товарищей[38].

Жители Херсонеса издавна славились свободолюбием, что выражалось в вечных ссорах с начальством. Ругать константинопольское правительство было у них признаком хорошего тона и, пожалуй, вошло в стереотип поведения. Но ни Херсонес не мог жить без метрополии, ни Константинополь — без своего крымского форпоста, откуда в столицу везли зерно, вяленую рыбу, мед, воск и другие колониальные товары. Жители обоих городов привыкли друг к другу и на мелочи внимания не обращали. Поэтому, когда Никифору Фоке понадобился толковый дипломат со знанием русского языка, он дал Калокиру достоинство патриция и отправил его в Киев.

Эта надобность возникла из-за того, что в 966 г. Никифор Фока решил перестать платить дань болгарам, которую Византия обязалась выплачивать по договору 927 г., и вместо этого потребовал, чтобы болгары не пропускали венгров через Дунай грабить провинции империи. Болгарский царь Петр возразил, что с венграми он заключил мир и не может его нарушить. Никифор счел это вызовом и отправил Калокира в Киев, дав ему 15 кентинарий золота, чтобы он побудил русов сделать набег на Болгарию и тем принудить ее к уступчивости. В Киеве предложение было как нельзя более кстати. Святослав со своими языческими сподвижниками только что вернулся из похода на вятичей. Вот опять появилась возможность его на время сплавить. Правительство Ольги было в восторге.

Был доволен и князь Святослав, ибо у власти в Киеве находились христиане, отнюдь ему не симпатичные. В походе он чувствовал себя гораздо лучше. Поэтому весной 968 г. русские ладьи приплыли в устья Дуная и разбили не ожидавших нападения болгар. Русских воинов было немного — около 8—10 тыс.[39], но им на помощь пришла печенежская конница. В августе того же года русы разбили болгар около Доростола. Царь Петр умер, и Святослав оккупировал Болгарию вплоть до Филиппополя. Это совершилось при полном одобрении греков, торговавших с Русью. Еще в июле 968 г. русские корабли стояли в гавани Константинополя.

За зиму 968/969 г. все изменилось. Калокир уговорил Святослава, поселившегося в Переяславце, или Малой Преславе, на берегу р. Враны[40], посадить его на престол Византии. Шансы для этого были: Никифора Фоку не любили, русы были храбры, а главные силы регулярной армии находились далеко, в Сирии, и были связаны напряженной войной с арабами. Ведь сумели же болгары в 705 г. ввести во Влахернский дворец безносого Юстиниана II в менее благоприятной ситуации! Так почему же не рискнуть?[41].

А Святослав думал о бессмысленности возвращения в Киев, где его христианские недруги в лучшем случае отправили бы его еще куда-нибудь. Болгария примыкала к Русской земле — территории уличей. Присоединение к Руси Восточной Болгарии, выходившей к Черному морю, давало языческому князю территорию, где он мог быть независим от своей матери и ее советников.

Теперь взвесим перспективы всех участников надвигающейся трагедии. Святослав представляется в этой коллизии отнюдь не викингом-головорезом, а трезвым и предусмотрительным политиком, решившим перенести столицу в удобное для себя место. То же самое произвел 730 лет спустя Петр I с бо́льшим успехом, но и с бо́льшими затратами пота и крови.

Экономические возможности района были тщательно взвешены: из Фракии легко было привезти материи, золотые украшения, фрукты и вино, из Чехии — серебро, из Венгрии — коней, из Руси — меха, мед и рабов. Короче, было чем кормить дружину. Разумеется, столкновение с Византией не входило в планы русского князя, но ведь он и не покушался на греческие земли; он занял только кусок Болгарии, врага Византии. Конечно, надо было предвидеть, что Никифор Фока не примирится с захватом русов, но для этого у Святослава был Калокир, который, если бы он сел на престол, отблагодарил бы киевского князя. И совесть Калокира была чиста, так как благодаря ему Византия вернула бы себе земли, отторгнутые у нее болгарами в VII в., избавилась бы от жестокого Фоки и упрочила дружбу с Русью. Пострадать при осуществлении этого замысла должны были император, болгарские царевичи Борис и Роман Петровичи и православная партия в Киеве.

Никифор Фока тоже не дремал. Он получил информацию о заговоре и немедля принял меры. Осенью 968 г. на стенах Константинополя были установлены машины для метания стрел, а вход в гавань перегорожен цепью. Греческие послы предложили болгарским царевнам брачный союз с сыновьями покойного императора Романа Василием и Константином, а попутно произвели военную разведку и обещали болгарским вельможам помощь для изгнания русов. Далее, поскольку венгры и правобережные печенеги находились в составе войск Святослава, то греческие агенты побудили левобережных печенегов произвести набег на Киев. И все

[38] См: Чертков А. Указ. соч., с. 155.

[39] См.: Чертков А. Указ. соч., с. 169—170; ПВЛ, ч. I, с. 50.

[40] В Болгарии было две Преславы: одна — Мегалополис — на берегу Дуная, вторая, малая. — Марцианополь — основана Траяном и названа в честь его сестры Марцианы.

[41] Кедрен и Зонара пишут. «Калокир, виновник этой войны...»; цит. по: Чертков А. Указ. соч., с. 71.

эти предприятия, не нужные ни грекам, ни русам, ни болгарам, стали неизбежными из-за претензий Калокира.

12. ЛАВИНА ПОКАТИЛАСЬ

Весной 969 г. левобережные печенеги осадили Киев. Для Ольги и киевлян это было совершенно неожиданно, ибо повод для нарушения мира был им неизвестен. Киев оказался в отчаянном положении, а войска, которое привел по левому берегу воевода Претич на выручку престарелой княгини, было явно недостаточно для отражения противника. Но когда печенежский вождь вступил с Претичем в переговоры, то выяснилось, что война основана на недоразумении. Партия княгини и не помышляла о войне с Византией, и «отступиша[42] печенъзи от града», а то нельзя было даже напоить коней в речке Лыбеди. После этого благополучного исхода Ольга отозвала сына из Болгарии. Тот, посадив свою рать на коней, вернулся в Киев; за это время печенеги ушли в степь, и «бысть мир»[43].

Однако Святославу в Киеве было неуютно. Нестор приписывает это его неуживчивому характеру, но надо думать, что дело обстояло куда трагичнее. 11 июля скончалась Ольга и была похоронена по православному обряду, причем могила ее не была отмечена, хотя по ней плакали «...людье вси плачемъ великомъ».

Иными словами, Ольга вела себя как тайная христианка, а в Киеве было много и христиан и язычников. Страсти накалялись.

Что делал Святослав после смерти матери, летопись не сообщает, а вернее, умалчивает. Но из последующих событий очевидно, что Святослав не просто покинул Киев, а был вынужден его покинуть и уйти в дунайскую оккупационную армию, которой командовали его верные сподвижники: Сфенкел, Икмор, Свенельд. Имена не славянские и не христианские, следовательно, россомонские. Это указывает на то, какой из этнических компонентов Руси поддерживал языческого князя.

На княжеские столы были посажены внуки Ольги: Ярополк — в Киеве, Олег — в Древлянской земле, а Владимир, сын ключницы Малуши, плененной при покорении древлян,— в Новгороде, потому что туда никто не хотел идти из-за буйного нрава новгородцев. Но для самого Святослава места на родной земле не нашлось. Это не домысел. Если бы Святослав в июле 969 г. собирался бороться с греками, он не стал бы терять темп. Если бы он чувствовал твердую почву под ногами, он вернул бы войско из Болгарии. Но он не сделал ни того, ни другого... и началась серия проигрышей.

Императрица Феофано влюбилась в красавца Иоанна Цимисхия. В ночь с 10 на 11 декабря заговорщики с помощью слуг императрицы проникли во дворец и зверски убили Никифора Фоку; Цимисхий, став императором, сослал Феофано, рискнувшую всем ради него, и непосредственных убийц Никифора, роздал свое огромное состояние окрестным земледельцам и прокаженным, увеселял народ праздниками и сместил с постов приверженцев Фоки. Главный козырь Калокира и Святослава был выбит.

Святослав перебросил во Фракию отряд из союзников — венгров и болгар[44]. Полководец Цимисхия Варда Склир разбил этот отряд у Аркадиополя, после чего венгры ушли домой, а болгары разочаровались в русах. Тем не менее зимой 970/971 г. Святослав направил отряд в Македонию, видимо, для того, чтобы обрести плацдарм для сторонников Калокира. Но таковых не оказалось. Хуже того, подстрекаемые греческими эмиссарами, болгары восстали против русов. Святославу пришлось снова брать Переяславец, где он оставил отряд во главе со Сфенкелом, Калокира и царевича Бориса, а сам в низовьях Дуная укрепил город Доростол, лежавший на границе Болгарии с землей уличей.

Новый план Святослава был вполне реален. Потеряв надежду удержать всю Болгарию и обеспечить победу Калокиру, он решил закрепиться в устье Дуная, на окраине Руси, где он мог бы стать независимым от киевлян. Если бы Болгария восстановилась как самостоятельное царство, отражающее натиск греков, то устье Дуная осталось бы за языческой Русью. Ради этого Святослав вступил в переговоры с Цимисхием, которые он вел в грозном тоне, требуя, как тогда было принято, дани. Но Иоанн Цимисхий был опытный дипломат и первый полководец своего времени. Он усыпил бдительность русского князя переговорами, занявшими всю зиму, а весной 971 г. начал кампанию вполне неожиданно для Святослава. 300 греческих кораблей с огнеметными машинами вошли в Дунай, а сухопутная армия — 15 тыс. пехоты и 13 тыс. всадников — прошла через не охранявшиеся русами теснины в Балканах и осадила Переяславец. На третий день штурма крепость пала. Небольшая часть русов во главе со Сфенкелом пробилась и ушла на соединение с главными силами. С ними ушел и Калокир. Царевич Борис сдался грекам. Цимисхий отпраздновал пасху в завоеванном городе.

После этого вся Болгария восстала против Святослава, которому за неимением

[42] Д. С. Лихачев, указывая на неясность текста летописи, предлагает читать «оступиша» и т. д. (см. ПВЛ, ч. II, с. 314). Но мир был заключен уже Претичем, поэтому правильнее считать, что имелось в виду то положение, которое было во время осады. Тем самым чтение «отступиша» сохраняется.

[43] Все авторы почему-то считают, что Святослав разгромил печенегов, хотя с ними уже был заключен мир. Но в летописи стоит «прогна печенеги в поли». Видимо, одной военной демонстрации было достаточно, чтобы печенеги удалились в недосягаемую для русов степь, благодаря чему был достигнут мир, желанный всем, кроме Калокира.

[44] См.: Чертков А. Указ. соч., с. 217—220.

конницы оставалось только запереться в Доростоле. Греки окружили русов с суши и с Дуная, но русы сражались столь отчаянно, что только атака латной конницы спасла Цимисхия от поражения. Наконец голод и потери заставили Святослава заключить мир за свободный пропуск русских ладей из блокированного Дуная и доставление пищи изголодавшемуся гарнизону. В августе 971 г. русы покинули Болгарию. <...>.

...До 971 г. Святослав был веротерпим и великодушен. После поражения благородный характер князя изменился полярно, может быть вследствие психического шока, вызванного разочарованием и сожалением об ошибках, которые были непоправимы. Ему изменил даже интеллект: он послал в Киев приказ сжечь церкви и обещал по возвращении «изгубить» всех русских христиан.

Этим заявлением Святослав подписал себе приговор. Уцелевшие христиане и воевода Свенельд бежали степью в Киев. Их печенеги пропустили. Но когда весной 972 г. Святослав с верными языческими воинами пошел речным путем, печенеги напали на него у порогов и истребили весь русский отряд.

ДНЕВНИК СОВРЕМЕННИКА



АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

12 ИЮНЯ: ДО И ПОСЛЕ

Говорили о выборе России, об избрании ее главы. «Впервые в истории», — кричали заголовки газет.

Типичное «левое» историческое невежество. Россия уже совершала выбор. Без малого четыре века назад. В 1613 году.

«21-го декабря извещалось по всей Руси об избавлении Москвы (от поляков и литовцев. — А.К.), а вслед за тем послана была грамота во все города, чтобы отовсюду посылали в Москву лучших и разумных людей для избрания государя... По всей Московской земле наложен был трехдневный строгий пост, служились молебны, чтобы Бог вразумил выборных, чтобы дело царского избрания совершилось не по человеческим козням, но по воле Божией».

Торжественная и трогательная картина, воссозданная историком Н. Костомаровым. И вот — будто нарочно перевернутое отражение того великого дня.

Тогда — сознание значимости выбора. Никакой спешки и суеты. Несмотря на близость неприятеля, Россия т р и м е с я ц а (с декабря 1612 по февраль 1613) готовилась сознательно определить свою судьбу. И определила — на три века вперед!

Теперь — почти неприличная поспешность. Три недели на все — на выдвижение кандидатов, на подготовку программ, на публикацию предвыборных материалов, на осмысление ситуации народом.

Ну и отношение к такому предвыборному спринту соответствующее. Тогда за тысячи верст ехали в Москву. Теперь—хлынули из Москвы, из других городов, воспользовавшись неожиданным выходным, рванули «на природу». Окучивали картошку, загорали, купались, а в это время чаши весов, на которых взвешивались не только шансы претендентов — судьбы России, беспомощно колебались. Четвертая часть «лучших и разумных» не пошла к урнам. Их голоса могли решительно повлиять на результат.

Дело, конечно, не только в различном отношении к выборам. Сам выбор, торопливо предложенный нам 12 июня, разительно отличался от того — давнего, подлинного. Тогда определяли не только главу России,—фактом избрания закрепляли освобождение страны от иноземцев. Выбирали свободу и целостность государства. Сегодня вместо великого слова «свобода» — двусмысленный «суверенитет» (от Москвы? от сердца собственной державы?). Вместо целостности — развал, школярская формула «9+1», не способная наполниться реальным государственным содержанием.

Вместо изгнания иноземцев — призывание варягов из-за всех морей и океанов. Едва узнав о п р е д в а р и т е л ь н ы х результатах голосования, новоизбранный президент отбыл в Вашингтон. Право, даже у центральноамериканских лидеров хватает достоинства и здравомыслия подождать с поездкой до приведения к присяге в собственной стране.

Вот мы и подошли к главным действующим лицам. В России XVII века — патриарх Гермоген, борец и мученик, призвавший народ подняться против поляков. Ему грозили ножом. «Я не боюсь твоего ножа, — сказал Гермоген, — я вооружусь против ножа силою Креста Святого». В России конца XX столетия — «коллективный пропагандист и организатор», пресса во главе с характерными фигурами Коротича и Яковлева., В XVII веке — первый Романов; в конце XX — человек, которому по горькой иронии истории выпало уничтожить улики убийства последнего императора из династии Романовых.

Нет, исторические аналогии нашему времени явно не по плечу. Возьмем события попроще. Хотя бы те же западные выборы.

Похожего много. Грязь политической борьбы. Обвинения в покупке голосов, в нападении на агитаторов, в пристрастности избирательных комиссий.

К западным стандартам добавили и нечто самобытное — струю жестокости, уголовщины, пронизывающую нашу общественную жизнь с гулаговских времен. Выколотые глаза на портретах—к этому нас приучили еще на выборах в российский парламент. Помню, любовался на свои обезображенные плакаты с надписью через все лицо: «Кандидат «Памяти»...». Интересная деталь — перед президентскими выборами уродовали плакаты всех кандидатов, кроме Ельцина.

Неповторимо советское: «ориентировки» по ведомствам—за кого отдать голоса. Газеты сообщали о наставлениях руководителей МВД РСФСР личному составу—голосовать за кандидата «демократов». В свою очередь, сторонники Ельцина заявляли, будто бы шефы госбезопасности призывали сотрудников голосовать против Ельцина.

И в качестве выразительного штриха —

вместо бабахающих петард на рекламных предвыборных шоу Америки в Москве прогремел взрыв в штаб-квартире «Демократической России».

Боюсь и сравнение с Западом будет не в нашу пользу. Не только из-за всей этой отсебятины. Ни американцы, ни европейцы, к счастью, не знают такого понятия: обком. У них немыслима ситуация, когда за высший пост в стране борются два бывших секретаря обкома и один председатель областного Совета. Битва железных канцлеров выродилась в тяжбу обкомовских секретарей!

Кто-то из «бывших» расстался с породившей его партийной средой, кто-то не прояснил своего отношения, кто-то сохранил верность. Но родовое клеймо осталось у всех.

В. Бакатин — бывший глава Кировского обкома — прославился рьяным осуществлением антиалкогольной программы. В чаянии высочайшей похвалы он так резко сократил продажу спиртного, что жители области ринулись к соседям. Тогда-то и возникли первые «таможни» внутри Союза — на границах алчущей области.

Б. Ельцин — в прошлом лидер Московской, а до того Свердловской парторганизаций — не случайно был впоследствии брошен, как выражаются его коллеги, на укрепление строительной индустрии. Он успел прогреметь двумя градостроительными акциями: сносом дома Ипатьева — свидетеля расстрела царской семьи, и возведением самого большого в стране, и наверное в мире, здания обкома. Двадцатью двумя этажами вознеслось ввысь зримое воплощение первенствующей роли КПСС.

Н. Рыжков ничем подобным не прославился. К сожалению, он вообще ничем не прославился. Организаторы его избирательной кампании не раз печатно ставили ему в заслугу увеличение солдатского рациона «на полстакана молока, на 80 граммов овощей и 2 яйца» («Советская Россия», 04.06.1991).

На таком фоне малоизвестный Тулеев и даже В. Жириновский, политик «с комплексом Хлестакова», выглядели весьма привлекательно. «Жириновский — другой человек», — эта фраза женщины из очереди, думаю, выразила мнение почти 8 миллионов избирателей, отдавших свои голоса лидеру либеральных демократов. Не в силу каких-либо его достоинств, а потому, что он и внешне и манерами не походил на представителей вчерашней партноменклатуры.

О генерале Альберте Макашове здесь говорить не буду. Этот основательный и прямой человек, заряженный колоссальной внутренней силой, угадывающейся во всем — в слове, жесте, в гордом повороте головы с острым казацким профилем, — органически не вписывался в рамки предвыборного шоу. Он герой другого масштаба.

Бывшие секретари вели предвыборную кампанию в лучших традициях недавнего времени. Припомните, на заре «демократизации», в середине восьмидесятых, модными стали выборы с альтернативным кандидатом. Выдвигался крупный начальник, а к нему добавляли другого, рангом пониже. Каждому ясно, кого выбирать. К тому же тот, что поплоше, и сам не уставал подчеркивать: мол, от своей программы не отказываюсь, но всецело присоединяюсь к вышестоящему. Не напоминает ли это реверансы Бакатина в адрес Председателя Верховного Совета РСФСР?

Та же лицемерная система до совершенства довела технику производства козлов отпущения. В критический момент славная когорта руководителей ловко расступалась, и какой-нибудь бедолага оказывался один на один с разъяренными гражданами, обнаружившими, что грандиозные планы лидеров обернулись очередным провалом. У Рыжкова — стаж работы в этой роли. Всего год назад Горбачев назначил его виновным за провал перестройки. Теперь на бывшего премьера легла и вовсе страшная вина. Не отрекшийся от коммунистической доктрины, он принужден был отвечать за все просчеты послереволюционного семидесятилетия.

В довершение бед наиболее выигрышные лозунги Рыжкова присвоил Жириновский, сумевший их броско перефразировать (вместо рыжковского «за единый Союз» — берущие за сердце слова: «за единую и неделимую»). Газеты обвиняли Жириновского в том, что он работал против Ельцина. Клевета, он безжалостно «обобрал» Рыжкова, переведя на свое имя голоса недовольных Ельциным избирателей.

После выборов Николая Ивановича жалели. Кто лицемерно, кто искренне: человека подставили. Но что же это за политик, которого все время подставляют?!

Ну, а главной фигурой в этой комбинации был, как и положено, главный начальник. Председатель Верховного Совета РСФСР. Помпезность, с какой велась предвыборная кампания Ельцина, заставляла вспомнить не только середину восьмидесятых — более давние годы. Всюду его плакаты. Долгое время — *только* его (оппоненты, как утверждал В. Жириновский, были лишены возможности достать бумагу).

Председатель во всех видах. Красочный портрет. Групповой, с рабочими. Голосовать за Ельцина призывали безымянные «соотечественники» и поименованные «депутаты-аграрии». Помню, их призыв произвел особое впечатление на моего соседа, отставного полковника-танкиста. «Видите, и аграрии за него», — просвещал он собравшихся во дворе пенсионеров.

Любопытен тон этой кампании! «...Именно направление мысли Ельцина» — пассаж из газеты Совета министров РСФСР («Российские вести», № 3, 1991). Официоз Ельцина газета «Россия» так характеризовала начальника: «...Формальный и неформальный лидер России». А вся фраза звучит так: «...Высокий процент голосов, который избиратели хотят отдать за нынешнего формального и неформального лидера России», и т. д. Тут же: «Вывод один —Россия намерена голосовать за линию...»

Становящееся привычным восхваление «линии» соседствует в официозе с грозным осуждением «известных деятелей, на которых все просто устали указывать пальцем...» Оказывается, они виновны в том, что до сих пор (хотя все «устали указывать») «не изменили своего отношения к Председателю ВС РСФСР». Противопоставление «линии» Председателя и «неуклюжих маневров» деятелей завершается оптимистическим выводом: «Но народ, да и парламентарии в основной своей массе не поддержат попыток перечеркнуть уже достигнутое» («Россия», № 22, 1991).

Нет, это никак не 1613-й! Скорее, достопамятный 1934 год...

Как бы то ни было, дело сделано. И мало кто сомневался, что будет именно так. Первое лицо в республике запросило чрезвычайные полномочия. Сначала у парламента — и получило их. Потом у народа — и вновь получило. Вместе с постом президента. Так было в Казахстане, Узбекистане, Грузии. Вот истинная мера (и подлинная цена) события.

Обилие претендентов? Но и в Грузии их было немало. А если более привлекательны зарубежные аналоги, то в США президента *непременно* избирают на новый срок (Дж. Картер был единственным исключением). Первый имеет больше шансов, потому что он... первый.

Но, разумеется, каждый случай в чем-то уникален. И нуждается в анализе. О фактах, повлиявших на результаты российских выборов, написано много. Выделю основные.

Мощь государственного аппарата, работавшего на Председателя Верховного Совета. Особой строкой — мощь пропагандистского аппарата. «Россия», «Российская газета», «Российские вести», «Радио России» изо дня в день агитировали, призывали, создавали ослепительно-привлекательный образ. Работа для советских журналистов хорошо знакомая.

Кроме того, Ельцина поддержала почти вся коммерческая пресса. А это не только столичные «коммерсанты», но и гигантская сеть «альтернативных» областных и районных газет, в мгновение ока охватившая всю страну. Убыточные издания, они прекрасно держатся на плаву благодаря миллионным инъекциям, которыми капитал (надо ли добавлять — еще вчера «теневой») оплачивает право формировать общественное мнение русской глубинки.

Победу обеспечили финансовые возможности людей, стоящих за Председателем. Если сравнить численность команд, работавших на Ельцина и на всех остальных кандидатов, вместе взятых, преимущество окажется на стороне ельцинистов. Многократное. В одном только избирательном штабе Челябинска их было 500 человек («Советская Россия», 13.06.1991 г.). Видимо, содержание такого штата стоит недешево.

В связи с этим напомню: журнал «Наш современник» не раз выступал с требованием — необходимо узаконить финансовые декларации политиков и партий. Общественность имеет право знать, откуда у них деньги. Такая практика существует во всех цивилизованных странах. Однако у нас закон до сих пор не обсуждался. Боятся финансовой гласности?

На выбор избирателей могла повлиять и недостаточная информированность. У кандидатов не хватило времени объехать все важные центры, рассказать о себе и своих программах, размножить предвыборные документы и разослать по России. Тулеев, Макашов, отчасти Бакатин остались для большинства избирателей таинственными незнакомцами. С подпорченной репутацией. Тут уж постаралась «российская» пресса, развернувшая против них, а также против Рыжкова и Жириновского ожесточенную кампанию. Всякий неловкий шаг, всякое прегрешение—мнимое или реальное — тут же выставляли на всеобщее обозрение. Между тем спорные акции Ельцина, в частности соглашения с националистическими правительствами Прибалтики, Молдовы, Грузии, заключенные за спиной и за счет русского населения этих республик, оставлялись в спасительной тени.

А теперь факторы психологические. Противоборство с Горбачевым. Каждому ясно, что руководство СССР ввергло страну в беспрецедентный кризис. А Ельцин— это альтернатива. Плохая или хорошая — второй вопрос. Главное — это надежда на возможность жить по-иному.

Имидж борца с партаппаратом, бесспорно, привлек многих. И в то же время многим импонировали напор, резкость, грубоватый юмор — типичные качества аппаратчика. Недовольство прежним, тяга к бунту и одновременно готовность привычно покориться сильной руке — страшная реальность сегодняшнего дня.

Ельцину благоприятствовала атмосфера, царящая в обществе. Наши предки налагали на себя строгий пост, чтобы избрание главы России состоялось «не по человеческим козням, но по воле Божией». Сознательно стремились отрешиться от злобы дня, очиститься от страстей.

Перед нынешними выборами пост, конечно, не объявляли. Хотя то, что не сделали люди, совершилось благодаря церковному календарю — шла вторая неделя Петрова поста. К тому же выборы, приуроченные к годовщине «суверенитета», пришлись на среду — непременный постный день в любое время года.

Однако не целомудрие — раздражение, злоба, нетерпение властвовали людьми. Страсти разжигались умело, благо горючего материала сколько угодно. Предвыборное возбуждение подогревалось общественной лихорадкой, ставшей уже привычной за последние годы.

Попытаемся взглянуть на себя со стороны. Типичная сценка в учреждении. Застопорилась очередь, полчаса никого не принимают. Вдруг солидный мужчина истерически кричит: «Штурмовать кабинет! Войдем все вместе, сядем, прикуемся цепями. Пусть вызывают милицию, пусть зовут армию, пусть приезжает ОМОН! Пусть нас расстреляют!» Находится все-таки здравомыслящий человек, способный с усмешкой возразить: «Я не хочу, чтобы меня расстреляли». Проходит еще десять минут. Вскакивает женщина: «Надо собрать тысячу подписей (замечу, в очереди — 15 человек) и написать об этом в газеты!»

Сорок минут из жизни одной очереди.

А у нас очереди повсюду, и стоят они, кажется, все двадцать четыре часа в сутки.

Взвинченной толпе нужен человек, способный распалять и властной рукой направлять эмоции. Два года назад страна сказалась под гипнозом Кашпировского. Теперь экстрасенсов сменили политики.

Реплика в очереди: «Почему я вчера голосовал за Ельцина? Что же теперь делать?» Другая реплика: «Что теперь будет с Россией? А ведь какой талантливый народ!»

Тяга к экстрасенсу, магу, чародею. А потом пробуждение, как после коллективного сеанса.

В такой атмосфере Ельцину удалось заручиться голосами избирателей. Но не доверием общественных сил.

Ему не доверяют. Даже товарищи по «Демократической России». В председатели движения он был выбран «под конвоем» пяти сопредседателей. Теперь его плотным кольцом окружили «советники». Вероятно, их функции значительно шире совещательных. Газета подмосковного «академгородка» за неделю до выборов сочла нужным подчеркнуть: «Пока Ельцин координирует свои действия со своими советниками — все идет замечательно. Когда начинает импровизировать — нередко допускает промахи. Не станет ли он меньше слушать свою команду, когда будет президентом? Это зависит не только от него, но и от команды» («Троицкий вариант», 04.06.1991).

Предупреждают Ельцина и одновременно призывают «демократов» к бдительности. Используя популярность лидера, тем не менее боятся его командного кулака, склонности к авторитаризму. Особенно резко характеризовала его претендующая на элитарность газета «Каретный ряд». Отголоски таких настроений проникли и на страницы массовых газет, прежде всего «Комсомольской правды».

Не лучше обстоит дело и на дипломатической арене. Политики Запада, к которым новоизбранный президент неустанно апеллирует в своем «дуэте» с Горбачевым, не демонстрируют даже протокольной вежливости. Почти в каждой зарубежной поездке Ельцину приходится выслушивать упреки в «склонности к демагогии», «безответственности» (цитирую депутата европейского парламента Жана-Пьера Кота).

Другое дело, что с ним охотно будут вести политические игры, уразумев, как выгодна для Запада ситуация, когда Москва раскалывается на два государственных центра с двумя лидерами во главе. В этой ситуации легко диктовать свою волю как Ельцину, так и Горбачеву.

И все же иностранцы побаиваются, что риторические обращения к идее суверенитета России могут в конце концов действительно пробудить русского великана, возродить его национальный дух. «Ситуация может попасть под контроль демагогически настроенных радикальных групп, на знамени которых будет начертано все что угодно, от антисемитизма до великодержавного изоляционизма», — предостерегает издающаяся в Нью-Йорке газета «Новое русское слово» (2.10.1990).

Похоже, в ближайшее время к этим влиятельным силам, с подозрением наблюдающим за деятельностью нового лидера, прибавятся толпы разуверившихся в недавнем кумире.

Многие экономические программы Ельцина нереалистичны. Они производят впечатление в ходе полемики, но на практике неосуществимы. Правительство России, пропагандируя фермерство, ставит целью создание чуть ли не 200 тысяч фермерских хозяйств. Чтобы сделать хозяйство жизнеспособным, надо вложить в него от 300 до 500 тыс. рублей. Программа потребует стомиллиардных вложений. Откуда деньги?

Перевод бастующих шахт из союзного подчинения в российское как полемический жест был великолепен. Но где найти средства на модернизацию безнадежно устаревшего оборудования?

А броские обращения Ельцина к русскому населению других республик—приезжайте в Россию, места хватит всем? Правда, «русскоязычные» жители Таллинна или Вильнюса не поспешили откликнуться на зов. Зато его подхватили местные власти, стремясь выбить последнюю опору из-под отчаявшихся людей: слышите, родина вас зовет.

Допустим, поедут в Россию. Заставят поехать. Ожидается, что только Прибалтика даст 1,2 миллиона беженцев. Прибавьте Молдову, Грузию, и получится страшная цифра — 2 миллиона. А теперь посчитаем. Стало правилом, что крупные города требуют за создание одного рабочего места и обеспечение человека жильем до 30 тысяч рублей. Русский промышленный пролетариат из Прибалтики хлынет в индустриальные центры. Помножьте 30 тысяч на 2 миллиона рабочих мест. Получится 60 миллиардов рублей. Возможный результат одного броского призыва.

Конечно, власти могут поступить с новой волной беженцев так же, как и со старой, из Закавказья. По сто рублей на человека, и полное безразличие к дальнейшей судьбе. Но то были жертвы погромов, потрясенные люди, радующиеся уже тому, что остались живы. У новых переселенцев иная психология. Они сочтут — и справедливо! — что их предали отдав в руки националистов, что их обманули громкими призывами вернуться в Россию, что их бросили на произвол судьбы. И они будут мстить, как мстили де Голлю французские беженцы из Алжира!

Все это — лишь малая часть сюрпризов, которые вот-вот появятся из ярко раскрашенного ящика Пандоры.

Что скажут рабочие, когда президенту придется ясно сказать о выборе — с кем он: с капитанами приватизации, поддержавшими его кандидатуру, или с трудягами с закрывающихся заводов? Куда качнутся безработные, чьи передовые отряды уже сегодня штурмуют биржы труда? Как отреагируют «аграрии» — депутаты, призывавшие голосовать за Ельцина, и рядовые колхозники, отдавшие за него свои голоса, когда прочтут в «Российской газете» — издании Верховного Совета РСФСР: «...Деревенская Россия, разумеется, существует. Отсталая деревенская Россия. Консервативная деревенская Россия — в силу отсталости. Поэтому, чтобы село приняло демократические преобразования, его надо изменять» (18.06.1991)? Так сторонники президента комментируют итоги выборов. Говорят о деревенской, консервативной, отсталой России — как по щекам бьют. И вывод, знакомый с комиссарских времен: «надо изменять». Сколько миллионов крестьянских жизней положили в прошлый раз, меняя «консервативную» и «отсталую»?

Гигантский клокочущий котел — вот что досталось администрации. Она сумела использовать взрывчатую энергию, чтобы утвердиться у власти. Однако бесцеремонность в обращении со взрывоопасной средой не сулит хорошего. Ни обществу, ни самой администрации.

Силы, стоящие за нынешним Президентом России, сознают это. Ельцин — фигура переходная, заявил как-то Н. Травкин. Отзвук очередного скандала в семействе «демократов» — решили поначалу обозреватели. Оказалось — устойчивое мнение. Восторженно приветствуя избрание Ельцина, «Комсомольская правда» тем не менее напомнила ему о судьбе Мавра, сделавшего свое дело: «...Он (Ельцин. — А. К.) исторически столь же обреченная фигура, как и Горбачев... Успеет ли Ельцин за отведенные президенту 5 лет вывести «тележку» на прямую дорогу... Не успеет — вылетит на повороте, чтобы уступить место следующему» (18.06.1991).

Обозреватель другого «демократического» издания поясняет, в чем же поставленная перед президентом задача: «Ельцин выполнит свою миссию, когда... рыночная экономика начнет нарастать так же необратимо, как сегодня рушится плановая». Президент должен отслужить службу обладателям капиталов. А затем? Затем, бесстрастно констатирует журналист, «придет черед человека более образованного, более современного человека, не имеющего никакого родства с коммунистической системой. Ельцин не годится в президенты завтрашнего дня...» («Троицкий вариант», 04.06.1991).

Согласится ли Борис Николаевич с таким прогнозом? Во всяком случае сопоставление отзывов «демократической» прессы с панегириками официозов типа газеты «Россия» позволяет предположить «крутое» развитие сюжета.

Так что же дальше? «Сильная рука»? Вероятно. Но чья? Сам ли Борис Николаевич снимет белые «демократические» перчатки и, вспомнив обкомовское прошлое, стукнет кулаком по столу (именно такой жест запечатлен на фотографии в еженедельнике «Каретный ряд»)? Или же это будет командирская длань какого-нибудь генерала?

А главное: на чью сторону встанет сила? Ее помощи жаждут самые разные общественные группы. О «сильной руке» говорят и теоретик «демократов» Мигранян, и поборник равноправия полковник Алкснис. Одним сила нужна для того, чтобы железом подавить недовольство масс, начинающих догадываться, что, пока они восхищаются лозунгами демократизации и приватизации, последние гроши вытаскивают у них из кармана. Другие взывают к силе, чтобы остановить развал общества, защитить простого человека, который с опаской входит вечером в собственный подъезд, со страхом слушает последние известия, а раз в году, когда предоставляется возможность на месяц отключится от всего этого кошмара, не знает, куда поехать отдыхать с сынишкой — стрельба на юге и лозунги «Русские, убирайтесь вон!» — в Прибалтике.

Силой можно распорядиться по-разному. Даже знаменитый рижский ОМОН поначалу разгонял демонстрантов, державших лозунги «Да — Союзу!» Приказы не обсуждают... Это потом они стали размышлять над тем, против кого и во имя чего их используют. И тогда их прокляли министры и газеты, а простые люди сделали героями эпоса о современных Робин Гудах.

Указ о «департизации» показывает, в какую сторону будут развиваться события. Ельцин воспользовался своим положением, чтобы «по-дружески» усилить «Демократическую Россию», строящую работу по территориальному признаку, за счет подрыва позиций КПСС, развивавшей прежде всего свои производственные структуры.

Незадолго до принятия Указа призрак матроса Железняка объявился в российском парламенте. Р. Хасбулатов по-своему перефразировал известные слова о карауле, уставшем ждать, и перенес на осень выборы Председателя Верховного Совета, после того как депутаты раз за разом отказывались избрать на эту должность самого Хасбулатова.

Вся полнота власти явственно переходит в руки нескольких политиков, хорошо усвоивших уроки своих большевистских предшественников. А параллельно происходит триумфальная легализация мафии, ее сращение с государственными структурами принимает все более чудовищные, пугающие формы. «...Под крылом наших российских лидеров оказываются личности, по которым плачет скамья подсудимых», — свидетельствует вчерашний кумир «демократов» Т. Корягина («Советская Россия», 1.06.1991).

Добавьте к этому бесцеремонное давление западного капитала, цинично обнаженное во время торгов в Лондоне, и вы получите, пожалуй, самый мрачный за последние годы прогноз на будущее.

Плохие прогнозы, конечно, портят настроение. Но не освобождают от необходимости бороться. Не за торжество того или иного политика или партии, — за подлинное торжество России.

КРИТИКА



СЕРГЕЙ НЕБОЛЬСИН

ИСКАЖЕННЫЙ И ЗАПРЕЩЕННЫЙ АЛЕКСАНДР БЛОК

Вот уже двадцать лет мне говорят: почему ты не издаешь Блока полностью, и со всей нужной правкой. А я все двадцать лет вспоминаю свое знакомство с подлинным Блоком и остолбенело молчу.

Есть о чем вспомнить: недопущение к хранилищам, помощь ленинградских начальников высшего ранга, а то не пускали и с бумагой «издательства ЦК КПСС» (при нем тогда состояло приложение к «Огоньку»). Непосильные одному считывания корректур, в и совсем без опыта и что-то наверняка упущу: так, вместо «Россия-сфинкс» едва не проскочило «сфинкс». Советы насчет иностранных речений у случайно встречавшихся немцев. Тех знакомых, что были известны хорошо и не случайно, было временно видеть нельзя. Приходилось заискивать: я издаю одного русского писателя, немецкого происхождения, из Шверина — Александра Блока. А в ответ — холодный взгляд собеседника, около гостиницы «Советская» в Ленинграде, и подчеркнуто внятный голос: БЛОК — НЕ НЕМЕЦКАЯ ФАМИЛИЯ. Ну, а больше всего — то, что вопреки всем моим представлениям оказалось написано Блоком, и чего я не знал.

Передо мной разные издания Блока: дневники и записные книжки конца двадцатых годов; старый двенадцатитомник; синий восьмитомник начала шестидесятых и «Записные книжки» 1965 года. Смотрю и сличаю. Поймите мое состояние.

Напечатано:

перемещение тел в новые формы...

Был в Сосновке, видел Политехникум. Идет достойно Менделеев к Витте. Громаден и красив.

Девки, спирт, бабы с капустой...

У Блока:

перемещение форм в новые тела...

Был в Сосновке, видел Политехникум. Идея достойна Менделеева и Витте. Громаден и красив.

Девки, спирт, бабы с капустой...

Что вы скажете, располагая указанными изданиями? Но к запрещенному Блоку это не вполне относится. И кто запрещал нам быть грамотными, понимать письмо по-старому, разбираться в латыни и греческом (Блок записывает в стихах о грядущем страшном суде, переиначивая «Откровение...»: «и тогда я увидел святой город, Иерусалим новый...». А издатель гонит по русскому, из чужих рук взятому тексту «и я, Иоанн». Но ведь Блок самого себя понимал как будущего свидетеля суда?).

А вот нечто близкое уже и к подлинным запретам на полноту и правду.

Напечатано:

Так и пошлю мальчишке — корреспонденту «Русского слова»

Мало водки... скука

Андреева, по обыкновению, выплеснула на меня всю злобу

А у Блока:

Так и пошлю глупому мальчишке...

Мало водки, комиссарша, скука

...всю злобу старухи и марксистской генеральши.

И это — об уважаемой даме, о директоре Дома ученых и спутнице буревестника. Или напечатано: «Слух об аресте Ленина». В одном издании — с многоточием; в другом — с многоточием в угловых скобках.

А как у Блока на самом деле?..

Вот по сходным поводам я долго, остолбенело молчал. Пятидесятилетие кончины и столетие со дня рождения поэта не обнаружили интереса к низким истинам текстологии. Шестидесятилетие и стодесятилетие — тоже. Что-то все-таки я напечатал заново, из дневников, но запомнилось главное: в одной юбилейной статье я заметил, что после Октября Блок становился все умней. А редактор настоял: «все мудрей».

Неожиданный нестоличный повод позволил заговорить об этом сейчас, под семидесятилетие блоковской кончины. Согласитесь, это последнее — повод еще и основательный: разве между тем, как мы отмечали шестидесятилетие Октября и его же семидесятилетие — не было разницы?

* * *

«Уважаемый Сергей Андреевич!

Пишет Вам из-под Минусинска Агния Феликсовна Тюменцева. Если это Вы работали в конце пятидесятых годов в поселке на станции Минусинск, то мы с Вами уже тогда переписывались, я писала тогда из Ужура (и фамилия моя тогда была Седых). Теперь занимаюсь книжными делами, люблю особенно Рубцова, Мандельштама, Юрия Кузнецова, Ахматову и Блока. А Вы? (Цветаева чуть истошная, как-то все у нее не вполне по-женски, а что-то другое, половинка-наполовинку, не знаю, как выразить; у Мандельштама и даже у Кафки достовернее и вроде мягче.) Ну, да Вы же Блока издаете. Где Вы работаете, интересно.

Я хочу узнать, когда правильно печатают Блока, а когда нет. В 6-м томе из восьмитомника синего, в прозе, есть статья «О назначении поэта». Блок говорит: «Когда бы все так чувствовали силу гармонии, томится одинокий Сальери». А ведь у Пушкина это говорит же Моцарт, все знают. Блок ли ошибся, или издатели напутали? (На странице 520-й у Вас.)

В одних дневниках сказано — в 1928 году: «устремление ума, который Мейерхольд, между прочим, считает лишним в театре»; а в других, в 7-м томе восьмитомника, напечатано: «устремление ума, за устремлением ума — устремление сердца», а про Мейерхольда нет. У Вас снова вставлено: так это у Бло́ка — есть или нет?

У Блока плохо про большевиков, что они умеют вытравлять быт, то есть уют и обустроенность. Зачем это печатают? У нас в Шушенском давно есть ресторан и кафе, так какое же это уничтожение? А то он написал «мало водки, комиссарша, скука» (8 января 1921 года в дневнике), Орлов[1] убрал «комиссаршу», а Вы восстановили (у Вас страница 375-я в шестом томе). Это что, обязательно?

Несогласна я с Блоком и про простых людей, будто они уклоняются от работы и злятся. «Озлобленные лица у простых людей... рыщут в штатской и военной форме» (1915 год, 10 ноября; у Орлова в записных книжках на странице 277-й, а у Вас в шестом томе на 273-й). Что же здесь верного, и за что Блока так превозносят?

Но у меня еще много вопросов. Это же Вы выпускали в 1971 году Блока шеститомник, а потом о Блоке было у Вас в книге «Прошлое и настоящее», в 1986 году. Там я по посвящениям в предисловии и поняла, что в Минусинске работали как раз Вы. А в «Звезде» уже давно была против Вас критика Владимира Орлова, что есть у Вас ошибки: надо было не «следователь Булацель», а «следователь Буланцев», и не «голубая даль от Уморских гор», а «голубая гарь от Умбрских гор». Это Вы из Орлова ошибок понаповторяли. Орлов, видно, сильно сердился, хотя, видать, и не на это — потому что я нашла в Вашем шеститомнике новые куски из Блока, а он их раньше не печатал. («Звезда» № 3 за 1972 год: «Еще раз о том, как не нужно издавать классиков».) Это все правильная критика или нет. Я еще Вашей книжки не читала, так написала в «Звезду» сама: ведь в шеститомнике очень много не так, как в синем издании — и если Орлов указал так мало (и только то, что совпадает и с его огрехами), то тогда ясно, что разночтения в Вашу пользу, и как раз Вы, видно, и исправили Орлова. Он не оттого ли сердился? А то его в «Правде» тогда ругали, за издания модернистов, и он тогда по Вам стал доказывать, что знает лучше всех. В «Звезде» не ответили, уж не знаю как понять, понимай как хочешь.

Тут я и составила список: верно ли?

К стихам «Нисходит сумрак ночи бледной...» у Блока есть эпиграф из Шекспира: «Ты не даешься и не исчезаешь... явленье роковое». У Орлова про это сказано: из «Гамлета», а у Вас — из «Макбета». По-моему, тоже из «Макбета» (я только японское кино смотрела). Но Вам, если Вы сибиряк и казак, как пишете в книге, в Москве лучше знать; уж тут Вы едва ли ошиблись. А он заметил поздно и разгорячился.

Потом у Вас эпиграф с греческого переведен, а Орлов недоволен, что слово «Иоанн» опущено, потому что оно есть в Апокалипсисе. В Апокалипсисе-то есть, я смотрела у наших двоеданов. А у Блока есть ли? По-гречески мне непонятно. Если Блок сам убрал Иоанна, то наверняка ведь и нарочно, будто я и есть Иоанн (он будто и есть Иоанн, чтобы быть ближе к пророку). Это к стихам «Мы истомились в безмерности», первого тома.

В «Поклонник Эллинов» у Орлова «признанья», а у Вас «призванья» (у него страница 61-я, а у Вас 60-я). У него одна строка в «Праматери» (драма) — «взору чудится жужжанье», и непонятно, как взору чудится звук; а у Вас 2 строки «Взору чудится мерцанье, слуху чудится жужжанье». Так как же правильнее? (Страница 406-я в четвертом томе у Вас, а 398-я у него.) Но поэт Давид Самойлов тоже издал переводы Блока (см

[1] Орлов В. Н. (псевд.; наст. фамилия Шапиро) — ленинградский литературовед, фактический главный редактор восьмитомника А. А. Блока 60-х годов, полный монополист всего послевоенного «блоковедения».

НЕБОЛЬСИН Сергей — литературовед, переводчик, критик. Родился в 1940 г. в г. Мурманске. Окончил МГУ. Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы. Выступает со статьями по проблемам русской классической и советской литературы. Автор книги «Прошлое и настоящее».

составил), так у него опять как у Орлова, и непонятно. Откуда он-то брал? Самойлов фронтовик.

Вы напишите.

Потом в критике у Блока куча неясностей. В 5-м томе на странице 207-й, «О современной критике», у Орлова будет «к своим нежелательным приемам», а у Вас на странице 184-й «к совсем нежелательным приемам». Я насквозь читаю, что за годы составила. У Орлова в 5-м томе на странице 205-й «за убийство Распутина, этой первой ласточки террора, начнутся новые акты», а у Вас «за убийством Распутина, этой первой ласточкой террора, начнутся...». Про Зиновьеву-Аннибал сказано у Орлова, что она человек, «чего-то единственно нужного не передавший», а у Вас, что не предавший. (У него в 5-м томе, страница 226-я, а у Вас страница 205-я). У Вас нет примечаний к 5-му тому, а у Орлова есть, и я не знаю.

Ну, и вообще о женщинах-то. Блок любил Зиновьеву-Аннибал; не знаю, ва что, не читала. Но почему он писал, что все равно женщине, как правило, творчество чуждо. У Орлова в этом месте понаставлено точек: может, что пропущено? А то я его точкам не верю. Вы везде проставили вроде знака купюры — <...> что что-то пропущено, а у него как будто блоковские многоточия, но сам делает сокращения тоже через многоточия. Это в «Записных книжках» 1965 года (страница 198-я): «Блок говорит, что женщине творчество в искусстве почти недоступно». Потом еще Анна Ахматова и Щепкина-Куперник у него идут со странными знаками вопроса: не «?!», как у нас, а «!?». Это вроде тоже недоверия. Объясните, пожалуйста: разве Арина Родионовна не была художником; а также ведь не только научили женщин говорить, но и мужчин—разве не женщины создали Блока? А Любовь Дмитриевна, а Дельмас, а Волохова?

И скажите мне про мой перечень: это Ваши исправления против Орлова или Ваши ошибки? Я его по Вашему шестому тому составила, а «Дневник», составитель А. Л. Гришунин, что вышел недавно, еще не достала. Там-то хоть правильно?»

И тут Агния Феликсовна прилагает пространнейший список. Это в основном — дневники и записные книжки Блока в их подлинном виде, насколько он был посильно установлен изданием 1971 года, — в сравнении с тем, как это печаталось в 1963 (дневники) и в 1965 году («Записные книжки»).

* * *

Поразительная вещь: указанный после этого письма адрес для ответа (то есть адрес третьего лица, для передачи Агнии Феликсовне) был адресом нашего старого, столетней давности, минусинского дома. Там жили люди, которые еще знали нас, и это помогло мне договориться с корреспонденткой, что значительную часть своего ответа я оглашу через печать.

Нельзя ведь рассказать все. Да, ресторан в Шушенском есть — и я даже живал у его бывшего заведующего, когда-то хорошо знавшего Надежду Константиновну Крупскую (совершенно отдельный предмет, для иного очерка). Да, разгневанный на меня когда-то издатель Блока был не вполне искренен: многие невольно повторяют чужие ошибки, но сердился он на другое — а к тому же на идейных и непроверяемо профессиональных упреках мне можно было отыграться перед недавними его поносителями из столичной печати (Я хороший! — так кричит испуганный Воробьянинов у Ильфа с Петровым; и даже стихи, приложенные к прозе «Доктора Живаго» в самом конце романа, решают в чем-то похожую задачу. «Я плохой прозаик? — Нет, я прекрасный поэт»).

Ну, а проставление угловых скобок там, где сделаны изъятия; да еще печатание того, что раньше у Блока не печаталось вообще — все это вызывало у В. Орлова подлинную ярость. И надо было обесчестить новое издание, чтобы за достоверным «текстом» Блока к нему не обращался никто.

И зря, видно, Блок надеялся: «когда умру — пусть найдутся только руки, которые сумеют наилучшим образом передать продукты моего труда тем, кому они нужны». Я-то так и считал, многогрешный — что последовать Блоку и сообщить читателю то, что написано, — стоит. И, конечно, «получил по рукам».

Так оно и продолжается — непрестанное цитирования из Блока неисправных «текстов», продолжается повторение этих погрешностей при переводах Блока на иностранные языки; даже в польском издании блоковского «Дневника» впоследствие «бабы с капустой», вместо «бобов», были приняты на чистую монету. А ведь «капуста в грохем» — чисто польская еда, недаром Блок едал ее на фольварках в Полесье; полики этого, увы, не узнали. И нет этому конца.

Но что делать, если наши издатели не знают графологии, старых правил правописания; наобум, из чужих рук, переводят греческие и латинские речения («тела в формы» вместо «образов в тела» и проч.)? Что делать, если и им какая-то сила мешает восстановить истину даже тогда, когда первоначальная разметка купюр уже сделана?? В новом издании «Дневника» Блока (его готовил и осуществил в 1989 г. Андрей Леопольдович Гришунин) кое-что восстановлено — и по моим реестрам (помню нашу встречу в 1971 году) исправлено. Но все ли? На двухстах страницах этой книги я насчитал опять же сто двадцать купюр. А Андрей Леопольдович сторонник правды; он тоже, Агния Феликсовна, обращался в «Звезду» и сообщал, что новое издание Орловым оболгано. Тоже не вняли; и не дали обнародовать полную истину даже через восемнадцать лет.

«Сергею Андреевичу — трепетно», — надписал мне старший коллега новейшее издание Блоковских дневников. Мне понятна эта надпись.

Сейчас готовится полное собрание сочи-

нений Блока; не проходите мимо него, хочется взывать к читателю. А к качеству этого издания взывают полуантичные блоковские слова; он их писал по-латыни, а как они переводятся?

В «Дневниках» издания 1989 г. (с. 228).

Заботься об Академии, но пусть к разум не потерпит ущерба.

У Блока на самом деле

Да (по)заботится Академия, чтобы разум не потерпел ущерба.

Согласимся: у Блока несколько точней.

Я мог бы предложить сквозную правку нынешних изданий (а отчасти и своего) по подлинникам Блока; можно было бы составить и список невыявленных писем Блока — разительно отличный, в сторону полноты, от недавнего «аннотированного каталога» его «Переписки» (в двух томах), а еще и список неразысканных автографов Блока, о существовании которых почему-то молчат. Но это чрезвычайно объемно, и поэтому я отвечу неизвестными доселе записями Блока только на вопросы Агнии Феликсовны — о «женщинах в жизни и творчестве Блока» — и на вопросы других читателей, включая зарубежных, — о болезни и о кончине поэта.

ЖЕНЩИНЫ В ЗАПРЕЩЕННЫХ ЗАПИСЯХ БЛОКА

В «Записных книжках» 1965 года издания (с. 198) с поразительным искажением сокращена вчетверо запись за октябрь 1913 года. Она дана так: «Подруга Сегаль... пишет ей по поводу моего весеннего письма к Сегаль... «Блок говорит, что женщине творчество в искусстве почти недоступно. Я думаю (несмотря на свое художество), что это — чуть не общее место». Между тем, даже если и опустить кусочки действительно неразборчивые (во всяком случае те, которые не мог разобрать в 1971 г. я), то получится следующее:

«Подруга Сегаль (русская) пишет ей по поводу моего весеннего письма к Сегаль о евреях: он очень прав, говоря: ваше дело женское. Ведь мы все сестры не по национальности, а по «женской крови». В еврейских лириках — «неприятная женственность». Она же — их «главное очарование». А «Блок говорит, что женщине творчество в искусстве почти недоступно. Я думаю (несмотря на свое художество), что это — чуть не общее место».

Влияние евреев на искусство вредно, говорит Блок. Для меня это явно только в отношении поэзии: ведь язык (не разобрано мною. — С. Н.) Но о живописи (...) другое. «Чувство чистой (...) краски есть у еврея, — больше чем у русского. Хоть и здесь не хватает «мужской солнечности».

Итак, совершенно непонятно: зачем опущено замечание Блока, что подруга Сегаль — русская?! Ведь ее мнение о родстве «не по национальности, а по женской крови» интернационально, и весомо уже этим. Но о мужском и женском у Блока соображения были и вправду сложные. Их не все примут, но одно несомненно и важно: это соображения художника, и с ними надо считаться. Агния Феликсовна справедливо говорит: женщины во многом создали Блока, сами как будто не являясь «творцами»; и даже добавим: «творящие», художничающие женщины и «семинаристы в желтой шале и академики в чепце» (меткое словцо Пушкина) значили здесь меньше других.

Особенное место отвела его жизнь для женщин-актрис: тут есть, конечно, и творчество, но лишь как воспроизведение, как «мимесис». А какое влияние на лиру Блока! Менделеева, Волохова...

И уже совершенно по-особому встает этот вопрос (и встает так, как это раньше мы понимать не могли) в отношениях Блока с Любовью Александровной Дельмас. Не говорим об изобилии мелких повседневных заметок про Дельмас, про поиски встреч, и встречи с нею, весной 1914 года, что с предельным пренебрежением, или ревностью, опущено В. Орловым при печатании записных книжек Блока в 1965 году. Возьмем только более или менее крупные, хотя опять не все.

25 мая 1914: «Тел. около 3-х. Л. А. тревожна, писала мне письмо. Хочет уйти, оставить меня... Я ей пишу. После обеда я измученный засыпаю на полчаса. Звоню ей. Звоню еще раз. Она у меня до 3-го часа ночи. Одни из последних слов: — Почему вы так нежны сегодня? — Потому что я вас — полюбила» (ф. 654, оп. 1, № 355, лист 110: лицевая сторона).

Так уже созданная поэзии не только долго отзывалась в повседневных записках и разговорах (ведь весь цикл «Кармен» написан до этой любви — еще во время одинокой влюбленности и стремлений, наконец, встретиться; а 1 августа 1914 года Блок отмечает (это в 1965 г. тоже было выпущено): «**Ночью с ней. Уже холодею**»). Нет, оказывается, поэзия здесь по-своему и вызревала: вновь и загодя, задолго до новых ярких стихов. Прочитаем выпускавшуюся ранее запись за 15 мая 1914 года: «**Утром. Золотой, червонный волос на куске мыла — из миллионов — единственный. Телефон**». Еще не скоро будет написано «Перед судом»: «Эта прядь — такая золотая разве не от старого огня? — Страстная, безбожная, пустая, незабвенная, прости меня!» (1915); но образы подспудно уже возникают из черточек каждого дня 1914 года.

А вот еще одна пропущенная издателем запись за 20.5.1914, она идет после «Я иду поесть на Балтийский вокзал» («Записные книжки», 1965, с. 228): «**Тел. Она приходит ко мне. Страстная бездна. Она написала на картоне от шоколада: День радостной Надежды. Я в первый раз напоил ее чаем. Ей 20 лет сегодня.**»

Л. А. Дельмас была не младше, а старше тридцатитрехлетнего тогда Блока, и это на основании ее учебного формуляра уже было указано в 1971 году, в огоньковском издании шеститомника (том 3, с. 343). Но сейчас дело и в окрылении чувством, и даже в прозаическом будто бы шоколаде. Видела ли упомянутую надпись на картоне та, которая в 1918 году заменила Блоку, в образе новой, уже совсем петроградской и уличной «Кармен» из «Двенадцати», строку «Юбкой улицу мела» на «Шоколад «Миньон» жрала»? А ведь Катька поздней поэмы, как и отвергаемая «Кармен» в «Перед судом» («страстная, безбожная, пустая, незабвенная, прости...» — подлинно Петькины стенанья) соотносима не только с Дельмас времен первой страсти. Любовь Александровна, напоминая о многом, была рядом с Блоком и тогда, когда создавались «Двенадцать». Просмотрим бегло то, что не печаталось в 1965 г. в блоковских записях 1918 года:

6 января: после «поток идей — весь день» (с. 382) следует читать: «Ночью — Л.А.Д. Легкость».

11 января, конец записей: «Ночью — Л.А.Д.»

15 января, после «Мои «Двенадцать» не двигаются. Мне холодно» следует «Ночью — Л.А.Д.».

28 января: вскоре после записи, с нажимом, «ДВЕНАДЦАТЬ» — снова «К ночи Л.А.Д.».

Именно так, если взять только лирическую линию (а подобные упоминания Дельмас в январе 1918 года есть и еще), а именно в соединении послеоктябрьской «политики» с отголосками былой страсти, и создавалась поэма. Конечно, вокруг Блока были иные женщины. 30, 31 января — в записных книжках и дневнике настойчиво повторяются ласкательные записи о некой Е. М. Люком (потом известной актрисе): «Лю-ком — розовый комочек»; «Лю-ком — это маленький красный микрокосм. Розовая спинка, розовая грудка и ручки»; «Люком — красный микрокосмик» (эти записи, так и хочется сказать «записьки», уже давно известны). 31 же января к Блоку приходила молодая «Евгения Феодоровна» (В. Орлов, с. 324, исправляет на «Федоровна»), это Е. Ф. Книпович: «Черный агат. Духи». Но «Двенадцать» в основном уже дописаны, только шлифуются. Но зато на следующий день, 1 февраля по старому, а 14 по новому стилю — именно «Дельмас закармливает гусями» (с. 388); любовь, поэзия, повседневность быта («пошлость») идут неразрывно рядом, и все это — на глазах у Любови Дмитриевны. Особенно важна, очевидно, «пошлость» еды; Блоку жизнь еще не все важное подсказала, хотя о значительности духовного он знает с детства, и в общем верно. Но еда, открыто доставляемая «ею» — то есть Любовью Дельмас... Это хотя и по-своему мило — но одновременно мучительно. Недаром и в более благополучное время — 29 августа 1917 года — это смущает и уязвляет: «Л. А. Дельмас прислала любе письмо и муку, по случаю моих завтрашних именин. Да, «личная жизнь» превратилась уже в одно *унижение*, пишет Блок, подчеркивая последнее слово (дневник). И известная запись от 17 февраля (с. 388), из которой мы чуть выше и исходили — «Люба сочинила строку: «Шоколад Миньон жрала», вместо ею же уничтоженной: «Юбкой улицу мела» — читается в свете того, что только что оглашено впервые, уже как гораздо более значительная. «Двенадцать» в большой степени вдохновлены все тою же Дельмас.

Не так ли? И совершенно непонятно лишь одно: почему именно издатель В. Орлов так ущемлял, так настойчиво теснил Л. А. Дельмас в ее правах на Блока и на его вдохновение? Почему он исторгал ее, и постоянно ее, из блоковских записей? Решительно отбросим здесь сведения о слишком тесной якобы связи в 20—30-е годы молодого тогда блоковеда с Прекрасной Дамой (сведения эти тоже как-то пошлы; да и эта связь, придется тогда признать, не только не рождала поэзии, а именно поэзию, по крайней мере блоковскую, обрекала на последующее искажение). Но восстановим, наконец, справедливость еще для одного размышления Блока, пополнив его тем, что было беспощадно выброшено. В «Записных книжках» 1965 года издания (с. 339—340; Троицын день 1917) оно начинается символом умолчания: «Отдыхая от службы перед обедом, я стал разбирать (чуть не в первый раз) ящик, где похоронена ***». На деле здесь было следующее:

«(...) где похоронена Л. А. Дельмас. Боже мой, какое безумие, что все проходит, ничто не вечно. Сколько у меня было счастья («счастья», да) с этой женщиной. Слов от нее почти не останется. Останется эта груда лепестков, всяких сухих цветов, роз, верб, ячменных колосьев, резеды, каких-то больших лепестков и листьев. Все это шелестит под руками. Я сжег некоторые записки, которые не любил, когда получал; но сколько осталось. И какие пленительные есть слова и фразы среди груды вздора. Шпильки, ленты, цветы, слова. И все на свете проходит. Как она плакала на днях ночью, и как на одну минуту я опять потянулся к ней, потянулся жестоко, увидев искру прежней юности на лице, молодеющим от белой ночи и страсти. И это мое жестокое (потому что минутное) старое волнение вызвало только ее слезы... Несмотря на все дрянное, что в ней есть, она понимает, она думает телом, и мысли ее тела — страшные мысли, бесповоротные». Последнее предложение («Несмотря» и т. д.) было у В. Орлова опущено целиком, а далее шло без изъятий, хотя и насильно-безымянно ввиду загадочных звездочек: «Бедная, она была со мной счастлива. Разноцветные ленты» и проч.

Разве, взятое в целом, это не подлинное стихотворение в прозе? Может быть, женщина — даже с какой-то нелиричной откровенностью и с вызовом принимаемая как «любовница» — только и могла скрашивать тягость и скуку либерально-парламентарных судоговорений лета 1917 года, в комиссии «по расследованию», куда Блок был отозван с прифронтовой службы [2], в «комитетах» и т. п. Вот чрезвычайно показательный образчик этого—где Орлов предпринимает недобросовестную правку, околичности и изъятия: дневниковый пассаж от 4 июля 1917 года, начатый в томе VII синего восьмитомника, с. 273, словами «Чем более (члены Чрезвычайной следственной комиссии) будут топить себя в хлябях...» На деле пассаж таков (начнем его даже чуть раньше, захватывая побольше красок из блоковской палитры). «Корниловские» ужасы, процедуры «комиссии» — гроза в воздухе — и любовь:

«Один автомобиль был очень красив сегодня (маленький, несется, огромное красное знамя, и сзади пулемет). Много пулеметов на грузовиках. Красные плакаты. Слух швейцарихи Вари о пулеметах на крышах и о бывших городовых. Я думаю о немецких деньгах. Остальное — в газетах.

Утром шел дождь, потом наступила жара, к вечеру душно, идет грозовая туча с молнией.

Чем более жиды будут пачкать лицо комиссии, несмотря даже на сопротивление «евреев», хотя и ограниченное, чем более она будет топить себя в хлябях пустопорожних заседаний и вульгаризировать, при помощи жидков, свои «идеи» (до сих пор неглубокие), — тем в более убогом виде явится комиссия перед лицом Учредительного собрания. В лучшем случае это будет явление «деловое», т. е. бездарное, в худшем — это будет посмешище для русских людей, которые — осудят не осудят, но отвернутся и забудут. Что же, если так суждено, значит — голоса нет. Сдаваясь Тагерам, комиссия сама себя отведет на задний план; оттуда, где поют солисты, она отойдет туда, где сплетничают хористки.

Письмо маме.

На улице встретился Вася Менделеев. Серое пальто, дорожная шапка с козырьком, через плечо — на веревке — мешок для провизии. Бородатый, довольно бледный, сходство с отцом.

Тоскливо как-то. Вечер с любовницей. Свежесть после дождя» — и вот уже все не так безнадежно, хотя: «Как я устал от государства, от его бедных перспектив, от этого отбывания воинской повинности в разных видах. Неужели долго или никогда уже не вернуться к искусству?».

Так же — на молчаливом пути к «Двенадцати», которые все-таки будут, и даже к «чуковскому» смеху в голодном Петрограде после Октября — звучит нота любви, политики и ярости и в записях за 6 июля 1917 г. (Сравните их с любым изданием блоковских дневников).

«Слухи об арестах, освобождениях, опять арестах. Когда мы вышли из крепости (в 8-м часу вечера), сияло солнце, мирные кучки толпились, дворец Кшесинской завоеван, побежали трамваи. Я долго гулял. Ночью Дельмас.

Газеты празднуют победу. Ночью на сегодня с фронта пришла целая дивизия. Казаки. Слух о заводах. Ночью много труб дымит. Слух об отправке взбунтовавшихся на фронт. Распорядительность Половцева.

От мамы давно писем нет, очевидно, масса писем не разобрана.

У Либера — хорошее лицо (Микельанджело), у Дана — отвратительное (шиповник Вайс). Третий товарищ — моложе — мрачный. Все — измученные.

Слух об аресте Ленина. Мнение части дворца: Ленин не может взять для себя, но может взять у (? — С. Н.) партии у «дураков — немецких буржуа» (как — для Малиновского у «дурацкого русского правительства» — он смотрел сквозь пальцы, когда Малиновский брал на партию и на себя (кажется, Малиновский). Мерзавец — Зиновьев (Жданов, милый)! (Сверху приписано «большевик, по существу», а при Зиновьеве слово «сволочь».— С. Н.) Это я согласен — у Зиновьева жирная, сытая, жидовская морда». А далее— опять (что хотя и неточно, но напечатано и раньше): «О, грешный день, весь Петербург грешил и много работал, и я — много работал и много грешил. Люба, Люба, Люба (...) ночью пришла Дельмас».

Тяжкие свидетельства, до сих пор не оглашавшиеся. Их не осветляет до конца и замечание о милом большевике. Но все-таки: стоило вставить «Ночью Дельмас» — и линия от Дельмас к «Любе» и снова к Дельмас становится сквозной, приподнимает над чужими слухами и плоской прямотой оценок Ленину и Зиновьеву, хотя и они разноплановы: Блок не рассматривает каждого через призму «происхождения».

А когда нету даже намека на лирику, на любовь, на женственность и на отраду в ласках — как мрачно и даже черно выглядят записи, которые, по долгу исследователя, нельзя все же не представить людям в полном виде. Агния Феликсовна, например, как раз из-за неполноты растолковала ложно нечто подобное.

1917 год, 27 июля. У В. Н. Орлова (том VII синего восьмитомника, с. 290) запись эта начинается так: «История идет, что-то творится; а... они приспосабливаются, чтобы не творить...». Но вот что у Блока:

«История идет, что-то творится; а жидки — жидками: упористо и умело, неустанно нюхая воздух, они приспосабливаются, чтобы НЕ творить (т. е., так как — сами лишены творчества; творчество, вот, грех для еврея. (По возможности соблюдаю блоковские знаки препинания, но чуть сокращаю объем записи. — С. Н.) И я ХОРОШО ПОНИМАЮ ЛЮДЕЙ, по образцу которых сам никогда не сумею и не захочу поступить и которые поступают так: слыша за спиной эти неотступные дробные шажки (и запах чесноку) — обернуться, размахнуться и дать в зубы, чтобы на минуту отстал со своим

[2] См. в «Записной книжке» Блока за 26 мая 1917 г.: «Муравьев сказал мне, что комиссия внесет ходатайство министру юстиции о том, чтобы он вошел с ходатайством во Временное правительство или к военному министру о предоставлении отсрочки мне и еще нескольким евреям» (в подлинном виде печатается впервые).

полуполезным, полувредным (=губительным) хватанием за фалды.

Усталость, лень, купанье, усталость. Черно, будущего не видно, как в России».

Нет ни Дельмас, ни «Любы» — и ничто не может развеять густочерные тона, в которых тонет мысль Блока, когда он совершенно одинок. Так бывало и раньше — например, в конце 1915 года: война, законное озлобление простого народа... Точно говоря, А. Ф. Тюменцева размышляла как раз над этим. Между тем как у Блока на деле было так (записная книжка № 47; в издании 1965 года — с. 277):

«Озлобленные лица у «простых людей» (т. е. у vrais grand monde).

Жиды рыщут в штатской и военной форме. Их царство. Они, «униженные и обиженные» — втайне торжествуют». То есть, Агния Фаликсовна, Блок и не думал задеть простолюдина: перед простыми людьми ему даже было свойственно как-то пресмыкаться, и даже изящестовать своим аристократическим снисхождением. И не современные, не для нашего ли времени, получаются зарисовки дальше:

«Молодежь самодовольна, «аполитична», с хамством и вульгарностью. Ей культуру заменили Вербицкая, Игорь Северянин и пр. Языка нет. Любви нет.».

В 1971 году (том 6, с. 273) я исправил здесь ошибку Блока во французском языке, и сейчас это повторяю. Но согласитесь: все равно отсутствие любви как отсутствие воздуха, оно вносит особую тягостность в нравственно-гражданские наблюдения Блока. Говорят, при подлинной любви подлинна и ненависть, а здесь?

Женщина окрыляет и облагораживает, даже обезвреживает политику. Однако когда хотят поднять цену, с помощью политики, не вполне состоятельному в женщине, Блок несговорчив. В мае 1916 года он замечает:

«О малороссах, которых Тихонов и К° упорно именуют «украинцами». — Я вгляделся в тот богатый матерьял, который прислал мне Тихонов, и увидел ясно, что этих «украинцев» переводить не стоит, точнее: дело издания украинского сборника (да еще в двух томах) будет делом узко партийным, на этот раз не совпадающим с общекультурным делом». Просмотрев пухлую рукопись с подстрочниками из «риторичных и метафоричных» поэтов, пишет Блок, он еще раз убедился в том, что «Гоголь был русским писателем и что «Слово о полку Игореве» написали не предки Леси Украинки».

А ведь Блок высоко ценил, как надо понимать по еще не опубликованному, и Григория Сковороду, и Тараса Шевченко. Это общерусский вопрос: может ли «Татьяна Толстая» считаться потомком Арины Родионовны или Ярославны. А «Белла Ахмадулина»? Что уж говорить о таком, если и в самой Анне Андреевне Блок сомневался.

В «преамбуле» перед примечаниями к «Записным книжкам» Блока издания 1965 г. (с. 515):

...мы располагаем всего 47 книжками, из которых последняя, заполнявшаяся в 1921 г., осталась непронумерованной. В эту книжку вошли записи исключительно делового и справочного характера, и в настоящем издании она опущена.

В предсмертной записной книжке Блока (1971, том 6, с. 386)

С. Ефрон в Берлине приступает к изданию выдающихся поэтов последнего двадцатилетия, в том виде, как авторы сами себя издавали! В первую очередь — К. Бальмонт, А. БЛОК, А. Ахматова(!?)

И много еще в этой книжке наблюдений и замет, драгоценных для жизнеописателя Блока. А как много об Ахматовой и других дамах — и снова важного — по всему запрещенному Блоку!

БОЛЕЗНЬ И КОНЧИНА

Несколько слов о болезни и кончине Блока — в ответ на письма советских и зарубежных читательниц.

В 92 томе «Литературного наследства» есть на этот счет заметка двух врачей. Она составлена без всякого знакомства с историей болезни Блока, как она уясняется из собственных блоковских признаний.

Не стану нагнетать никем не оглашенных самонаблюдений Блока за все годы. Возьмите только его поздние дневники и впишите необходимое вам вместо многоточий в существующих изданиях. Запись 17 августа 1918: вместо «все эти утехи в вихре света... кончились болезнью» (воспоминания о 1898—1899 годах) — «все эти утехи в вихре света, похоть к молодым актрисам, изливаемая в другие места, кончились болезнью». Отягощенный многолетним саморазрушением, Блок вступал и в новое время до крайнего предела истерзанным блудливой жизнью. Вот еще одна запись, как он задыхался в 1921 году — из последней книжки, о суждениях врачей 23 апреля и 5 мая: «подагра, малокровие, неврастения, расширение вен и кровоизл(-няния? — С. Н.), шум в сердце — цынгоги. на почве истощения (однообр. пища)». И, как обычно, галлюцинации — иного слова не подберу — в предсмертном дневнике (тоже неоглашенные):

«1917. В самом конце декабря 1917 г., когда мы едва свиделись с Ивановым-Разумником, начиналась романтика на Галерной (тусклые глаза большевиков... потом ясно — глаза убийц), — уже в «Известиях» появилась бесстыдная анонимная статейка, говорили, что автор — «Рюр. Ивнев». Начиналось так: «Несколько выдающихся представителей интеллигенции признало необходимым работать под руководством Советской власти. Между ними известный поэт А. Блок и художник Петров-Водкин. Они поставили себе задачу борьбы с позорным для интеллигенции саботажем...» и т. д. Вместе с тем, появилась афиша красными буквами: Зал Армии и Флота 9 (? — С. Н.) янв. 1918, Митинг Интеллигенция и народ: Луначарский, Коллонтай, устраивал Р. Ивнев. Из перечисленных на афише НЕ бы(-и? — С. Н.), во всяк. случае, Иванов-Разумник и я.

Впрочем, неужели хватит места на перечисление мелких гадостей, которые делали в жизни? И зачем? Мне трудно дышать, сердце заняло подгруди.»

Можно вставить эту заметку, отчасти не совсем разборчивую, как раз перед блоковской записью в дневнике за 20 июня 1921 года.

Ниже печатаются, со шрифтовым выделением того, что раньше изымалось или искажалось неграмотным прочтением, некоторые другие записи Блока, подлинный вид которых удалось восстановить в 1970—1991 годах. В скобках после уточненных текстов указываются страницы, на которых искаженные записи расположены в изданиях: Ал. Блок. Собрание сочинений в 8-ми томах, том 7 (дневники), изд-во «Художественная литература», М.-Л., 1963 и Ал. Блок. Записные книжки), изд-во «Художественная литература». М., 1965.

ДНЕВНИКИ

16 июня 1917:

«Зал полон народу, сзади курят, на эстраде — Чхеидзе, Зиновьев (отвратительный), Каменев, Луначарский. На том месте, где всегда торчал царский портрет, — очень красивые красные ленты (они — на всех стенах и на люстрах) и рисунок двух фигур — одной — воинственной, а другой — более мирной, и надпись через поле — С.С.Р. и С.Д. Мелькание, масса женщин, масса еврейских лиц, и жидовских тоже. Я сел под самой эстрадой» (стр. 263).

24 июня 1917:

«Господи, Господи, когда наконец отпустит меня государство, и я отвыкну от жидовского языка и обрету вновь свой, русский язык, язык художника?» (стр. 268).

26 июня 1917:

«И разбит, и устал, и окрылен, и желаю — и рабочий, и пьяный закатом — все вместе. Ночью — любовница» (стр. 269).

29 июня 1917:

«2 встречи с Распутиным. А ночью — любовница» (запись отсутствует совсем, стр. 270).

8 июля 1917:

«Нельзя оскорблять никакой народ приспособлением, популяризацией. Вульгаризация не есть демократизация. Со временем Народ все оценит и произнесет свой суд, жестокий и холодный, над всеми, кто считал его ниже его, кто не только из личной корысти, но и из своего еврейско-интеллигентского недомыслия хотел к нему «спуститься». Народ — наверху; кто спускается, тот проваливается. Это судьба и «тагеров», и «муравьев,— дело только во времени» (стр. 277).

28 июля 1917:

«Отчего (кроме лени) я скверно учился в университете? Оттого, что русские интеллигенты (профессора) руководились большею частью такими же серыми, ничем не освещенными изнутри «программами», какую сегодня выдвинул Тарле, которая действительно похожа на программу торжествующего жиденка гимназиста Павлушки и с которой сегодня уже спорили. Ничего это не говорит. От таких программ и народ наш темен и интеллигенция темна» (стр. 290—291).

11 января 1918:

«Жизнь — безграмотна. Жизнь — правда (Правда). Оболганная, ожидовелая, обо....... — но она — Правда» (стр. 318).

4 апреля 1918:

«страшные симптомы: 1) районный совет хочет «приучать» исподволь свою публику репертуаром «легкой комедии», так как «рабочей аристократии» наберется в районе «человек 80» (Люба); 2) улица: свиные рыла, жульничество большевиков, признанное Троцким» (стр. 331).

22 октября 1920:

«Гвоздь вечера — И. Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос. Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание. Постепенно привыкаешь, «жидочек» прячется, виден артист» (стр. 371).

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

29 мая 1914:

«Вечером мы с Любовью Александровной пошли к морю, потом поехали на Стрелку. Черный дым, туман. Я ничего не чувствую, кроме ее губ и колен» (стр. 230).

28 мая 1914:

«Хороший журнал — эта «София» (жидовская)» (стр. 230).

7 марта 1915:

«Тоска, хоть вешайся. Опять либеральный сыск.— Жиды, жиды, жиды. Днем у мамы. Деньги от Шип. Тел. с Ан. Н. Чебот. и В. А. Зоргенфреем. Веч. она у меня. ДА». (стр. 257).

22 марта 1916:

«Телефон от госпожи «отзву́к» несомненно без ера и почти несомненно — жидовка (так она бестактна, бездарна и так скверно говорит по-русски. Сегодня вечер в пользу «изучения жидовской жизни», где Алчевский опять поет гнесинские выкрутасы на мои тексты» (стр. 292).

26 апреля 1916:

«Вечером (...) к Мережковским. Перед этим заходила Л. А.— У Мережковских было тяжело и скучно. Жидовский скандал ночью в передней» (стр. 297).

17 мая 1916:

«Пис. маме. Вчера вечером был Женичка. В понедельник 23-го мая буду его венчать. Ночью была Л. А. Сегодня — маленький запашок хамства с горьковской стороны (получил армянский сборник). Запрашиваю Тихонова заказным письмом. Корр. от «Мусаг». Невзначай пришел Н. П. Ге. Он — уполномоченный, заведовал отрядом «Союза городов», был в Полоцке. Загорел, возмужал,

а, в сущности, все такой же. Очень светел, очень умен, все такой же трогательный и хороший. Научился уважать немцев, не любит Достовского, не любит евреев» (стр. 300).

13 июня 1916:

«Звонил г. Н. Венгров. Люба, по моей просьбе, сказала, что меня нет дома. Упоминание имени этого господина мне неприятно: прошлой весной я получил от него безграмотное письмо; этой зимой с ним вожжался А. Толмачев. Весной Горький поместил в «Летописи» его стихи, похожие на все и лишенные свежести, по-видимому, только за то, что он — еврей. (...) Телеф. от Л. А., отношение к ней, слова мамы о ней в письме ко мне. Ночью — разговор с Любой о приближающейся старости. Совсем ночью была Л. А. Д». (стр. 306).

21 мая 1917:

«Заговорил Карташов. Закрыв глаза, хлопая в ладоши, бледный. «За марксизм, — за приказ № 1, за удар в спину — отомстится второй войной». Я ушел, позвонил к Дельмас, к ночи привел ее к себе. Слишком много для такого дня». (стр. 341).

27 мая 1917:

«Масса встреч, разговоров, впечатлений. Ночью у меня — Дельмас, что не было, увы, венцом большого дня, а так — концом его, несмотря... Одинок я». (стр. 348).

21 августа 1918:

«Как безвыходно все. Бросить бы все, продать, уехать далеко — на солнце, и жить совершенно иначе. Ночью под окном долго стояла Л. А. Д.» (стр. 422).

20 апреля 1919:

«Холодная весна в мертвом городе. Два пьяных комиссара с бутылью спирта катят на одиночке, обнявшись» (стр. 457).

При воспроизведении блоковских записей соблюдены сокращения слов и имен, употреблявшиеся поэтом. Очевидные у Блока отступы («абзацы») с переходом к новой строке не воспроизводились. Выделения обозначают, что соответствующие места у Блока подчеркнуты или как-то иначе выделены им самим.

* * *

Так кончалась жизнь человека, которого природа и давление судьбы наделили острой наблюдательностью, своеобразным даром слова и склонностью к страдальческим наваждениям. Наделила его судьба и неуемной жаждой правды; в лучшие минуты Блок справедливо догадывался, что правда не во «мне, утонченном», и не в величавом «я... с моим народом» или «я... в этой стране». Судьба дала ему и нелегкое для совести, для исполнении сердечного долга «социально-историческое окружение», как сказали бы иные. Переделать все, призывал он. Сделать так, чтобы скучная, ленивая и грязная жизнь наша стала лучше и чище. Жизнь «наша» — это очень правильно. Ведь не жизнь Шаляпина, музыканта Андреева, Рахманинова и донского казачества (всего не перечислишь) была грязна и скучна. Но действительность настойчиво ставила его и после скуки учредительных словопрений 1917 года перед старыми вопросами и старыми спутниками. К концу пути он распознал и в себе самом то, что было так тошно терпеть в других — будь они оборотистыми газетчиками и издателями или же новыми распорядителями в кожаных куртках (кое-что из свидетельств об этом опубликовано у нас и в Великобритании, кое-что ждет своего часа).

«Молчи, скрывайся и таи и мысли и мечты свои», повторял Блок за Тютчевым. И эпоха такого прозябания истины началась задолго, задолго до Октября. В 1921 году Блок вспомнил и слова Некрасова про «черный день»: черный день! Как нищий просит хлеба, смерти, смерти я прошу у неба, я прошу ее у докторов, у друзей и у редакторов, я взываю к рускому народу — если можешь, выручай! окуни меня в живую воду или мертвой в меру дай... О редакторах упомянуто не всуе. Они и после смерти терзали Блока. Он утаил, тщательно предав огню, что-то одно в своем наследии — чего сам не хотел никому показать. А они утаивали то, что он как раз сознательно оставил. Досадно читать, восстанавливая, долго скрытые слова Блока. Обескураженно читал я это впервые, потому что с детства упивался украинской песней, добрым миром Шолома Алейхема. Мы — интернационалисты. А вы?

Особенно досадно читать ранее неизвестное из представлений Блока о большевиках и «комиссарах»: особенно досадно потому, что это вопрос сугубо международный. Не те достались Блоку комиссары, комиссарши и, как он сказал о подруге Горького, «марксистские генеральши», и сколько этим определено.

А что? (мысленно слышу я вопрос, назову его вопросом умного аспиранта). Разве какие-то комиссары бывали «те»?

На это спокойно отвечаю: а что, Европа видела тех комиссаров, которыми в 1945 году была довольна... И конечно, тот вопрос я готов обсудить с тонким аспирантом как попросту, так и с допущением чрезвычайно умных выкладок относительно «вопросов духа». К разговору изящного рода не забудьте поднести краткую, но честную, без купюр по существу, выписку из родословной и справку о добротном домашнем образовании. Если не успеете достать, обойдемся коротеньким диктантом. Он ведь вам не страшен: вы «Каштанку», наверное, читали в оригинале? А если без посягательств на тонкость, то не надо и диктанта.

Что же до качеств, приличных издателю, включая начальное образование, то ими, бесспорно, обладают нынешние работники слова, которые готовят первое у нас полное собрание сочинений Блока. Будем его трепетно ждать. Люди, которых я уважаю, не имеют ничего общего с тем, что так тяготило Блока: «либеральный сыск», «либеральная жандармерия» и «общественная бюрократия».

Из нашей почты

«ВРЕМЯ „ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ" ШАРЛАТАНОВ»

ОБЗОР ПИСЕМ

Первые несколько месяцев 1991 года — тревожного, сулящего, судя по всему, лишь дальнейшее скатывание страны в бездну нового «светлого будущего» — отмечены некоторым спадом читательской почты «НС», впрочем, это явление общее для всех периодических изданий. И прав, конечно же, наш читатель И. Туркин (г. Новосибирск), утверждающий, что «люди устали, разуверились и в коммунистах, и в „демократах, люди тоскуют о простой человеческой жизни без лозунгов и поводырей, без господ и надсмотрщиков». Ох уж эти «обывательские стенания»! Как травмируют они сердца наших пылких демократов-необольшевиков (NB! «И вся-то наша жизнь есть борьба!..»), гневно пеняющих народу за спад его политической активности. Пеняли, впрочем, зря; шахтерские забастовки, предупредительные стачки промышленных рабочих и т. п. явно обнадежили «друзей народа» и в то же время явились свидетельством их неустанной, деятельной заботы... о собственном грядущем благе. В то же время забугорные демократы отечественного производства все еще пребывают в большом волнении. Так, например, правозащитник В. Буковский, совершив в апреле с. г. блицвояж в первопрестольную, сетовал: «...меня удивляет гражданская пассивность, существующая в стране. Мне непонятно, как можно морально поддерживать бастующих шахтеров и продолжать ходить на работу... Крайне важно сейчас вести всеобщую кампанию гражданского неповиновения». При этом радетель наших прав на холод, голод, безработицу и т. д. и т. п. все кивал на польскую «Солидарность», опыт Польши. Что само по себе нелепо, ибо та кредитная пропасть, в которую поселилась Польша, и вновь возникающие — как и при коммунистах — забастовочные движения, широкая волна недовольства крестьянства никак не свидетельствуют о хотя бы начале выздоровления страны, не говоря уже об обретении ею экономической независимости[1].

«Забастовки, митинги, демонстрации не решат проблем. Они только принудят руководство просить помощи, но безумны надежды на иностранный пирог!» — так словами С. Борисенко из г. Ивано-Франковска можно определить отношение к забастовочно-митинговой стихии тех наших читателей, кто коснулся в своих письмах этой проблемы. И в этой же связи приведу высказывание Ф. Лобова (г. Ростов-на-Дону) о демократической интеллигенции: «Опять, предчувствуя возможность гражданской войны, они просительно поглядывают на Запад, не то прося защиты для своей персоны, не то для «помощи всем россиянам». А подведет черту москвич Л. Владимиров: «Ох уж этот тезис — «Запад нам поможет!» Поистине достойно Остапа Бендера. Но он разыгрывал кучку дураков, а тут дурачат великую нацию. Впрочем, это готовая «теоретическая база» для экспансии хищного иностранного капитала на просторы России. Пора назвать вещи своими именами: нам навязывается неоколониалистская психология».

Что касается митинговщины, забастовок, отдачи на откуп страны — в неприятии этого читатели, приславшие письма, слава Богу, в большинстве своем едины. Что же относится к ряду иных проблем, то, в отличие от прошлого года, почта последних месяцев принесла довольно-таки противоречивые письма. Я имею в виду оценку собственно политической позиции журнала и отношение к ней, вернее, понимание ее читателями. Приведу выдержки из писем: «Не давайте места в нашем журнале апологетам марксизма-ленинизма, не считайтесь с модным ныне плюрализмом мнений» (Л. П. Алексеев, г. Ялта), «Крайне удивлен совпадением убеждений Полозкова с патриотической позицией вашей творческой организации... Меня удивляет, что у вас, русских писателей, общего с давно опозорившимися и опозорившими Россию на весь мир такими людьми» — это из письма офицера в отставке Л. Хохлова (г. Тверь); судя по его письмам (а их несколько), этот немолодой человек, будучи расположен к «НС», полностью поддерживает «Демроссию», чего, как говорится, и нам желает; был ли он коммунистом (а высокое воинское звание и возраст позволяют предполагать это) — не пишет. Более определенно письмо С. Д. Воронина из г. Мурома: «Я не был и не являюсь членом КПСС, не преследовал никаких корыстных целей от этого членства. Но сейчас, когда в стране творится черт знает что, когда подняли головы темные силы, я становлюсь убежденным сторонником КПСС — единственного выразителя ин-

[1] К слову процитирую недавнюю публикацию польской «Политики»: «...опросы общественного мнения регистрируют падение всех авторитетов: церкви, «Солидарности», президента, правительства, политических группировок... поляки недовольны... сегодняшняя Польша... осталась государством привилегий и неравенства, герои, которые боролись за перемены и которые твердят, что у них наибольшие заслуги в свержении коммунизма... просто алчны, они ведут упорную борьбу за свои привилегии и монополию, за места в органах государственной власти и общественных организациях».

тересов простого трудового народа. Вижу и ощущаю всю мерзость различных демократов (карьеристов), рвущихся к власти, оставляющих народу одно право — работать на барина (на Запад)»

А вот такое пожелание журналу прислал москвич Г. Старых: «Побольше бы статей о нашей несладкой действительности, да и нет совсем материалов о Компартии России, а ведь там есть сейчас люди замечательные, тоже патриоты, и они одни ведут в обстановке травли борьбу за трудящихся. Народ живет сейчас в страхе за завтрашний день и правды всей не знает — а ведь нас обманывают...»

Отчетливое понимание результатов «демократической» деятельности по формированию однолинейного политического сознания масс выражено в письме А. А. Мусалова (г. Харьков): «Никаких реверансов в сторону скомпрометированной организации. Это дает повод упрекать вас в приверженности партократам. Не все такие как я и понимают, кто — где и душой преданы вам. Есть колеблющиеся даже среди истинных патриотов, но сбиваемых с толку демократическими лозунгами». Но, пожалуй, наиболее верный акцент ставит Д. Семенов (г. Южно-Сахалинск): «Поднять авторитет коммунистов невозможно без решительного отказа самой КПСС от теории и практики большевизма. Становится актуальным вопрос, который в фильме «Чапаев» задал Василию Ивановичу крестьянин: «Ты за большевиков, али за коммунистов?» От ответа на этот вопрос будет зависеть возможность слияния коммунистического и патриотического движений».

Большевики — коммунисты, вот парадоксальная, якобы парадоксальная, антитеза дня сегодняшнего. Дня, когда демократы-необольшевики требуют суда над КПСС — партией, по крайней мере, образца 1952 г. Логично было бы требовать суда над партией, замаравшей себя величайшими преступлениями против человечности. Но по сути дела суд над такой, большевистской, партией (РКП(б), ВКП(б)) давно состоялся — в 1937 г. КПСС же, несмотря на внешнее соблюдение основных идеологических догматов-постулатов, худо-бедно эволюционировала (упрощенно: тоталитаризм — авторитаризм — перестройка) и по существу являлась даже не политической партией, а государственно-управленческой структурой. И, думается, сегодняшние атаки на КПСС со стороны «демократических» сил — это атаки не столько на коммунистическую идеологию (изрядно выдохшуюся), сколько на государственность, которая покоилась исключительно на ее (партии) плечах.

Государственность — вот то основное, вокруг чего происходят баталии, и не только словесные. Судя по нарастающим событиям, по реакции так называемых широких масс населения, это стержневое понятие (NB! внятное любому гражданину цивилизованной страны!) развеивается в прах, вытравливается из сознания народа с еще большим ожесточением, нежели оно вытребливалось в первые послереволюционные годы (NB! У пролетариата нет отечества, и терять ему нечего, кроме цепей и т. п.). И, вероятно, недаром в почте «НС» нередко можно встретить своего рода отчаянные пожелания редакции: «Было бы хорошо, если бы вы, писатели, критики, перестали сюсюкать со словом «народ»... Неужели не ясно, что он глубоко и серьезно болен, этот некогда действительно великий и гордый народ. Катастрофа 1917 года продолжается. Народ болен в сознании своем, психически, в самосознании своем» (Г. Мавлютов, г. Москва). Что и кто тому виной — разговор долгий, особый.

Есть своя правда и в том, о чем пишет студент В. Шаров (г. Нижний Новгород): «Надо честно признать: старый аппарат и старые политики как «демократы», так и «партократы» не способны решить проблемы страны, так как вторые не могут отказаться от старого, а первые способны лишь сделать все наоборот. У господ «шестидесятников» нет середины». К этой же мысли склоняются и некоторые другие наши читатели: «Надо спасать Родину, а не драться, как злые собаки, за кость. Партократы-рабовладельцы — против народа! Демократы-краснобаи за предпринимателей и тоже против народа! А для видимости, для очередного обмана трудящихся — всякие программы. Но ни одна не реальна и не в интересах простых людей. Ясно, что социализм проиграл, но и дремучий первоначальный капитализм нам не нужен и гибелен. Нужно что-то среднее, возможно, н а р о д н ы й капитализм, но вобравший все достижения передовых стран мира, с социальной защитой для народа!» (И. Векшегонова, г. Москва). Социализм — капитализм... Как видно из несколько взвинченного процитированного письма, да и из целого ряда других, один из главных вопросов все еще туманен. Но гораздо более очевидна для многих читателей, приславших письма, родословная наших «демократов»: «То, что происходит в наше время в нашей стране, происходило и перед октябрем 1917 г. Тогда массы были обмануты большевиками, сейчас то же самое пытаются делать главари из так называемых «демократических» движений. Если большевики 1/6 часть земли превратили в тюрьму, уверен, то же сделают «демократы», если доберутся до высшей власти... Неужели люди не разобрались в «ведущих» этих «демократов»? Они, эти «демократы» (главари), того же ряда, что и вожди мирового пролетариата в 17-м, им тоже чужда Россия и они ненавидят славян. Власть для них — превыше всего» (Н. Парамонов, г. Москва).

Процитирую и письмо восемнадцатилетнего москвича А. Илларионова, чьи взгляды на путь возрождения России близки немалому числу читателей журнала: «Я считаю, что борьбу с демократами-необольшевиками надо вести путем духовного возрождения России и сплочения патриотических сил вокруг Русской Православной Церкви. Надо вспомнить Патриарха Тихона, который послал анафему власти большевиков (кстати, в то время самой радикальной и самой демократической партии)... Если же необольшевикам удастся укрепить свою власть, то Россия погибнет не только территориально, но и духовно»[2].

Наиболее, пожалуй, существенное место в почте журнала занимают письма, так или иначе касающиеся «формулы» Горбачев—Ельцин. Большинство, впрочем, посвящено именно фигуре Б. Ельцина, что естественно: журнал — российский и печаль — российская[3]. Однако те читатели, что взялись за перо, как правило, солидаризируются в оценке этого деятеля с Д. Волошиным из Ташкентской области: «заядлый партаппаратчик, всю жизнь сидевший на партийном пайке, Ельцин желает ныне войти в историю на «белом коне». Впрочем, бывший шахтер Иван Шепелев (Кемеровская область) углубляет «символику»: «Нам хотят подарить Троянского коня в лице Ельцина». Памятный «февральский» призыв читатели расценивают более-менее одинаково, как, например, В. Вавилов (г. Ташкент): «Чего стоит заявление Ельцина об отставке Горбачева в такой напряженный момент! Это же фактически призыв к хаосу! Нет уж, пусть Горбачев выпьет чашу до дна...».

Не вступая, как теперь говорят, в дебаты, приведу часть наиболее характерных писем — пусть они в чем-то противоречивы, спорны, категоричны, но ведь отражают взгляды наших соотечественников. Так А. Сабуров из г. Самары зло восклицает: «Горбачев сдает Западу СССР, Ельцин сдает Западу Россию!» Рабочий из Ленинграда Н. Алешин не менее категоричен: «У Горбачева и Ельцина цель одна, только каждый из них играет на разных полюсах; не выйдет у одного, выйдет у другого. А цель: проводить проамериканско-израильскую политику». Сходное мнение выражено и в письме семьи Михеевых из Гродненской области: «Пора наконец нам, русским, понять, что у нас нет защиты ни со стороны союзного, ни тем более российского «демократического» руководства. Пора понять, что перестройка как в союзной, так и тем более в российской интерпретации есть ни что иное, как тихая контрреволюция, направленная в первую очередь на изменение политического строя в интересах узкого круга коррумпированных дельцов, поддерживаемых интересами Израиля — США»; и в письме В. Карепова из Костромской области: «Нынешние политические лидеры, Горбачев и Ельцин, действуют на развал государства. Горбачев затягивает процессы очищения, предуготовляя и провоцируя социальные потрясения. Ельцин, ориентирующийся на Запад, окруживший себя демократами-космополитами, не внушает доверия»; и в письме ленинградца О. М. Чернышева: «В высшем руководстве СССР и РСФСР складывается альянс по разгосударствлению государства Российского». Москвич Г. И. Новосадов, горько переживая положение России, пишет: «Меня волнует беззащитность России. Среди русской интеллигенции очень мало обеспокоенных ее судьбой. Власть предержащим не до нее. Горбачев занят удержанием Союза. Ельцин занят междоусобной борьбой с Центром и с тем же Горбачевым за власть. Да и не может он быть в данном случае поборником интересов России, потому что к власти пришел при помощи и на волне всеотрицающих сил, не заинтересованных в возрождении России»[4].

То, что Россия брошена на произвол судьбы и является лишь козырной картой в политической игре РСФСР — Центр, по мнению многих наших корреспондентов, очевидно. Так, скажем, события в Прибалтике нашли именно в этой связи широкое отражение в почте. «Страшно видеть — Россия гибнет, — пишет О. Емельяненко из г. Красноярска. — ...В кого мы превратились, если нам наплевать на свою родину, если мы готовы продать ее за презервативы, бюстгальтеры, сапоги? В Прибалтике закрывают русские школы, русским людям чуть ли уже и говорить нельзя на родном языке, а Борис Николаевич подписывает с ними договора. Сколько можно питать иллюзии! Или мы еще не научились за 80 лет отличать демагогов от истинных лидеров?.. Как можно внимать безропотно Калугину и Гдляну? ...О, народ русский, ты ли это?!» Из письма В. Шилина (Ставропольский край): «А как сейчас обыгрывается «демократами» несчастье в Литве?! Захватив власть (конечно, временно) в ВС РСФСР путем наглых обещаний и благодаря отсутствию политической грамоты избирателей, они используют несчастье в Литве для дестабилизации страны, открыто — по ТВ и в других СМИ — призывают к свержению Союзного правительства». Из письма В. Белякова (г. Ростов-на-Дону): «Я, русский человек, никогда не думал о превосходстве какой-либо нации. И сейчас возмущен развязанной антирусской кампанией, которую ведут Ельцин, Травкин, специфически национальный журнал «Огонек», «АиФ» и т. д., прикрываясь псевдодемократическими лозунгами. Я — за все формы собственности, за демократию. Я — за Россию. Но не за ту, за которую Ельцин и дем. партии, Ельцин и дем. клика. ...То Горбачев придумал какой-то союз государств... И теперь Ельцин за спиной русского народа как... ..., как предатель Руси, бегает по ночам в Эстонию и заключает с правительствами, дискриминирующими рус-

---

[2] К слову сказать, сопоставительный анализ умонастроений «демократов» и большевиков, убедительно доказывающий их поразительное сходство, дан в статье Б. Куркина «Вперед к большевизму...» («ЛР», 12 апреля 1991).

[3] Отмечу, что все цитируемые письма получены до избрания Бориса Николаевича Президентом РСФСР, да и обзор был подготовлен к печати до этого судьбоносного, пользуясь терминологией другого Президента, события.

[4] О том, какова степень зависимости от этих сил Бориса Ельцина, свидетельствует хотя бы такой факт: после подписания Ельциным совместного с руководителями республик и Президентом «заявления 10» на заседании Координационного совета движения «Демократическая Россия», помимо других «теплых» слов в адрес руководителя РСФСР, прозвучала и (из уст члена Координационного совета В. Боксера) плохо скрытая угроза, если, мол, не дезавуирует отдельные моменты заявления, то «могут возникнуть трудности с его предвыборной кампанией».

ских, договора. А с Украиной? — мол, нет никаких претензий на земли наши. Это что? Как может этот человек говорить, что он русский? Он что — истории не знает?..»

Да, резкие, жгучие слова, может быть в чем-то и не справедливые, но ясно, что продиктованы они глубокой болью за судьбу страны, жестоким разочарованием в ее лидерах.

Москвич А. Севастьянов, не питающий никаких симпатий к коммунистической идеологии, тем не менее так пишет о народившейся у нас «демократии»: «Правительства прибалтийских и некоторых других республик, приняв законы, дискриминирующие часть населения, встали на путь фашизма. И неудивительно, что народное движение протеста возглавили коммунисты. Битва фашизма и коммунизма — самая яркая примета XX века... На вопрос, который из двух монстров лучше, я бы ответил: оба хуже. Фашизм — игра на национальной розни, коммунизм — на социальной. ...Кто обуздает обоих монстров? Президент? Но ведь и он — коммунист. Борис Ельцин? Он долго и расчетливо ждал, глухой к голосу единокровного дискриминируемого меньшинства, пока пробьет нужный час. И только теперь, когда его главный политический противник обвинен миром в «походе на демократию», Ельцин демонстративно обсуждает с правительствами прибалтийских республик проблемы русскоязычного населения. Но поздно. Дать этому населению гарантии — уже не в его силах. Зарвавшихся фашиствующих честолюбцев, вкусивших власти, не остановят бумажные преграды» [5].

Как и в прошлом году, значительное место в нашей почте заняла характеристика средств массовой информации. Но в отличие от минувшего года об «Огоньке», например, мало вспоминают — карта отыграна, из искры (вполне по-большевистски) пламя возгорелось. Пожалуй, только в одном письме непосредственно идет речь о «батьках» гласности: «Трудно переоценить роль «Огонька» и «МН» в разваливании Союза, рекламировании нововыявленных «демократов», намеренном игнорировании фактов грубейших нарушений прав человека в Прибалтике, Молдове, Грузии, попрания Конституции, в подмене причин следствием. Их крикливые акции январских дней уже не удивляют: то, что произошло в Прибалтике — это ваша вина, господа! Кровь, пролитая в Вильнюсе и Риге, Цхинвали и Дубоссарах, — это плоды ваших усилий. Не отмоетесь вовеки! Оглянитесь на сделанное вами, покайтесь в этом! Ведь в пламени провоцируемой вами новой гражданской войны сгорит все, включая и вас, господа!» (А. М. Сергеев, инженер, г. Киев, из «Открытого письма В. Коротичу и Е. Яковлеву»). Однако, я думаю, заблуждается автор письма относительно того, что «господа плюралисты» не успеют покинуть пределы погибающего Отечества и примут огненный венец на его развалинах вместе со всеми нами. Наивно так думать, тем более что известно: различные фонды США субсидируют деятельность «господ». Кроме того, по сообщению «Крисчен сайенс монитор» (США), В. Коротич намеревается перебраться в Штаты, если в нашей стране «будет введено чрезвычайное положение или цензура».

В центре же внимания наших читателей «новинки» — «Российское телевидение», «Радио России», газеты «Россия», «Российская газета» и т. п. Вот что пишет москвич Ю. Вавакин после просмотра «праздничного вечера — презентации Российского ТВ»: «Ликовать бы! Многострадальная Русь вырвалась наконец-то в эфир, сбросив с себя опеку партийного аппарата. Да не тут-то было. Камера выхватывает лица: Черниченко, Собчак, Федоров с супругой, Горин, Арканов, Цветов, один из ведущих программы «Взгляд»... В зале — запрограммированная публика, «рыночные демократы», у которых современная трагедия России не вызывает сердечной боли. Не видно на вечере В. Белова, Г. Свиридова, В. Распутина, тех, кто всей своей жизнью заслужил право называться совестью России. Не спето ни одной русской песни, не было стихов Есенина и Рубцова. Прекрасный ансамбль «Благовест», актеры, читавшие Пушкина и Гоголя, потонули в издевательском ржании сатирических ансамблей. ...Издевательство над матерью-Родиной в образе уродливой, шепелявo-гнусевой бабы, ждущей возвращения «питомцев», зарубежных коммивояжеров, — поистине чудовищно!» Из письма ленинградца И. Васильева: «Так долго мы ждали Российское телевидение, а оно не получилось. Просто расширилась первая программа. То «корыто» стало мало!.. Одни и те же лица, одни и те же пустые разговоры. Одни и те же пошлые шутки, хохмы из «Вокруг смеха»... Когда же мы увидим русское лицо на русском телевидении?» Читательница из г. Бреста В. Захарова, характеризуя презентацию Российского ТВ как весьма специфический капустник, восклицает: «Неужели на Руси перевелись мыслящие люди?!»

О прессе и о «Радио России»: «В дополнение к «Огоньку», «ЛГ», «Сов. культура» прибавились десятки других типа «Независимой газеты», которые ведут все то же массовое оболванивание, создается впечатление массового психоза. Например, освещение действительно трагических событий в Литве. Чего стоит статья в «России» Л. Радзиховского — просто истерика да и только, когда необходима предельная взвешенность и сдержанность, дабы не подливать масла в огонь» [6], (Т. Молчанова, г. Москва); «Под фарисейские крики о свободе печати, о «независимости» органов информации, многие и многие из них стали откровенными рупорами толстосумов, проводниками их идей, защитниками их интересов... И безнадежное дело пытаться выступить на их страницах в защиту чести и достоинства своей державы» (М. Постол, Краснодарский край); «Пишу вам о новой радиостанции, которая почему-то названа «Радио России». Создается впечатление, что это филиал радио «Свобода» — из-за засевших там сионистов. ...А чего стоят назойливые утверждения, что эта радиостанция будет говорить не только о русских, причем слово «русских» неизменно произносится со злобно-ханжеской интонацией. ...Дикторы плохо говорят по-русски, сыпят скороговоркой так, что трудно разобрать смысл сказанного, чуть ли не после каждой фразы визжат музыкальные заставки — все как на «Свободе» (О. Руденко, г. Петропавловск-Камчатский); «Слушал российскую радиостанцию... Как же так — выпускают в российский эфир тех, кто льет грязь именно на русских? И я хотел бы выяснить, точно ли это российская станция или это типа «Свободы», замаскированная под российскую» (А. Пуртов, Ошская область). Наивные недоумения наших читателей, думаю, достойно развеивает Борис Ельцин, отвечавший на вопросы журналистов во время своего визита во Францию: «Я бы сказал, что более правдивую информацию о работе Верховного Совета России и его руководства, правительства России россияне больше узнают из информации радио «Свобода», чем из средств нашей собственной информации. И, кстати, она, эта радиостанция, дает информацию достаточно объективно и достаточно полную. И в общем-то я скажу, мы им благодарны. Это — как бы филиал российского радио». Что — есть еще вопросы? Смею предположить, что у большинства читателей «НС» их не будет. Но может быть они возникнут, например, у читателя Б. А. Матука (Новосибирская область), чье письмо, тяготеющее по своему стилю то ли к рапорту, то ли к присяге, считаю нужным процитировать: «Как гражданин обновляющейся России я целиком солидаризируюсь с ДПР и другими демократическими общественно-политическими организациями, целиком и полностью поддерживаю все решения и действия главы Российского парламента Б. Н. Ельцина, выражаю ему абсолютное доверие и искреннее уважение, восхищаюсь его смелостью, порядочностью, принципиальностью. С негодованием отвергаю беспочвенные, порою ругательные и оскорбительные нападки на него». Подобных откровенно апологетических писем в почте «НС» раз-два и обчелся. Гораздо чаще преобладают взгляды, выраженные рабочим Е. Копновым (г. Луцк): «Почему вы не пишете о тех, кто сегодня продает страну с публичного торга — о «демократах России»? Договоры правящей верхушки с иностранной мафией о продаже 140 млрд. рублей служат — в перспективе, и весьма близкой, — тому, что вся промышленность, нефтяные, газовые месторождения, леса и земли будут скуплены на корню международной мафией в обмен на мясо, масло, барахло. Получив на каждого человека несколько кг мяса, по два — масла и по одной паре штанов, мы отправим через пару недель продукты в канализацию, штаны через год износятся, а Россия будет продана на века». В более сдержанной форме подобные мысли высказывают и другие читатели, например, В. А. Долинин (г. Ростов-на-Дону): «Наблюдая по телевизору за ходом обсуждения ВС РСФСР информации программы «Время» об участии зам. председателя Совмина РСФСР Г. И. Фильшина в жульнической, грабительской сделке, я испытывал одновременно негодование и стыд за поведение Фильшина и Ельцина, душевную боль и тревогу за нагло обманываемый и обираемый доверчивый народ, ужас от мысли, куда такое правительство может нас завести и, как ни странно, радость — от появившейся надежды на то, что люди поймут наконец, кому они доверили свою судьбу». И прав читатель — многие уже понимают... Уместно в этой связи процитировать и письмо москвича Пудова: «Чем выше залез дилетант, тем сильнее раздражение. У меня, инженера-электронщика, терпение лопнуло. Перестройка — это время «демократических» шарлатанов. После снятия давления первым всплыло г... Все демократические кандидаты писали программы и давали списки: кто «демократический», а кто — нет. Через год выяснилось, что это — туфта. Ерунды не могут сделать — организовать, помочь частнику в торговле на рынках Москвы. Кому вы нужны после этого? Вы думаете, что-то изменит третья в российской истории шпаргалка под названием «что делать?» На Руси жалеют только нищих дураков. Руководящих — не любят и иногда бьют». А вот другое письмо: «Нам никогда не давали и не дадут быть богатыми. Не дадут это сделать скрытые и явные враги, которые окружают нас извне и разъедают, как ржавчина, изнутри. Сколько раз уже было так: почти из пепла за 4—5 лет поднимался наш народ, но сразу же новая волна ненависти, зависти, недоверия сметала все его усилия. Постоянно все направлено на то, чтобы не дать поднять головы людям неординарно мыслящим, талантливым, да и просто честным, работящим, нашим бесконечно терпеливым людям» (Т. Петрова, г. Полтава).

Итак, с одной стороны, наши читатели видят корень бед в некомпетентности, дилетантизме власть предержащих, с другой — во «вражеских происках». Чья правда правдивее — не мне судить, да и не в обзоре почты, основная задача которого — дать высказаться читателям. Единственное, что я хотела бы напомнить, так это слова одного из выдающихся дипломатов — Талейрана, сказанные им по поводу весьма существенному: это не измена, это гораздо хуже — ошибка.

Читатель, посвятивший свое время чте-

---

[5] По сообщениям печати (апрель с. г.), сообразно проекту договора между Литвой и РСФСР (не «ночного» ельцинского, а ныне разрабатываемого) депортация русского населения из Литвы в пределы РСФСР будет финансироваться из бюджета РСФСР в объеме 20—60 млрд. рублей.

[6] Читатели часто присылают в редакцию региональные газеты. И вот, знакомясь с «Вечерней Казанью», мы вновь встречаемся с вездесущим Л. Радзиховским, обнадеживающим народ великой страны: «Ясно, что о Швеции нечего и мечтать (речь идет о «маяках прогресса» для нашего Отечества — М. Б.), но пусть будет Мексика, Бразилия, хотя бы Колумбия — все-таки демократический вариант, вариант с перспективой нормального развития, выживания». Вот так — «хотя бы Колумбия». «Браво! Даешь Медельинский картель!..

нию этого обзора, может задаться закономерным вопросом — отчего не рассматриваются мной письма-отклики на те или иные публикации «НС»? Причины две: самый широкий пласт читательской почты посвящен исключительно положению в стране — раз, и жесткий лимит журнальной площади — два.

Отмечу, что наибольшее число откликов приходится на материалы, непосредственно обращенные к жгучей современности. Откликами на такой очерк (В. Бобров «Бережливость — черта коммунистическая», № 1) я и хочу завершить обзор.

Игнашова Т., кочегар леспромхоза из Архангельской области, три года выписывавшая «НС» по причине того, что «журнал русский, патриотический», вдруг по прочтении очерка становится прямо-таки в конфронтацию «НС»: «Теперь меня не удивляет, что самый русский журнал имеет такой малый тираж... Собчак и Бунич— умные мужики! ...А вот Емельянов не особенно блещет умишком, не веришь, что выступает академик. Заславскую давно пора привлечь к гражданскому суду, как и тех, кто погубил Арал, поворачивал русские реки вспять... ...Не мешайте Ельцину, хотя бы ради умирающей России». Что ж, читательница выразила свое мнение. Но мне все же хочется кратко порассуждать о его истоках. Собчак, Бунич — это те деятели нонешнего прогресса, что буквально не сходят со страниц прессы, экрана ТВ, радио. Это уже своего рода имена нарицательные. И если в прошлом году один из читателей, мрачно посмеиваясь, расшифровывал: собчак — собственность частная, акционерная, кооперативная, то сейчас в редакцию поступает немало писем, общий «пафос» которых можно определить цитатой из эпиграммы, присланной москвичом И. Купцовым: «Куда ни глянь — везде собчак». Академик Емельянов — это для большинства terra incognita, а стало быть, и доводы нашего публициста воспринимаются непредвзято. Академик Заславская была поймана на своем новом взлете буквально за «перестроечные» крылья публицистом А. Салуцким, что и не позволяет, к счастью, мачехе «неперспективных» деревень восседать ныне в первых перестроечных рядах. Что до фигуры Ельцина, то здесь многое понятно (хотя слово — не воробей: «ради умирающей России» действительно стоило бы помолчать. Но мы не верим в это, иначе к чему — все?). Короче, перед нами типичный результат деятельности средств массовой информации по созданию в неискушенном народном сознании нужных установок, в данном случае — образов нужных вождей.

А вот иное мнение о рассматриваемой публикации: «В очерке Г. Попов, А. Собчак, Т. Заславская, Б. Ельцин и др. представлены в отталкивающе-обнаженном виде. Верно отмечено, что «доктор Попов», «доктор Собчак», «академик Заславская»— это просто клички... Ведь никуда не уйти от того печального обстоятельства, что 70 лет наше общество шло по «научно обоснованному пути». И при подаче в СМИ тех или иных «решений партии и правительства» с шаманской настойчивостью повторялось, что они н а у ч н о о б о с н о в а н ы. ...Именно сонму паразитов от науки, а не народу, нужен был серый «дремучий» партаппарат, каким его сегодня представляют. Именно они создавали атмосферу вырожденчества — деятели псевдонауки, псевдокультуры. Чем тупее становился «партаппарат» — тем легче им было рисоваться умными, «просветителями». Тем легче было маскировать свою неспособность быть движущей силой сообщества наций, а не безликого «прогресса»... М. Шолохов писал: «...с потом и кровью рвал Кондрат пуповину, связывающую его с землей». Нынешние «двадцатипятитысячники» — перерожденцы, столпившиеся на четвереньках у зада международного владыки — доллара, угрожают сыну того Кондрата мучительной смертью после совершения ими ритуального действа, если он сам себя не порешит. А остолбеневший мужик не верит ни ушам своим, ни глазам — стоит и молчит» (П. Василенко, Ленинград).

В заключение — несколько слов о совсем иной проблеме. Многие читатели журнала прислали письма, в которых резко критикуется и осуждается беседа с Л. Н. Гумилевым (№ 1). В № 3 (интервью с В. Кожиновым) уже были даны пояснения и комментарии к этой беседе, однако ряд читателей продолжал выражать свое «неудовольствие», что заставляет вернуться к этой теме еще раз.

Нападки на Л. Н. Гумилева вынуждают вспомнить печальную практику недавних десятилетий: «Я этого автора не читал, но я его беспощадно осуждаю!» Читая возмущенные письма, достаточно ясно видишь, что на Л. Н. Гумилева ополчились или те, кто читал только критические либо попросту бранные отзывы о его работах, или те, кто вообще ничего из его сочинений не читал. Между тем деятельность историка возможно понять и оценить только при серьезном усвоении его конкретных исследований исторических событий и лиц. И я почти не сомневаюсь в том, что нынешние «критики» Гумилева пересмотрят свое отношение к этому выдающемуся историческому мыслителю, если познакомятся с его главным трудом — книгой «Древняя Русь и Великая Степь», изданной в минувшем году (спустя десятилетие после написания!). Кроме того, я думаю, что те читатели, которые позволили себе обвинить Гумилева в антипатриотизме и даже русофобии, посмотрев один из июньских выпусков телепередачи «600 секунд», резко переменили свое представление. Ибо сегодня объявить себя «нашим», как это сделал Лев Николаевич, означает проявление не просто смелости, которой ему, фронтовику Отечественной и трижды познавшему ГУЛАГ, не занимать, — но глубоко выстраданного патриотического чувства, чувства России.

М. БЕЛЯНЧИКОВА.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на журнал, а также для переадресовки издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах «Союзпечати».

Заполнение месячных клеток при переадресовке издания, а также клетки «ПВ — МЕСТО» производится работниками предприятий связи и «Союзпечати».

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

До конца этого года и в 1992 году вы прочтете в нашем журнале

ПРОЗА

Виктор АСТАФЬЕВ. Новые произведения.

Дмитрий БАЛАШОВ. **Похвала Сергию.** Роман (о жизни преподобного Сергия Радонежского).

Василий БЕЛОВ. Рассказ; главы из новой книги.

Юрий БОНДАРЕВ. **Мгновения** (цикл художественных миниатюр). Размышления о русской и мировой литературе.

Олег ВОЛКОВ. **Воспоминания** (новое произведение тематически продолжает книгу "Погружение во тьму"; писатель рассказывает о тех нравах, которые царили в Московской писательской организации в 60 – 80-е годы, о том, как общественность боролась за спасение Байкала, русского леса, рек, за чистоту нашей природы).

Отец Дмитрий ДУДКО. **Проповедь через позор** (свидетельство православного священника, прошедшего через унижения властей и брежневских лагеря).

Дмитрий ЖУКОВ. **Сны** (исторический роман о монархисте и мистике В.В. Шульгине, видевшего всех властителей за последние 100 лет – от Александра II до Брежнева, бывшего другом и врагом великого множества исторических фигур – персонажей книги; роман о размышлениях Шульгина, его пророчествах, деяниях, испытаниях и загадочных встречах).

Владимир КРУПИН. **Прощай, Россия, встретимся в раю. Стариковские записки.** Повесть.

Станислав КУНЯЕВ. **Сергей Есенин.** Из серии "Жизнь замечательных людей".

Эдуард ЛИМОНОВ. Рассказы.

Валентин ПИКУЛЬ. **На задворках империи.** Главы из неоконченной третьей части романа.

Александр ПРОХАНОВ. **Ангел пролетел.** Роман-метафора (в центре повествования – атомная суперстанция, как Вавилонская башня, в центре России; персонажи романа – левые, правые, русофилы, русофобы, технократы – узнаваемые лики сегодняшней национальной драмы; все они находятся в острейших личных и социальных конфликтах).

Валентин РАСПУТИН. Новые произведения.

Аркадий САВЕЛИЧЕВ. **Потоп.** Роман (трагическая история затопления старинных русских сел и городов на Волге в предвоенные годы).

Владимир СОЛОУХИН. **Камешки на ладони.**
Княгиня Зинаида ШАХОВСКАЯ. Рассказы.

ПОЭЗИЯ

Стихи Леонида БОРОДИНА, Николая ДМИТРИЕВА, Виктора КОЧЕТКОВА, Юрия КУЗНЕЦОВА, Виктора ЛАПШИНА, Бориса СИРОТИНА, Валентина СОРОКИНА, Геннадия СТУПИНА, Федора СУХОВА и других поэтов.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Юрий БОРОДАЙ. **Третий путь;**

Николай ИВАНОВ. **"Шторм-333"** (неизвестные материалы, рассказывающие о том, что предшествовало принятию решения о вводе наших войск в Афганистан);

Сергей КАРА-МУРЗА. **Хорошее дело обмана не требует; Какой тип бедности мы выбираем?** и другие статьи;

Владимир ЛИЧУТИН. Новые очерки из цикла **"Душа неизъяснимая"** (Размышления о русском народе);